Цена свободная

ИНДЕКС 73274

ЧИТАЙТЕ В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

Василий БЕЛОВ.
В кровном родстве. Рассказ.

Евгений ВАГИН.
Бердяевский соблазн. Статья.

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ.
Куст шиповника. Повесть.

Ирина ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА).
Побежденные. Роман. Книги 2-я и 3-я.

Арсений ГУЛЫГА.
Формула русской культуры. Статья.

Сергей ЕСИН.
Стоящая в дверях. Повесть.

Вадим КОЖИНОВ.
История Руси и русского слова.
От зарождения государства до Смутного времени
(конец VIII в. — начало XVII в.).

Сергей НЕБОЛЬСИН.
Шолохов, Пушкин, Солженицын. Статья.

Владимир СОЛОУХИН.
Камешки на ладони.

Тюремные мемуары Алексея ГАНИНА
(из архивов ОГПУ—КГБ).

Статьи Дмитрия БАЛАШОВА, Александра КАЗИНЦЕВА,
митрополита Смоленского и Калининградского КИРИЛЛА,
Валентина КУРБАТОВА, Олега МИХАЙЛОВА.

Наш современник, 1992, № 3, 1—[illegible]

НАШ СОВРЕМЕННИК №3 1992

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№3 1992

В этом номере заканчивается публикация первой части романа Ирины Головкиной "Побежденные". Читателям, которым это произведение пришлось по душе, интересно будет сопоставить героев романа с прототипами. Эти фотографии – из семейного архива Римских-Корсаковых.

● *К. В. Головкин, муж Ирины Головкиной, прототип Олега Дашкова, 1915 год.*

● *И. В. Головкина, 1939 год.*

● *Тетки И. В. Головкиной – Ольга Петровна и Анна Петровна Соколовы, прообразы героинь старшего поколения.*

● *Супруги Головкины, середина 30-х годов.*

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации и трудовой коллектив редакции

№3 1992

ИПО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор Л. Л. Ежова — Корректор М. В. Масленникова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24, (главный редактор), 200-24-94, 200-24-83, (заместители главного редактора), 928-32-16, (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-78 (отдел писем, корректоры), 921-48-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 18.12.91 г. Подписано к печати 27.02.92 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,96 Тираж 180 456 экз. Заказ 3055.

ИПО Союза писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

XX век: Россия в кольце революций

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В РЕДАКЦИИ «НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА»

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Только звери кружат в кольце

«Я люблю говорить «баррикада» — это слово звучит как надо», — стихи десятилетнего москвича, разрекламированные журналистами. Сразу вспоминаешь письмо другого подростка: «Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот». 1905 год. Будущий «певец революции», пока что просто Володя Маяковский.

Все-таки то, что произошло с нами в августе, — революция. Да, спущенная сверху. Почти игрушечная — этакая специфическая кланово-бюрократическая игра. С поистине хирургической точностью произведенная: почти вся бывшая партийная номенклатура усидела на высоких креслах за кремлевской стеной. Однако эта заданность и ненатуральность не должна обмануть вдумчивого наблюдателя. Новая революция столь же разрушительна, как любая другая. Для страны. Для человеческих душ.

Современные публицисты любят кстати и некстати вспоминать о «слезинке ребенка». В данном случае — кстати: революция немыслима без детских слез. Но, быть может, еще страшнее юный энтузиазм по поводу баррикад. Овеянное этим энтузиазмом деление мира на «героев» и «врагов». Ведь оно на всю жизнь. Несчастный десятилетний стихотворец (и миллионы его сверстников) потащит революционное мышление через годы, в третье тысячелетие!

Маяковский избавился от разъедающего душу кошмара, поставив, как он сам предсказывал, «точку пули в своем конце». Кончил насилием над собой, щедро воспев перед тем насилие над огромной страной, восславив убийства «седых адмиралов», священников и прочих «бывших», согласно большевистской терминологии. Какой-то выход забрезжит нынешним детям революции? Какие судьбы ждут их?

Переворот семнадцатого года показал, что ждет вольных или невольных соучастников, целые классы общества, народы и государства. Прологом трагедии стал развал тысячелетней державы. «Первой объявила о своей независимости Финляндия (6 декабря 1917), — не без злорадства повествует известный советолог Р. Пайпс, — за ней последовали Литва (11 декабря), Латвия (12 января 1918), Украина (22 января), Эстония (24 февраля), Закавказье (22 апреля) и Польша (3 ноября). В результате государство свелось к... размерам России в середине XVII века». «Но процесс распада, — отмечает Пайпс, — затронул не только окраины: центробежные силы ощущались и внутри самой России, от которой отпадали район за районом, требуя и часто добиваясь независимости от центрального правительства». Советолог утверждает, что летом 1918 года на территории разрушенной империи существовало по крайней мере 30 «правительств».

Кукольные государства, не способные выжить в одиночку, немедленно открыли торги со всем западным миром. Сразу после провозглашения независимости Латвии председатель Народного совета Чаксте поехал в Стокгольм к американскому посланнику Моррису. Заметьте, один из руководителей суверенного государства готов был просить аудиенции не у президента, не у министра — у американского клерка. С радостью предлагался ему душой и телом, землей и народом своей страны. Готов был отдать порты Латвии под американские военные базы, просил прислать войска.

Еще более мелкие образования довольствовались переговорами с французскими капитанами и английскими майорами. Все на тех же условиях: землю, сырье, продовольствие за мизерную, призрачную помощь.

Сегодня этот позорный путь повторяется шаг за шагом. Вплоть до декларации «Енисейской республики» в Красноярске. Вплоть до призывов Эстонии прислать «го-

лубые каски» ООН для защиты от уже несуществующего Союза, первым, кстати, признавшего эстонскую независимость.

В 1918-м та же Эстония готова была по всему свету бродить с протянутой рукой, но только от России, от Белого движения помощи не желала! Напротив, в Юдениче, а потом в Колчаке (находившемся в Сибири за тысячи верст от приграничной Нарвы) видела главную для себя опасность.

Что произошло затем, хорошо известно. Ни один народ, ни одно государство, вздумавшее погреться у русского пепелища, воспользоваться русской бедой, не избежало собственной трагедии. Будто Провидение в образе истории наглядно учило человечество началам нравственности. Пала Украина, бросившая Дон под сапоги армий Троцкого. Пал Дон, пытавшийся отгородиться от общерусской беды. Одними из последних были Эстония, погубившая Юденича, и Латвия, чьи «красные стрелки» пожали такую страшную жатву в России.

Но и чехи, предавшие Колчака, но и немцы, первыми признавшие Ленина, но и венгры составлявшие костяк красных интеротрядов, десятилетия спустя не смогли укрыться от возвратной волны, вызванной Октябрьским взрывом.

Самую глубокую чашу страданий предстояло испить русскому народу. Сразу же после революции семнадцатого года он был объявлен бывшей «великодержавной» нацией и официально поставлен (цитирую выступление Н. Бухарина на XII съезде) в «неравное положение... более низкое по сравнению с другими...».

Чтобы хотя бы отчасти охарактеризовать ситуацию, приведу слова очевидца. Причем не русского «националиста», скажем, В. Шульгина, а выдающегося еврейского публициста И. Бикермана. «Русский человек, — писал он в статье «Россия и русское еврейство», — никогда прежде не видел еврея у власти; он не видел его ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. Бывали и тогда, конечно, и лучшие и худшие времена, но русские люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей — во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и во главе первопрестольной Москвы, и во главе невской столицы... Русский человек видит теперь еврея и судьей и палачом...»

В последующие десятилетия русские были обречены на неуклонную деградацию. Ритуальные жертвы режиму приносились прежде всего из их числа. Интеллект нации, ее совесть, сердце и руки — все было брошено к подножию марксистского Молоха. Но жертв требовала не только революционная идеология. Стройки коммунизма, войны, освоение бескрайних просторов — миллионы рекрутов ежегодно.

Но ведь и сами евреи не смогли вполне оградить свою судьбу в бушующем революционном море. Сначала они испытали притеснения в новообразованных государствах, чье стремление к отделению от России активно поддержали. В Прибалтике, в Молдавии, на Украине, где при Петлюре, с которым еврейские автономисты первоначально заключили союз, дело дошло до погромов. А годы спустя — в конце тридцатых, в конце сороковых возвратная волна накрыла их в Москве: палачей вместе с невинными.

Ни один народ революция не сделала счастливее. И ни один общественный класс. Не говорю о дворянстве, купечестве, — как безжалостно растоптала новая власть интеллигенцию, эти «дрожжи» революционного процесса (кстати, и сегодня манежная итээровская массовка стала первой жертвой преступного вздувания цен, последовавшего за августовской революцией, которую она радостно приветствовала). В какую нищету был ввергнут класс-«гегемон» — пролетариат. Как бронепоездами, а затем голодом, а затем непосильными налогами уничтожали крестьян. Офицерство, в большей своей части примкнувшее к Красной армии, было уничтожено в чистках тридцатых годов. Да и сами «кожаные куртки» стали жертвами тридцать седьмого.

Миллионы трупов, горы человеческих тел, вздымающиеся к небу выше знаменитых горных вершин, — вот наглядная иллюстрация к понятию «революция». Так у кого же повернулся язык вновь бросить губительный лозунг: революция продолжается? И почему у народов, населявших вчерашний Союз, лозунг этот не вызвал ужаса и омерзения? Почему не отшатнулись и не обрушились затем с гневом — вновь пошли на поводка, з н а я, что он неминуемо превратится в удавку.

Мыслящая Россия, лучшие ее сыновья десятилетиями мечтали о Возрождении. «Здесь сверкнет белый луч Мирового Преображения», — пророчил о. Сергий Булгаков.

Но кто же мечтал о том, что происходит сегодня?

Мы призваны осмыслить происшедшее с нами. Только звери раз за разом бросаются по гибельному кругу, гонимые страхом и нуждой. В семнадцатом пытливая честная мысль не испугалась ни штыка, ни пожара. Ни того, что, может, всего страшнее — признания ответственности своего круга, интеллигенции, за случившееся. Знаменитая книга «Из глубины», объединившая работы крупнейших русских мыслителей и общественных деятелей, была создана в считанные дни и сдана в печать в 1918.

Разумеется, обстоятельный анализ — дело будущего. А пока попытаемся рассмотреть три группы вопросов. Первая рождена «злобой дня». В чьих интересах произведена новая революция? Каково отношение ее вождей к принципам демократии, которыми они клялись в «Белом доме»? Их отношение к государству (союзному и собственно к России)? Вторая связана с историей, с кровавым опытом предшествовавших революций. И наконец, вопрос: что нас ждет? Быть или не быть России.

ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ

Под знаком смуты

Революция — это мой конек. Мне кажется, что революция — это совершенно особенное явление, вырывающееся из обыденных рамок Истории. Это колоссальный кризис народа, в значительной мере его разрушающий, так что народ, как правило, становится другим если он вообще выживает. Так было с Французской революцией. Она вызвала террор и гражданскую войну когда опустошались целые департаменты, и к смерти приговаривались не только люди, но и города. Потом наполеоновскую бойню, обескровившую страну. Потом еще цепь революций, включая Парижскую коммуну. После этого господство — по современной терминологии — «криминальной экономики», знаменитое «Панамское дело», когда мошенниками было закуплено правительство, парламент, пресса. Уже в начале этого века — преследование Церкви, конфискация ее имущества, закрытие церковных школ, вплоть до слежки за офицерами в армии: ходит ли жена к мессе? Один из умнейших людей, писавших о Французской революции, А. Токвиль, утверждал, что в результате ее изменился сам характер французского народа. И действительно после нее во Франции больше не было таких широких мыслителей, одновременно философов, физиков и математиков, как Паскаль и Декарт, таких великих писателей как Мольер. Сама демография Франции изменилась. К моменту революции с ее 28 млн. населения, она была самой населенной страной Европы. Она более чем в 3 раза превосходила по населению Англию — а сейчас имеет меньше населения, и это несмотря на громадную эмиграцию из Англии в колонии!

Я указываю на это в качестве ориентира, чтобы представить себе — чего мы вправе ожидать после нашей революции 1917 года. Несомненно, сегодня ее влияние еще продолжается, мы живем под ее знаком. Сейчас все еще господствует революционная идеология. События августа-сентября 1991 года подтверждают это. Меня поразило, что когда закончилась эта странная инсценировка «путча» и собрался Верховный Совет РСФСР, то председательствовавший открыл собрание, объявив о провале «контрреволюционного переворота». В такой ситуации, в состоянии сильного эмоционального стресса, люди, как правило, выговаривают правду. То есть для этого круга людей их враги — контрреволюционеры, себя они видят — революционерами. И ряд последовавших действий был полностью в духе революционного сознания.

Так что мы продолжаем жить в революционную эпоху, время эволюционного развития для нас еще не настало. В одном старом интервью Солженицын на вопрос, чего он желал бы для России, ответил: «Я желал бы ей: вы-здо-ров-ления». Это очень ярко представляется: израненное, измученное существо лежит в светлой больничной палате и выздоравливает под присмотром добрых врачей и ласковых сиделок. Но такая картина для России на ближайшее будущее кажется все менее вероятной. Если ей и суждено выздоравливать, то не в светлой больнице, а в продолжающихся столкновениях, социальных катаклизмах. Будущее наше на ближайшее время — катастрофично и если смотреть в лицо правде, то только в таких категориях надо его рассматривать.

Прежде всего, произошла катастрофа в размерах всей страны, Советского Союза: распад того, что подразумевалось под Россией 74 или 174 года назад. У меня впечатление, что на ближайшее время, где можно что-то оценивать — это процесс необратимый. Уже начинается следующий виток распада, в размерах РСФСР, России в узком смысле слова. Главный вопрос, как мне кажется, сейчас в том, как можно предотвратить этот виток катастрофы или, по крайней мере, ее минимизировать. Потому что сценарий здесь повторяется с жуткой пунктуальностью. РСФСР проходит путь СССР, только очень убыстренно. Резкие, провоцирующие заявления руководства, не подкрепленные никакими действиями, бессилие, капитуляция.

Дух капитуляции, «дух Мюнхена» — это конец. Поэтому мне представлялась оправданной и вызывала сочувствие позиция группы «Союз», боровшейся за сохранение Союза (в том или ином виде) даже когда на это не было почти никаких надежд. Отказ от этой борьбы был бы предательством дела наших предков, строивших страну больше 1000 лет, был бы отказом от нашей Истории. Но сейчас, когда распад произошел, остается сосредоточить все силы на сохранении России в узком смысле.

Надежда на успех связана, на мой взгляд, с тем, чтобы осознать, какие широкие пласты народа можно объединить вокруг этой «сохранительной» программы. Это не только государственно и национально мыслящие люди, понимающие (или чувствующие), какие экономические и политические опасности влечет за собой распад страны, какой удар он наносит воле к жизни народа. Но большинство народа в ближайшем будущем болезненнее всего будет ощущать последствия неограниченной «приватизации» и «либерализации цен»: голод, холод, разруху. А ведь это тоже штурм России, только с другой стороны. Вся эта политика, которая вызовет страшное обнищание народа, возможна только на основе внедрения новой технологии, новой системы нравственных норм: успех — предпринимательский, денежный — должен рассматриваться как основной критерий оценки человека. Для

этого должна быть сломана традиционная в России мораль, с опаской смотревшая на успех и богатство, а в бедности видевшая путь к спасению. Об этом говорит множество русских пословиц: «От трудов праведных не наживешь палат каменных», «Беда учит, богатство — пучит», «Нужда научит Богу молиться», «Бедность — дело святое». И сейчас нас непрерывно перевоспитывают. Когда сообщают о трудных психологических проблемах: строить свой дом или покупать бриллианты? Когда телевидение со вкусом показывает шикарные банкеты, где столы ломятся от блюд, о которых простые люди и забыли. Когда на таком банкете дама щебечет в телекамеру, что она просто не верит, будто сейчас кто-то недоедает. Все это нельзя отнести просто за счет некоторой душевной грубости, мешающей почувствовать, насколько такие заявления бестактны в голодной и разоренной стране. Нет, это внедрение новой морали, без которой вся экономическая политика подобного типа не будет действовать. Традиционная русская нравственность основывается на концепции справедливости. Этого не смогло полностью сломить даже господство коммунизма. Коммунисты должны были обманывать народ, уверяя, что их государство справедливо. Теперь нам внушается, что справедливость и не нужна. Это духовное разрушение России, параллельное ее политическому расчленению — одно без другого неосуществимо.

Поэтому мне кажется, что на принципах защиты, сохранения России — ее политического единства и ее духовных ценностей — может объединиться подавляющая часть народа. Причем далеко не только русские по паспорту. Но для этого должны научиться понимать друг друга все, для кого сохранение России является главной целью. И величайшая опасность — разбиться на множество враждующих сект. Такая опасность очень реальна для патриотического движения. Патриотические вечера часто напоминают политические митинги, где не обсуждаются различные точки зрения, но присутствующие сплачиваются вокруг узкой программы.

Ярким примером являются и экономические дискуссии. Куча понятий — «капитализм», «рынок», «частная инициатива», «частная собственность» — слепляются в один ком и воспринимаются как единое Зло. Чего стоит, например, рубрика, существовавшая одно время в нашем журнале: «Рынок — панацея или ловушка?» Можно догадаться, какого направления работы там исключительно публиковались. А тем временем мы, быть может, упустили возможность поддержать идею национально ориентированного предпринимательства: ведь не разрушению России способствовали Демидовы, Мамонтовы и Прохоровы!

Сейчас политические разделения не окостенели, они изменчивы и часто случайны. Ведь те, кого образ «Великой России» преследует в ночных кошмарах, составляют незначительное меньшинство. Подавляющему большинству некуда податься из этой разоренной страны, им нет другого пути, как восстанавливать и сохранять ее. И если мы все сумеем объединиться на этом очевидном факте, не потеряем способности понимать друг друга, — то у нас будет проблеск надежды.

●

ГАЛИНА ЛИТВИНОВА

Революция и русская державность

Напомним один очень важный момент, что русский суперэтнос сформировался задолго до 1917 года. Различий между Малой, Белой и Великой Русью практически не было. В России не было деления людей по национальному признаку. Посмотрите Свод законов Российской империи. Вы не найдете там никакого отличия в правовом положении грузина, украинца, белоруса. Они все были равны, различия были только по конфессиям. Но если татарин, еврей, не важно кто, принимал православие, у него были те же самые права, что и у любого иного православного. Но и различия в правовом положении представителей разных конфессий далеко не всегда означали ущемление их прав. Например, на инородцев, иноверцев не распространялась обязанность защищать Державу, многие из них освободились от налогов и пошлин, иудеи ограничивались в свободе передвижения (черта оседлости), но на них не распространялось крепостное право, их нельзя было купить, продать, как русских и других христиан. Различия чаще всего не носили дискриминационный характер. Большевики, дабы облегчить победу, разделили население на два враждебных лагеря: по социальному признаку (класс эксплуататоров и эксплуатируемых) и по национальному (нацию угнетателей — русских и нации угнетаемые — все остальные).

Вожди мировой революции, как тогда называли В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, полагали, что русский народ, как народ, «...угнетавший другие народы, должен быть поставлен в неравное, принужденное положение, дабы компенсировать то неравенство, которое сложилось в жизни исторически. Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России: великороссы составляют только 43% населения, т. е. менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы»[1]. Вот здесь-то и были заложены те истоки межнациональных распрей и развала, к которым мы пришли сегодня. Их первопричину нужно искать в 17-м году. Большевистская революция была антидержавной, антироссийской, антирусской.

Революция 17-го года была направлена на разрушение Державности, и в этом отношении в перестройке, которую не зря называют второй революцией, видна преемственность. Если в первую революцию удалось частично разрушить Россию, оторвав от нее Польшу, Финляндию, Прибалтику, Турецкую Армению, то сейчас разрушение удалось завершить.

Большевики не щадили Россию во имя создания «Всемирной федерации Советских Республик». Необольшевики, именующие себя демократами, разрушили державу, чтоб «войти в „мировое сообщество"». Была и другая цель — уничтожить крупнейший народ государства — русский. Я лично думаю, что обе эти революции — антирусские. В первую, 17-го, — отстрелом интеллигенции, уничтожением дворянства был нанесен удар по интеллекту нации, по голове; чтобы разрушить духовность нации, было подвергнуто физическому уничтожению духовенство. Смею вас уверить, что топили, расстреливали, сжигали живьем только православное духовенство, которое Ленин именовал не иначе, как черносотенным. С представителями иных конфессий так не поступали, более того, мусульманские школы (мектебы), мечети, суды шариата действовали до конца 20-х годов. Синагоги если и закрывали, то раввины шли работать в наркомат иностранных дел, внешней торговли, во всяком случае, физически их не уничтожали. Православное духовенство уничтожали тысячами, почти поголовно, чтобы разрушить душу народа. Генофонд русского народа начали разрушать с поголовных расстрелов казачества; искусственный голод и «раскулачивание» довершили это дело. Мощным политическим ударом было разрушение государственности. Русских лишили национальной государственности. Это было четко зафиксировано в Конституции Российской Федерации 1918 года. Ориентируясь на победу мировой революции и создание всемирной федерации советских республик, большевики определили Россию как федерацию. Профессор Рейснер предлагал построить ее по принципу хозяйственно-экономическому, подобному Соединенным Штатам, — в основу положить экономический принцип. Субъекты федерации приблизительно равные, с широкими правами мест. Однако большинством всего в 2 голоса прошел проект Сталина, который тогда был наркомнацем[2]. Он предложил строить Федерацию по национально-территориальному принципу с предоставлением государственности практически всем крупным народам, кроме русского. Так и получилось. Кстати, тогда в Наркомнаце был 21 комиссариат — латышский, польский, еврейский, мусульманский и другие. Не было только русского. Каждый комиссариат занимался защитой интересов своей нации. Русским, как нации, «угнетавшей» другие народы, государственности национальной не полагалось.

Эти традиции, существовавшие 70 лет, усилились в ходе перестройки; расширены политические права всех народов за счет ограничения политических прав русского. При помощи политических, экономических рычагов резко усилены темпы депопуляции и демографической деградации русских. Цифры хорошо известны, но назову некоторые. Только за 1989—1990 гг. темпы вымирания населения 12 центральных областей России выросли в 6 раз. Детский фонд недавно издал справочник «Положение детей в СССР», из которого ясно, что на долю России, где основная масса русских, приходится 51%, или больше половины населения (1989 г.), и только 46,7% детей. Но на долю этих 46 процентов приходится от 60 до 87 процентов несовершеннолетних преступников, в том числе рецидивистов, детей и подростков алкоголиков и наркоманов, детей, рожденных несовершеннолетними. Последних на душу населения в России оказалось в 16 раз больше, чем в Грузии и Таджикистане. Если дети — наше будущее, то каково оно у России? Разрушаются остатки сохранившейся культуры, чему в значительной мере содействует российское радио и телевидение. В России есть и американское телевидение, и татарское, и якутское, но нет русского. Русскоязычное российское телевидение скорее можно назвать русофобским, чем русским. Идет явное разграбление и распродажа богатств России, причем все проваливается словно в черную дыру. Самым нищим оказался самый богатый народ. Это стало возможным благодаря лишению русского народа государственности и резкой политической дискриминации. В. Тишков, директор Института этнографии АН СССР, опубликовал данные этносостава депутатского корпуса всех уровней — от союзного до местных. Процент русских везде ниже, чем их удельный вес в составе населения. В ряде районов разрывы многократные. В Прибалтике и Казахстане 2—3-кратные. Представьте себе, что было бы, если бы эстонцев выбрали в 3 раза меньше, чем их удельный вес в составе населения. Мир охрип бы от протестов. Но поскольку дискриминации подвергается русское население, то права человека на них, по мнению властей, не распространяются. Вдохновленные преступным безразличием нардных депутатов общесоюзного съезда к политической дискриминации русских, все местные и республиканские мудрецы пошли по этому же пути. Анализ национального (этнического) состава депутатского корпуса съездов и Советов показывает, что представительство русских везде занижено. Но некоторые нации представлены в несколько раз выше, чем в составе населения Российской Федерации. Так, в представленных органах якутов и евреев в 4—5 раз больше, чем в населении. Четко прослеживается привилегия так называемых коренных наций. Якуты составля-

[1] В. И. Ленин. ПСС, т. 26, с. 318.
[2] Нарком по делам национальностей. — Прим. ред.

ют 32 процента в составе населения Якутии, и около 10% из них заняты в промышленности, но в то же время 59 процентов — в составе Верховного Совета, 70 процентов — в составе Совета Министров. Идея политической дискриминации русских закрепляется в ряде важных правовых актов, особенно в первом проекте Конституции РСФСР. Авторы проекта Конституции позаимствовали многое из конституций США, Израиля и других государств, а из отечественного опыта взяли только ленинско-сталинский принцип предоставления национальной государственности всем, кроме русских. Территории республик и автономных образований могут изменяться только с согласия их населения после референдума. А территории русских областей может перекраивать федеральный центр. Кому хочет — тому подарит или продаст, как, скажем, Крым или остров Даманский. В последнем проекте Конституции есть интересная статья, предоставляющая иностранцам право не только избирать, но и быть избранными в местные органы. Поскольку собственных французов, греков на все должности не хватит, решились их импортировать, и это записали в проект Конституции: «Закон может предоставить право выбирать и избираться в органы местного самоуправления постоянно проживающим на соответствующих территориях иностранным гражданам». Во Франции иностранец не имеет права быть профессором Парижского университета. Он может стать таковым спустя 5 лет по принятии гражданства, а здесь он может управлять Тюменской областью, которая немногим меньше той же Франции.

●

ТАТЬЯНА КОРЯГИНА

Худший из вариантов перестройки

Прежде всего я хотела бы заметить, что есть сфера, в которой крайне опасны непоследовательность, социальные катаклизмы, революционные преобразования общества в том смысле, что все вышеназванные процессы, проводящиеся без опоры на какие-то традиционные структуры или институты, ведут к дестабилизации, а то и к разрушению этой самой сферы. Такой сферой является экономика. И в ней эволюционное развитие событий важно как нигде. И более того, нарушение правопреемственности, свободного хода событий чревато в последующие времена результатами, совершенно противоположными тем, которые ожидаются. Так было не раз в истории XX века.

В начале XX века стабильную, неэкспансивную экономику России, обладавшую множеством оригинальных черт, ждала именно подобная участь. Традиционалистская агропромышленная модернизация, совершавшаяся небывалыми темпами, оборвана была сначала войной, а затем революцией. Россия не получила нескольких десятилетий мира и покоя, о которых мечтал Столыпин. Зато на развалинах прежней экономики стала взрастать экономика военного коммунизма, где главенствующую роль играли административные меры. Причем характер зарождавшейся Системы, а точнее, Антисистемы, был таков, что для лучшего ее роста необходимо было уничтожить все самое эффективное, на чем держалась предыдущая система — собственность, наиболее квалифицированные кадры, система сложившихся связей и характер отношений. Были проведены широкомасштабные социальные эксперименты в городе и деревне. Однако за тридцать лет, отделяющих октябрьскую катастрофу от послевоенной эпохи, «первосоветские» структуры экономики и власти, созданные «ленинской гвардией» — как прямо геноцидные, оккупационные, — за неимением лучших народ сумел приспособить для стабильного, эволюционного развития. Предстоит еще осмыслить ту роль, которую сыграла в этом процессе Великая Отечественная война. Однако после рывка 50—60-х годов, после впечатляющих успехов Советского Союза, введения системы всеобщего образования и здравоохранения, прорыва в космос и создания высокотехнологичных систем вооружения, начала урбанизации уже в середине 60-х годов появляются первые признаки эрозии правящего слоя, временная интенсивность, достигнутая зачастую величайшим напряжением сил, сменяется экстенсивностью. Советская цивилизация постепенно утрачивает технократическую маневренность, волю к организационным рывкам. Зато идеологический код, заложенный в саму плоть и кровь коммунистической системы, дает о себе знать администрированием, волюнтаризмом. Никита Сергеевич подрезал приусадебные участки под самое крыльцо. Брежнев и его советники находили возможным сселять «бесперспективную» деревню, поворачивать реки. Попытки реформирования, предпринимавшиеся неоднократно, результатов не дали, а тем временем масса негативных факторов в экономике нарастала. И вот в начале 80-х годов стали проводиться работы по анализу и осмыслению происходящего. Я могу рассказать о тех мероприятиях, в которых довелось участвовать мне в 1982 году. Тогда меня, в то время старшего научного сотрудника Научно-исследовательского института экономики при Госплане СССР, привлекли к работе группы по разработке экономической реформы. Это была засекреченная группа при Межведомственном совете по изучению опыта социалистических стран — членов СЭВ. Составлена она была из работников Госплана, Совмина, министерств и ведомств и научных институтов. Идеологом и куратором этой группы от политического руководства был Юрий Владимирович Андропов. Имелось в виду изменение политического курса, и в этой связи обсуждались вопросы взаимосвязи экономики и политики, анализировались и рассматривались различные модели и варианты перехода к рынку — венгерский путь, китайский путь, югославский вариант. Группа действовала сравнительно недолго, и результатом ее деятельности были разработки и модели перехода к экономике смешанного типа. То есть все идеи в сфере экономики, положенные в основу политики «перестройки» — курс на акционирование, частную собственность, раскрепощение цен, серьезно рассматривались уже тогда, в 1982 году. Наверняка события могли развиваться по иному сценарию нежели теперь, но, вместо постепенного, шаг за шагом, реформирования существующей «командно-административной» системы, в апреле 1985 г., от которого мы ведем отсчет дней нашей Революции, был взят иной сценарий развития событий. Перестройка еще ждет своих историков и исследователей, но для меня представляется чрезвычайно важным период 1988 года, когда под знаменами «демократизации» и «перестройки» столкнулись два движения, берущие свои начала задолго до 1985 года. Круг идей, разрабатывающийся рядом интеллектуалов с упором на лозунги демократии, прав человека и полной прозападной ориентации, идеологически подкрепил первые открытые шаги теневой экономики, которая в 1988 же году в рамках «кооперативного» движения сомкнулась с конкретными материальными ресурсами, после чего этот симбиоз стал чрезвычайно силен. Это движение, как ни прискорбно, и стало ядром демократического движения за обновление.

Попытка Валентина Павлова предложить программу во время тряпичного августовского путча была попыткой переломить ход событий в сфере экономики. И поэтому мне кажется, что это программа в тех ее пунктах, где говорится об объявлении политического моратория на объявленные ранее суверенитеты и возвращении к ситуации 1988 года, была и, возможно, поныне остается актуальной для России. В ближайшее же время для нас, по моим предположениям, чрезвычайно актуальным станет противодействие криминальным силам, которые закрепились в политическом смысле и, возможно, захотят претендовать на ведущее положение. В этой связи я хотела бы затронуть еще одну сторону вопроса — об эволюционном, или революционном, пути развития событий. Это о роли массы люмпенов, психологии люмпена, на которую криминальные силы зачастую опираются при проведении революционных преобразований. Кто-то весьма справедливо охарактеризовал этот процесс как «ставку на сволочь». Конечно, сказано резко, но именно люмпенизированный тип мышления легче всего преодолевает традиционную мораль и взламывает все нравственные нормы.

●

МИХАИЛ ГОРДЕЕВ

Идеи Троцкого живут и побеждают?

Общеизвестно, что любой социальной революции всегда предшествует революция в умах. Новая генерация политических деятелей, идущая к власти в условиях революционных перемен, обязана нести с собой оригинальные, нестандартные подходы и решения, отражающие те сдвиги, которые происходят в общественном сознании.

Новая плеяда политиков, пришедшая к власти на волне перестройки, не являлась исключением. Обществу, которое подспудно бурлило от неприятия всех пороков застоя, была предложена внешне привлекательная концепция «нового политического мышления». Это выглядело как серьезная заявка на осуществление эффективных преобразований, направленных на реальное улучшение качества жизни людей. По существовавшим тогда негласным правилам, никто не попытался подвергнуть новую доктрину придирчивому анализу, общественной экспертизе.

Только теперь, на шестом году перестройки на фоне прогрессирующего распада страны, развала государственных структур, роста политической нестабильности, углубления экономического кризиса, общество начинает задаваться мучительным вопросом: как же все это могло произойти. Возникает естественная потребность вернуться к идеологическим истокам перестройки, «нового мышления», с целью выявить те ошибочные подходы, которые вплотную подвели нас к общенациональному кризису.

Термин «новое мышление» впервые появился в официальном лексиконе на встрече генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с трудящимися Тольятти 8 апреля 1986 года. «XXVII съезд КПСС, — подчеркнул генеральный секретарь, — дал развернутый анализ всей противоречивости и взаимосвязанности современного мира. Для решения его проблем совершенно необходимо новое мышление, но-

ваторский подход...»[1]. Таким образом, понятие «новое мышление» отождествлялось с только что прошедшим съездом партии, хотя сам термин в документах съезда отсутствовал.

Думается, что те, кто готовил текст выступления, не случайно избрали столь второстепенный, с внешнеполитической точки зрения, повод для опробации нового термина. Важно было посмотреть, как он будет воспринят, не встретит ли возражений, критики. Но все обошлось, и, с легкой руки главного редактора главного теоретического органа партии, журнала «Коммунист», И. Т. Фролова (назначенного сразу после съезда), появилась статья А. Бовина с теоретическим обоснованием нового мышления[2]. А чуть позже, в сентябре, идеи Бовина уже были официально санкционированы редакционной статьей того же «Коммуниста»[3].

В чем же состояла новизна подхода к международным делам, очерченная в двух упомянутых статьях? Если абстрагироваться от традиционных для советской внешней политики принципов борьбы за мир, против ядерной войны, то помимо самого термина «новое мышление», обращало на себя внимание полное отсутствие каких-либо ссылок на доктрину пролетарского интернационализма. Дело в том, что новое мышление выдвинуло «во главу угла» уже не классово-пролетарский, а своего рода универсальный, планетарный интернационализм.

Так, по словам И. Т. Фролова: «Новое мышление ставит в центр концепцию взаимозависимого, взаимодействующего мира, то есть исходит из того, что мир един»[4]. Как указывает А. Бовин, мир должен быть осознан «как мир единый, как мировое сообщество, как человечество», которое «начинает обретать планетарное сознание» и в котором «любые групповые интересы должны отступить на задний план перед интересом всеобщим, всечеловеческим»[5].

Откуда же пришла доктрина мондиализма, как попала она в советский внешнеполитический реестр?

Если бросить беглый взгляд в ретроспективу, то нельзя не заметить, что идеи мондиализма начинают активно разрабатываться в нашей стране в конце 70-х — начале 80-х годов небольшой группой ученых-обществоведов, в которую входили, прежде всего, философы: член-корреспондент АН СССР И. Т. Фролов, доктора философских наук Ф. М. Бурлацкий и В. В. Загладин, а также доктор юридических наук, президент Советской ассоциации политических наук Г. Х. Шахназаров, академик-экономист А. Г. Аганбегян, а также ответственный работник ЦК КПСС А. Н. Яковлев.

Можно сослаться, в частности, на совместную статью Загладина и Фролова, появившуюся в 1979 году. В ней говорилось о новых вызовах, которые несут человечеству глобальные проблемы, об угрозе «выживанию человечества», о необходимости решения этих проблем в «глобальных масштабах»[6].

Одновременно Фролов выпустил и самостоятельную статью, которая также изобиловала новомышленческой лексикой. «Именно через философию, — указывал автор, — в наибольшей степени осуществляется воздействие на мышление, сознание, мораль современного человека в направлении выработки глобальных подходов. Здесь достигается главное: осознание себя каждым человеком как части человечества... Совершается все более ощутимый поворот в сознании современного человечества, изменяется шкала ценностей, причем все явственнее обнаруживается приоритет гуманистических и социальных целей...»[7].

В своей следующей статье (1980 г.) Фролов дает уже более углубленную проработку глобальной проблематики. Он, в частности, выдвигает концепцию «взаимозависимости», как следствия интернационализации хозяйственной жизни планеты, а также концепцию «нового гуманизма», как идеи «интернациональной общности человечества»[8].

Вместе с Фроловым над тематикой глобальных проблем продолжает работать и Загладин. В 1981 г. вышла его статья с анализом «взаимосвязи и взаимозависимости различных территориально-структурных единиц мирового сообщества», «общечеловеческого характера глобальных проблем», «соотношения общечеловеческого и классового»[9]. Как видим, эта лексика, да и сами подходы вовсе не являются изобретением перестройки.

Хотя оба автора практически во всех статьях активно использовали исследования западных футурологов, прежде всего, доклады известного «Римского клуба», им не был чужд и критический подход к некоторым выводам зарубежных интеллектуалов.

Как бы там ни было, а работа над мондиалистской проблематикой продолжалась. В 1981 г. вышла книга Шахназарова «Грядущий миропорядок», в которой преобладающей тенденцией международных отношений объявлен процесс перехода «от дезинтеграции к полной интеграции человеческого сообщества, вплоть до того момента, когда оно перестанет быть сообществом и его можно будет назвать просто обществом». Шахназаров утверждал, что «общечеловеческие потребности... настоятельно толкают народы к объединению и сотрудничеству», что «политической формой нового миропорядка

[1] Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 3, с. 353.

[2] Новое мышление — требование ядерного века // Коммунист, № 10, 1986.

[3] Новое политическое мышление в действии // Коммунист, № 13, 1986.

[4] Фролов И. Т. Человек, наука, гуманизм // Коммунист, № 11, 1988, с. 79.

[5] Бовин А. Указ. соч., с. 124.

[6] Загладин В., Фролов И. Глобальные проблемы и будущее человечества // Коммунист, № 7, 1979, с. 95.

[7] Фролов И. Т. Наука и гуманистические идеалы в решении глобальных проблем // Вопросы философии, № 6, 1979, с. 117.

[8] Фролов И. Т. Философия глобальных проблем // Вопросы философии, № 2, 1980, с. 33, 42.

[9] Загладин В. В. Методологические проблемы исследования глобальных процессов мирового развития // Вопросы философии, № 9, 1981, с. 21—22.

может стать на первом этапе федерация социалистических государств»[10].

Книга Шахназарова представляет собой наиболее объемное, цельное и последовательное изложение этой концепции у нас в стране. Поэтому все последующие публикации на эту тему вплоть до начала перестройки вряд ли заслуживают рассмотрения, так как не могут ничего добавить к уже зафиксированным позициям. Необходимо только упомянуть, что в 1982 г. к лагерю «глобалистов» примкнул Бурлацкий, опубликовавший броскую статью «Философия мира», в которой доказывал возможность «моделирования международных отношений» и «планируемого всеобщего мира»[11]. В 1983 г. с экономическим обоснованием мондиализма выступил А. Аганбегян совместно с А. Гранбергом. Они анализировали возможности выбора альтернатив решения проблем мирового развития на базе глобальных экономических моделей[12]. В этот же период над проблемой соотношения национального и интернационального усиленно работал и А. Н. Яковлев.

Завершением многолетней теоретической артподготовки явилось введение в научный оборот самого термина «новое мышление», что сделал Шахназаров в мае 1984 г. В очередной статье он без обиняков призвал к «переоценке понятийного аппарата», к «новому образу мышления», настаивал на том, чтобы «считать одним из важнейших требований ядерной эры распространение философии... планетарного и интернационалистского мышления»[13].

Таким образом, можно констатировать, что основы концепции «нового мышления» были окончательно сформулированы к 1984 г. Но для перехода в наступление «новомышленникам» была необходима соответствующая политическая атмосфера. Она появилась с началом перестройки. Именно в этот период авторы и соавторы концепции начинают выдвигаться на ответственные посты в партийном и государственном аппарате. Фролов становится секретарем ЦК, главным редактором газеты «Правда», Бурлацкий — депутатом Верховного Совета СССР, членом комитета по международным делам, Шахназаров — помощником генерального секретаря ЦК КПСС, Аганбегян — главным экономическим советником правительства, Загладин — первым заместителем заведующего международным отделом ЦК, Яковлев — членом Политбюро ЦК и членом Президентского Совета. Их влияние на политику страны значительно возросло, хотя и раньше они играли не последнюю роль в советском политическом истеблишменте.

На этом следующем этапе своего развития концепция «нового мышления» приобретает невиданную доселе динамику. Она широко пропагандируется средствами массовой информации, присутствует практически во всех официальных выступлениях, начинает служить главным руководством при проведении практической политики.

Претерпела эволюцию и сама концепция. Вначале констатировалось, что рост взаимозависимости происходит на фоне существования целого ряда противоречий. Затем противоречия отодвигаются на задний план, упоминаются лишь мимоходом, а тенденция к взаимозависимости абсолютизируется.

Вначале речь велась о соотношении между классовыми и общечеловеческими интересами (национальные по традиции игнорировались). Затем общечеловеческие интересы были объявлены приоритетными.

Вначале утверждался плюрализм и мирное состязание различных идеологий. Затем стал провозглашаться лозунг деидеологизации и приоритета общечеловеческих ценностей, который дополнился выводом о необходимости подчинения политики «универсальным морально-эстетическим нормам.

Таким образом, концепция нарастания взаимозависимости в своей философско-методологической основе ничего общего с предшествовавшим ей ленинизмом не имеет. Она, скорее, напоминает ту самую теорию «ультраимпериализма» Каутского, которую Ленин критиковал. Впрочем, и сами новомышленники не пытаются этого скрывать. «Я не исключаю, что дело идет к формированию некоего подобия «ультраимпериализма», — отмечал Бовин[14].

Между тем, наиболее последовательным сторонником теории «ультраимпериализма» в России выступал не кто иной, как Л. Д. Троцкий. Ленин прямо характеризовал взгляды Троцкого на империализм как каутскианские. Действительно, если сравнить взгляды Троцкого с концепцией взаимозависимости, как она представлена в новом мышлении, то обращает на себя внимание поразительное сходство.

Что главное в новом мышлении? Это — не капитализм и не социализм. Это — тенденция к интернационализации всех сфер общественной жизни, к росту взаимозависимости. Читаем у Троцкого: «...Централизующая тенденция современного хозяйства является основной, и за ней должна быть обеспечена полная возможность выполнения ее поистине освободительной исторической миссии — постройки объединенного мирового хозяйства...»[15].

Призывая к созданию Соединенных Штатов Европы, Троцкий провозглашал, что они станут «лишь одной из двух осей мировой организации хозяйства. Другой осью явятся Соединенные Штаты Америки»[16]. А вот, что говорил на этот счет Яковлев: «Строительство «общеевропейского дома» — часть процесса становле-

[10] Шахназаров Г. Х. Грядущий миропорядок. М., 1981, с. 20, 247, 250, 322, 340.

[11] Бурлацкий Ф. М. Философия мира // Вопросы философии, № 12, 1982, с. 65.

[12] Аганбегян А. Г., Гранберг А. Г. Моделирование мирохозяйственных взаимосвязей // Вопросы философии, № 5, 1983, с. 138—149.

[13] Шахназаров Г. Х. Логика политического мышления в ядерную эру // Вопросы философии, 1984, № 5, с. 68.

[14] Бовин А. Новое мышление — новая политика // Коммунист, 1988, № 9, с. 123.

[15] Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990., с. 135.

[16] Там же. — С. 141—142.

ний взаимосвязанного и целостного мира...»[17].

Сами Соединенные Штаты Европы Троцкий видел «без монархий и постоянных армий», «без национальной монеты», «в виде полного уничтожения таможенных перегородок, объединения законодательства»[18]. Ну чем, спрашивается, не концепция общеевропейского дома? Тут тебе и парламентская демократия, и полное разоружение, и единое экономическое и правовое пространство. Разве что экологию Троцкий забыл упомянуть.

[17] Яковлев А. Н. Реализм — земля перестройки. с. 456.
[18] Троцкий Л. Д. Указ. соч., с. 139.

Развивая свои идеи, Троцкий последовательно проводил мысль относительно падения роли национальных государств в мировой политике и подчинению их единому центру. Он, в частности, утверждал, что «судьба мирового развития не связана для нас больше с судьбой национального государства», что «это последнее стало тисками развития и должно быть преодолено, то есть заменено более высокой хозяйственно-культурной организацией на более широкой основе»[19].

Таким образом, в концепции «нового мышления» мы видим реанимацию идей обыкновенного троцкизма.

[19] Троцкий Л. Д. Указ. соч., с. 144.

●

Важен симптом отрезвления

ОТ РЕДАКЦИИ

Участники «круглого стола» сосредоточились на разных сторонах драматической и чреватой прямой трагедийностью исторической ситуации, переживаемой сегодня Россией. О нынешней новой волне революционного духа, который великое множество идеологов пытается выдать за нечто благое и плодотворное, хотя вся история свидетельствует, что революция только разрушает и принципиально не способна к созиданию, говорил Александр Казинцев. О необходимости, о нравственном и просто жизненном императиве, который пока еще, увы, только пробуждается в духовных глубинах десятков миллионов людей, — императиве, требующем сохранить тысячелетнюю Россию и сам русский народ, сказал Игорь Шафаревич. О начавшемся в 1917 году принесении России, всего ее бытия в жертву глобальным кланам, которые ныне оформились в понятии «мондиализм», поведала Галина Литвинова. Наконец, об извращении и деструкции давно осознаваемого пути назревших экономических реформ — пути, который сегодня ориентирован, по сути дела, в бездну, высказалась Татьяна Корягина.

Если попытаться подвести итог, как-то свести воедино разные проблемы, следует прежде всего заметить, что все «тенденции», опаснейшая или даже открыто зловещая суть которых раскрывается в опубликованных здесь выступлениях, — это устремления заведомо у т о п и ч е с к и е, заведомо бесплодные.

Революционистский замах неизбежно приведет к краху, и прежде всего краху самих его носителей (как это и было во всех известных революциях).

Столь же неосуществимы попытки «ликвидировать» Россию; по меньшей мере трижды (после нашествия монголов, в Смутное время, после Октябрьской революции) Россия начисто «распадалась», сжимаясь до небольшого островка вокруг верхнего течения Волги. Но рано или поздно она восстанавливалась.

Заведомо утопичен и проект мондиализма — некоего единого мира, управляемого из США. В имевшей всемирный резонанс статье американского политолога японского происхождения Френсиса Фукуямы «Конец истории?», опубликованной летом 1989 года, после выявления последствий «перестройки» у нас, была, в сущности, провозглашена окончательная победа мондиализма. Фукуяма, как и его многочисленные единомышленники, ухитрился «забыть» о «третьем мире», где живут четыре пятых населения Земли. И всего через полтора года, когда «крошечный» (18 млн. человек!) Ирак бросил вызов всесильному, казалось бы, мондиализму, Фукуяма сразу же отказался от своего «диагноза».

Наконец, бессмысленна и сегодняшняя «революция» в экономике. К России снова подступают как к некоему совершенно безликому «материалу», из которого можно выстроить все что угодно — и интернациональную диктатуру пролетариата, и диктатуру транснационального капитала. Не так давно Валентин Распутин с истинно народным пониманием дела сказал, что Россия сумела довольно быстро «переварить коммунизм».

А между прочим, можно с полным правом утверждать, что коммунисты были менее утопичны, чем нынешние демократы-рыночники; первые в какой-то мере все же учитывали предшествующую историю русского крестьянства, а вторые полностью игнорируют не только тысячелетний исторический опыт, но и опыт последних трех его поколений. «Перестроить» Россию по западной модели невозможно, и наши читатели должны знать, что им бессовестно врут, когда говорят о перестройке в западном духе, якобы осуществленной в Японии. Можно сослаться хотя бы на уже упомянутого Фукуяму, который доподлинно знает и американский, и японский мир. США, пишет Фукуяма, «навязали Японии либеральную демократию. Японцы, конечно, преобразовали п о ч т и д о н е у з н а в а е м о с т и западный капитализм и политический либерализм. Многие американцы теперь понимают, что организация японской промышленности очень отличается от американской или европейской, а фракционное маневрирование внутри правящей либерально-демократической (как у Жириновского! — Ред.) партии с большим сомнением можно назвать демократией». Осуществляя свое «экономическое чудо», Япония не только не отказывалась от своего глубокого национального своеобразия, но, напротив, постоянно стремилась возродить это своеобразие во всем его объеме. Об этом можно узнать хотя бы из многочисленных материалов, собранных в книжке популярного сегодня хлесткого телеконферансье Цветова «Пятнадцатый камень сада Реандзи».

Итак, нынешние власти толкают Россию в утопию, которая никогда не осуществится. Но мы ведь слишком хорошо знаем цену бесплодной борьбы за утопию, и если не произойдет отрезвления, грядущие беды и жертвы будут чудовищными. Притом, — и с этим особенно трудно смириться, — жертвы бессмысленные и вызванные нередко даже не какими-то шагами к определенной цели, а общей ситуацией разрухи, хаоса, разгула преступных элементов. Такова, например, скорбная гибель молодых людей на выезде к Смоленской площади из туннеля под Новоарбатским проспектом в ночь на 21 августа 1991 года. Они стали главными героями «августовской революции», ее верховным символом, беззаветными «защитниками Белого дома», хотя на него никто, как это теперь абсолютно ясно, не нападал, а кроме того, БТРы, которым «преградили» путь, уже проехали мимо поворота к «Белому дому» и двигались в свое расположение под Москвой... В конце января сего года в средствах массовой информации бегло промелькнуло сообщение о том, что следственное дело, возбужденное против воинов, находившихся в БТРе, прекращено за отсутствием состава преступления. Однако преступление все же было совершено. Это очевидно из интервью одного из виднейших участников «августовской революции», депутата РСФСР Сергея Юшенкова. Он дал это интервью сразу же после происшедшего — еще не зная, что речь идет о гибели главных героев революции (интервью было опубликовано в № 33 «Аргументов и фактов», подписанного в печать еще 23 августа 1991 года).

«— Вы тот самый народный депутат РСФСР, — обратился к Сергею Юшенкову интервьюер, — который привел на защиту «Белого дома» 10 танков...

— Действительно страшно было в эпизоде под мостом, где ревели БТРы, — честно сказал Юшенков.

— Появились утверждения, — спросил затем интервьюер, — что среди солдат были пьяные.

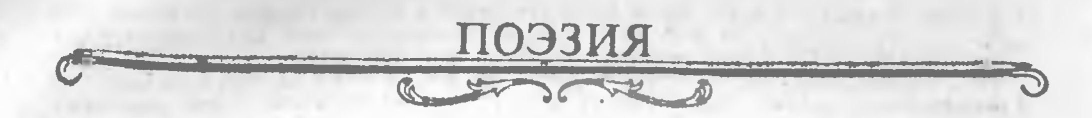
— Пьяных среди солдат я не видел, опьянение страхом было, — констатировал Юшенков. — Видел пьяных среди толпы. Ведь разные люди собрались. И бывшие десантники, и те, кто пришел поиграть мышцами».

И вот в этой ясно обрисованной Юшенковым обстановке и произошло самое тяжкое и непоправимое:

«Среди окружавших БТРы были бывшие военные, — свидетельствовал Юшенков, имея в виду, что эти люди знали, как вести дело с боевыми машинами. — Начали набрасывать на смотровые щели все, что было под рукой: одежду, брезент. Водитель с перепугу начал дергать рычаги, ну и задавил...»

Итак, гибель молодых людей объясняется исключительно тем, что кто-то «ослепил» водителя многотонной машины, движущейся среди скопления людей, — и это с неизбежностью привело к несчастью... Однако не было предпринято никаких шагов для выяснения истинных преступников и организации следствия по их делу. И это в высшей степени существенно. Ведь никак нельзя исключать, что «ослепившие» БТР люди были заинтересованы в кровавых жертвах. Впрочем, даже если это не так, все равно перед нами типичные «революционные» преступления, когда действительные преступники оказываются героями (ведь «ослепившие» БТР защищали-де «Белый дом»!). И эту «схему» можно проследить во всех событиях последнего времени.

Чрезвычайно опасны, чреваты тяжелыми последствиями в сами по себе революционные мифы, подобные только что описанному. Нелегко понять, что все стороны современной политической и экономической ситуации, охарактеризованные участники «круглого стола», представляют собой результаты действия утопических мифов, овладевших сознанием людей, стоящих у власти, и не столь уж большой, но очень активной части населения России. Кто-нибудь может возразить: раз мол, это только утопические устремления, чего уж особенно беспокоиться — все равно все вернется на круги своя. Но XX век с небывалой силой и очевидностью показал, что утопии и мифы обходятся народам невероятно дорого. Так, мондиалистская утопия способна пожрать больше человеческих жизней, чем коммунистическая и фашистская, вместе взятые. В заключение нельзя не сказать, что просвет в порабощенных мифами умах явно наметился. Об этом неопровержимо свидетельствует совершившийся в начале 1992 года раскол в так называемой «демРоссии». Часть составлявших его партий и группировок осознали бесплодность и гибельность проектов, в которые еще недавно верили. Скажут, что эти партии и группировки не так уж многочисленны и сильны. Но здесь важен и обнадеживает сам симптом отрезвления.



ПОЭЗИЯ

ГЕННАДИЙ СТУПИН

И ГОВОРИЛ МНЕ НА РОДИНЕ ВЕТЕР

* * *

И говорил мне на родине ветер,
Крутя горячечную круговерть:
— Уж так ведется на этом свете:
Кто ищет славы — находит смерть.

И ветру вторило такое солнце,
Что невозможно даже смотреть:
— Уж это так от века ведется:
Кто ищет славы — находит смерть.

И подтверждали мне такие дали,
Что даже мысленно в них —
не сметь:
— На вечной писано так скрижали:
Кто ищет славы, — находит смерть.

И земляки мне родные молчали
И не хотели в глаза смотреть,
На все печали пожимая плечами:
Кто ищет славы — находит смерть.

А я кричал всем снова и снова,
Превозмогая кровавую мреть:
Ищу не славы я, не славы — слова!..
— Но это близко так одно
от другого,
Что и за слово, выходит —
смерть...

***

* * *

...И степь, что без края была,
Светла от зари до зари,
Клином, как свет, сошла
До комнаты два на три
И письменного стола,
На котором одна горит
Бумага, как снег, бела...

И душа, что звенела струной
От земли и до самых звезд,
Черною стала дырой
От безысходных слез,
И словно камень немой
На могиле несбывшихся грез,
И словно пламень льдяной...

И разум, что обнимал
Молнией мир земной,
Темным и медленным стал,
Изведавший мир иной,
И, как раб, терпелив и вял,
Бьется над строчкой одной,
Чтоб смысл простой просиял...

И чтоб из-под спуда взошло,
Поправ молчанье и стон,
Слово, легко и светло,
И из тесных и темных стен
Камень души разнесло
Ветром, летящим в степь,
Поющим песню без слов...
И разъятую жизнь свело
Опять в бесконечную цепь.

***

* * *

Полночь все звуки и свет погасила,
Остановила всю жизнь на Земле.
Мчит лишь ужасная времени сила,
Кружится бездна пространства
во мгле.

Полночь всего и меня закружила
И погребла в темноте, в тишине.
Бьется лишь сердца упрямая сила
Где-то в бездонной ее глубине.

В вечности где-то,
в глуши мирозданья
Сердце мое одиноко стучит.
Гаснет упавшей звездою сознанье,
Дух лишь бессонный восходит
в ночи.

Нету ни чувства во мне,
ни рассудка,
Нету на мне перед бездной лица.
Мрак бесконечный лишь чудно
и жутко
Переливается в свет без конца.

И ощущаю, как жизнь улетает,
Чем-то неведомым увлечена,
И за пределами жизни витает,
Словно бессмертия ищет она...

* * *

Мне снился всемирный потоп.
Мне страшно и холодно было.
Средь водной пустыни один
Под небом пустым я рыдал,
Погибнуть готов. Но потом
Меня красота поразила,
Восторг леденящий в груди
Над ужасом возобладал.

Блистали холодные воды
По всей широте поднебесной
И солнца холодного пыл
Стократ отражали, слепя.
Забыв, что под ними — народы,
Красой околдован чудесной,
Воочью я в вечности был,
Не помня земного себя.

Простите, о люди родные,
Погибшие в хладной пучине,
Сокрывшей сады и дома,
Всю жизнь вашу, души, тела —
Я чувства изведал иные
В прекрасной бесстрастной пустыне,
Где не было зла и добра,
Одна красота лишь была.

СТУПИН Геннадий Леонтьевич родился в 1941 году в городе Аткарске Саратовской области. Служил в армии, работал каменотесом, охотоведом, грузчиком, кочегаром. Автор книг стихотворений «Тени тихие по полю», «Явная моя судьба». Член Союза писателей. Живет в Подмосковье.

Сильней человеческой боли
И разуму непостижима.
Так в детстве я видел разлив
Родимой моей Аткары:
От света, простора и воли
Безмолвна и недвижима,
Душа, обо всем позабыв,
В иные гляделась миры...

Я помню: не весь я вернулся
В дом нищенский,
к играм немудрым,
И к детской влюбленности тайной,
И в скучную школу потом...
И не до конца я проснулся
Сегодня обыденным утром —
Пусть даже во сне, пусть случайно
Всемирный видавший потоп.

* * *

Ночью тихо дождь шуршал,
Ветка в раму билась,
И, вслушавшись, душа
Горько позабылась...

Ночью звездами в окне
Вечность шелестела,
И душа моя во сне
Тихо отлетела...

Улетела далеко
Птицею бездомной
И заснула глубоко
На равнине темной...

И за небо унеслась
От юдоли бренной
И забылася-зашлась
Где-то во Вселенной...

И смешалася с землей,
И травой пробилась,
Где лежал я неживой...
Или мне приснилось?

И звездою, всех ясней,
Новой засветилась
Над могилою моей...
Или мне примстилось?

Только, чуть забрезжил свет,
Я такой проснулся,
Будто через тыщу лет
Я живой вернулся.

И душа моя во мне
Солнышком светилась,
Будто бы она во сне
Заново родилась.

И такой она была
Ясною и светлой,
Будто бы, пока спала,
Сделалась бессмертной.

Песнь о нем

Все вы, русские,
Все вы, татары, евреи, цыгане,
Работяги, и нищие,
И барыги Аткарска всего,
Белобрысого, тощего,
С голубыми большими глазами —
Вы, конечно, видали —
Вплотную не видя — его.

И как снег, или пыль,
Или свет, или тень, или ветер,
Помелькав-помелькав перед вами,
Он исчез навсегда.
И, конечно, никто не запомнил,
Никто не заметил —
Лишь земля и булыжник,
Речные песок и вода.

Землю срыли,
Повсюду залили асфальтом
булыжник,
Тот песок ивняком позарос,
Помутилась и в речках вода.
И в окрестных полях и оврагах,
И дальних, и ближних,
После стольких снегов и ручьев
Не осталось его и следа.

Умерла, разлетелась родня.
Ну а та, что осталась —
Недосуг и невмочь ей
На письма его отвечать.
И его в подмосковной глуши
Одинокая старость
Гнет к земле,
Заставляя забыть и запить,
замолчать.

Так легко
И с такою большою надеждой
уехав,
Всё и всюду прошел он —

Нигде ничего не нашел.
Лишь все звонче он пел и рыдал,
Уже собственным эхом,
Всё о том,
Как в степном захолустье светло,
хорошо.

Врал, конечно.
И врать никогда уж не перестанет,
Ослепленный с рожденья
Безответной любовью своей.
И за это когда-нибудь
Признан столицею станет
Самородком чистейших
Степных черноземных кровей.

Не затем ли, родив,
Так жестоко его отпустила
Далеко от себя — на всю жизнь,
Про себя лишь любя,
Ты, земная, степная —
Молчащая русская сила,
Чтоб хоть кто-нибудь правду
Везде говорил за тебя?

Чтоб прославил тебя, иль погиб,
Или просто свихнулся,
Десять жизней дала ему,
Но и без счета — смертей.
И чтоб ни на щите, ни с щитом
Никогда не вернулся
И не ждал от тебя ничего:
Ни хвалы, ни хулы, ни вестей.

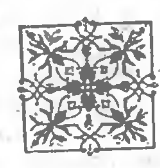
Десять раз он умрет и воскреснет,
И все же исполнит
Материнский суровый —
Молчаливый печальный наказ.
И ни словом, ни вздохом,
Ни слезой о себе не напомнит,
Издалёка ли,
Тайно ли в гости приехав не раз.

И, бездомно шатаясь,
И пьян, и избит, и ограблен,
Как в заморских трущобах,
Где он никогда не бывал,
Вдоль по улицам детства
И засыпанным ровно оврагам,
Пусть не раз смертным пóтом
И кровью он их поливал.

Тáм умрет все равно он,
Куда ты его проводила,
Просочится в гранит ли,
Суглинок ли, супесь, подзол.
Иль в трубу крематория
Вылетит он нелюдимо,
Возвращение счастья
Как слабость презрев, как позор.

Как безмерно щедра ты,
Моя золотая равнина!
Испокон посылая
Самых верных своих сыновей
На погибель иль славу
В любую лихую чужбину,
Ни об их не печалясь,
Ни о собственной доле своей...

Но по всей по великой земле
Твоим светом светлее,
Словно светлые всюду глаза —
Поглядите! — его...
Словно русские все земляки
И татары, цыгане, евреи,
Словно все из Аткарска,
Забытого Богом того...



ПРОЗА

ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

Глава двадцать первая

Молодость, доблесть,
Вандея, Дон!
М. Цветаева.

Через два или три дня после вечеринки к Олегу зашел Валентин Платонович. Они долго разговаривали, перебирая имена погибших и пропавших друзей и делясь фронтовыми впечатлениями. Олег только теперь узнал, что Валентин Платонович состоял в союзе «Защиты Родины и Свободы» и после разгрома организации некоторое время вынужден был скрываться.

— Выслеживали меня, как хищного зверя. Ночевал я то в лесу, то на стогу сена, то на крестьянском дворе. Перебегал с места на место. Мать больше года не знала, где я нахожусь, а я не мог подать ей о себе вести. Наконец один из товарищей по полку выручил: самый, понимаешь ли, провинциальный офицеришко, грубый мордобойца, которого у нас в полку все сторонились, оказался неждаино-негадаино партийцем — сумел вовремя переменить курс. Преподносит мне этак покровительственно, с важностью: «Я тебя вытащу, если станешь нашим. У меня людей не хватает, а я знаю тебя как лихого офицера. Хочешь — бери роту, только уж не подведи, дай слово». Ну, от этой чести я, разумеется, отказался и попросил самое ничтожное местечко, чтобы только заполучить красноармейский документ и таким образом замести следы. Получил справку, надел шлем с «умоотводом» и шинель со звездочкой и сделался легальным. Дрянненькая эта бумажонка до сих пор меня безотказно выручала и ни в ком не возбуждала подозрений. В моем трудовом списке, а следовательно и в анкете, так и значится: с 1917 года по 22-й — красноармеец, хотя таковым я являюсь только с девятнадцатого. Чин, правда, у меня незавидный был — каптенармус! Ну да мы люди скромные — довольствуемся малым. В той же роте на должности заведующего снабжением тоже был офицер. Свой свояка видит издалека — скоро мы с ним сблизились и вместе изобретали остроумнейшие трюки ради наивозможно лучшего снабжения родной и любимой Красной Армии: крупа у нас систематически подмокала, бутылки бились. Отправим, бывало, отряд стрелков бить рябчиков в Вологодской губернии и хохочем вдвоем до упада.

Продолжение. Начало в №№ 1—2 за 1992 год.

Такой метод борьбы не в твоем вкусе, я знаю, но если иначе нельзя — хорошо и это! Наша аристократия проявляет часто излишнюю щепетильность, а большевики не брезгуют никакими методами.

Олег с некоторым раздражением перебил его:

— Да неужели же нам по большевикам равняться? Разве аристократизм только привилегия? Если так, он уже не существует! Я считаю, что аристократизм понятие столько же внутреннее, сколько внешнее; благородная порода осталась — у лучшей части дворянства еще надолго сохранятся рыцарские черты и чувство чести, и это отнять у нас никто не властен! Такие люди вызывают к себе доверие больше, чем люди другой среды. Я — офицер. Теперь часто говорят «бывший» — почему? Никто не снимал с меня этого звания и не ломал шпагу над моей головой.

Валентин Платонович усмехнулся, и в усмешке его Олегу почудилось что-то вольтеровское.

— Вполне с тобой согласен, напрасно ты горячишься. Но à la guerre comme à la guerre[1]. Я не считаю, что, получив документ и обличье красноармейца, я был морально обязан прекратить борьбу. Я никому не приносил там присяги, я был и остался семеновским офицером; это как раз то, что говоришь ты. Если бы попал к красным ты сам, полагаю, и ты бы стал радеть им на пользу.

— Я прежде всего бы старался ускользнуть от них.

— Эта задача, разумеется, первоочередная, но она не всегда удается. Что прикажешь делать тогда?

— Ты прав, Валентин. Я возражаю только против твоей фразы о щепетильности в методах.

— Я дважды пробовал ускользнуть к белым, как только оказался в прифронтовой полосе, — продолжал Валентин Платонович, видимо, задетый за живое.— Оба раза неудачно. В Пскове вижу: стоит бронепоезд, готовый к отходу, уже дымит, а командует знаменитый Фабрициус. Я к нему. Шлем и знаки отличия долой, а для пущего пролетарского вида подвязал платком щеку; кланяюсь в пояс, прошу подвезти к своим на соседнюю станцию. Дурачком прикидываюсь. Разыграно мастерски было. Неустрашимый коммунист сжалился и разрешил, с отеческим, впрочем, напутствием: «Смотри же, паренек, не трусь — дело будет жаркое!» Я забрался в вагон и поспешно забился в угол с самым робким видом. Очень скоро начали свистеть пули — свои тут, близко, а как прикажешь перебраться? В эту минуту Фабрициус проходит через вагон: «Ну что, парень, трусишь? Наклал, поди, в портки?» Я ему в ответ в том же тоне, а при первой возможности — к смотровой щели. Как на беду, Фабрициус прибегает обратно. Я шарахаюсь, будто бы насмерть перепуганный, он смеется, но, видимо, что-то заподозрил и решил наблюдать. Я только что метнулся на буфер, выжидая удобную минуту, чтобы спрыгнуть, как слышу у себя за спиной: «А ты, парень, не очень-то трусишь! Говори, кто таков?» — И хвать меня сзади за обе руки. Казалось бы, пропала моя душа! Ан, нет, выкрутился! Повинился, что дезертирую, чтобы похоронить мать, и, проливая крокодиловы слезы, протянул красноармейский документ. Фабрициус был человек с сердцем — опять я сухим из воды вышел, только что к своим не перебрался. Последнее в конечном результате, пожалуй, вышло к лучшему.

Олег в свою очередь рассказал товарищу то, чему был свидетелем в Крыму. Валентин Платонович выслушал, потом сказал:

— Со мной, кажется, вышло несколько удачнее в том смысле, что обошлось без ранения и без лагеря, хотя бедствий и голодовок было

[1] На войне как на войне (*франц.*).

достаточно. Тем не менее, оба мы в любой день одинаково можем свергнуться в пропасть. Много ли надо? Чье-нибудь неосторожное слово, а то так непрошеная встреча и — донос! Вот недавно зашел я в кондитерскую купить коробку пирожных Елене Львовне, с которой мы вместе были в кино. Девушка спрашивает: «Кто этот человек, который вас так пристально разглядывает?» Я поворачиваюсь — батюшки мои! Один из союза «Защиты Родины». Едва только он заметил, что и я на него смотрю, тотчас отвернулся и вышел. Испугался меня. Я тебя уверяю! Вот каково положение вещей! Однако все это ни в каком случае не должно нам мешать жить полной жизнью. Во мне лично опасность только обостряет жизнерадостность, а если я в один прекрасный день загремлю вниз — недостатка в компании у меня не будет.

И после нескольких минут молчания он сказал:

— Очаровательные девушки у Бологовских, не правда ли? Я знал обеих еще девочками. В них породы много. У лучших кавалерийских лошадок, — помнишь, щиколотку, бывало, обхватишь двумя пальцами, — ножки этих девчонок нисколько не хуже. Тебе, вероятно, более по вкусу Ксения. Ты любишь девушек в стиле мадонн, в ореоле невинности. А я нахожу, что маленькая Нелидова интересней, пикантней. В ней есть, как теперь говорят, «изюминка».

Олегу показалось, что его приятель, говоря это, дает ему понять, что не намерен соперничать с ним и не хочет, чтобы что-нибудь помешало их дружбе. Расставаясь, они обменялись крепким рукопожатием, и Олег приободрился. «Не я один в таком положении: у Валентина, как и у меня, все построено на песке, и, однако же, он считает возможным радоваться жизни и надеяться! Пора встряхнуться и мне».

Он, наверно бы, не подумал этого, если бы слышал разговор, который вели два человека как раз в этот вечер неподалеку от его дома.

— Ваше благородие, господин доктор! — окликнул безногий нищий человека лет сорока в штатском, который быстро проходил мимо.

Тот обернулся:

— Какое я тебе «благородие»?! В уме ты?

— Да ведь вы — господин офицер, «доктор Злобин»?

— Ну да. Только не господин и не офицер, а товарищ доктор. Господ у нас с восемнадцатого года нет, пора бы уж запомнить. Ты из моих пациентов, что ли?

— Так точно, товарищ доктор! В Феодосии ноги вы мне отнимали вместе с господином хирургом Муромцевым, сперва левую, а после и правую. Сколько потом перевязок выдержал... Как мне забыть-то вас?

— Понимаю, что не забыл, а только не нравится мне что-то твой разговор — не по-советски и говоришь, и держишься! Вот и георгиевский крест нацепил... Ну для чего?

— А как же без Егория-то, ваше благородие? Егорий только и выручает. Прежние-то дамочки как его завидят, так сейчас в слезы, да трешницу али пятерку пожалуют; вестимо, те, что постарше. Молодые — тем все равно!

— Эх, ты! Ничему тебя жизнь не научила! Обеих ног лишился, а все еще не вытравилась из тебя белогвардейщина!

— Так ведь, ваше благородие, товарищ доктор, война-то война и есть! Вот как мы, убогие калеки, у храма Господня Преображения рядами сядем да начнем промеж себя говорить, так и выходит: кто у белых, кто у красных — одинаково и ноги, и руки, и головы теряли.

— Пожалуй, что и так, а все-таки возразить бы тебе я мог многое, да некогда мне с тобой тут философией заниматься. Скажи лучше, отчего ты не протезируешь себе конечности?

— Как это, ваше благородие?

— Отчего, говорю, искусственные ноги себе не сделаешь?

— Ваше благородие, товарищ доктор, да как же сделать-то? Деиег-то ведь нет. Сами видите, милостыней живу. В царское-то время, может, за Егория мне что и сделали бы, а теперь — сами видите, заслуги мои ни к чему пошли.

— А теперь у нас медицинская помощь бесплатна, и всякий имеет право лечиться. Пойди в районную амбулаторию к любому хирургу, и тебе будет оказана квалифицированная помощь. Пожалуй, я дам тебе записку в институт протезирования — я там кое-кого знаю.

Он вынул блокнот.

— Фамилия как?

— Ефим Дроздов, разведчик.

— Звания твои старорежимные мне не нужны, дурачина.

И он стал писать.

— Вот, пойдешь с этой запиской по адресу, который здесь стоит. Я попрошу сделать что можно, чтобы протезировать тебе хотя бы одну конечность. Только Георгиевский крест изволь снять и «господином» и «благородием» меня там не величай. Я ничего о себе не скрываю, но в смешное положение попасть не хочу, слышишь?

— Слушаю, товарищ доктор! Премного благодарен. Посчастливилось мне за последнее времячко: месяца этак два назад его благородие поручика Дашкова встретил, а теперича вас. И с им тоже все равно как родные повстречались.

— Дашкова? Князя?! Ты уверен? Ты узнал его?

— Вестимо, узнал. Ведь я с их взвода. Постояли, поговорили...

— Дашков! Это тот, у которого было тяжелое ранение в грудь, кажется?

— Так точно, ваше благородие! Вы же их и на ноги поставили, дай вам Бог здоровья!

— Дашков... Он назвал себя?

— Никак нет! Я сам их окликнул, как и вас, а они тотчас подошли и ласково этак со мной говорили. Сотенку я получил с их.

— Он не дал тебе своего адреса?

— Никак нет. К чему ж бы? Попросили о их не рассказывать, что здесь находится, я запамятовал. Ну да ведь вы свой человек — тоже крымский, худого не сделаете.

— Так, все ясно. Ну, прощай. Завтра же поди с моей запиской.

И разговор на этом кончился.

В этот же вечер двумя часами позже в один из «особых» отделов шло телефонное сообщение осведомителя:

— Имею все основания предположить, что в Ленинграде скрывается опасный контрреволюционер — офицер-белогвардеец, бывший князь Дашков. Активный контрреволюционер. Командовал «ротой смерти», отличался храбростью в боях, идейно влиял на окружающих. Был ли у Деникина, не могу сказать, а у Врангеля был — могу совершенно точно заверить, так как он лежал в Феодосийском госпитале, где каким-то образом избежал репрессий. Какие основания предполагать? Видите ли, его примерно в одно и то же время опознали в лицо бывшая сестра милосердия и бывший солдат — нищий. Оба сообщили мне... Что? Извольте, повторю: бывший князь Дашков, имени и отчества не помню. Гвардии поручик. Возраст... Теперь примерно должно быть лет тридцать... Наружность? Я его девять лет не видел! Тогда был высокий красивый шатен, гвардейская повадка... Особые приметы? Да, пожалуй, что и нет... разве что рубцы от ран... Было ранение черепа и, кажется, грудной клетки... Точнее локализировать не берусь — забыл... Адрес медсестры? Это, видите ли, моя жена. Очень больная... Мне не хотелось бы ее тревожить, притом и болтлива не в меру. Я попробую сам ее расспросить и если что-либо поточнее узнаю — сообщу дополни-

тельно... Адрес нищего? Не спросил! Дал маху! Впрочем... погодите... его можно отыскать через институт протезирования. Берусь это сделать. Он и для очной ставки может вам пригодиться. Я зайду потолковать в ближайшие же дни. Завтра не могу — занят. Всего наилучшего!

Глава двадцать вторая

ДНЕВНИК АСИ

30 марта. Во всем виноваты фиалки! Если бы не они, я не сидела бы за этой тетрадкой. Было так: вчера я в первый раз пошла к Елизавете Георгиевне Муромцевой. Бабушка сама послала меня, говоря, что пора и нам оказать ей внимание. Я купила на улице несколько букетиков фиалок (это не наши фиалки — одесские). В комнате Елизаветы Георгиевны как будто сконцентрирована та настроенность на высокую ноту, в которой она живет: порядок, тишина, книги — здесь царство мысли! Я не утерпела и заглянула в две книги, где лежали закладки. Это оказались «Роза и крест» и «Три разговора» Соловьева. Но ни то, ни другое я не читала. Как мне нравится в Елизавете Георгиевне возвышенность ее мысли! Я терпеть не могу разговоров про новую шубу, про зарплату, про тесто и магазины, а вот у Муромцевой этого совсем нет — она всегда au-dessus[2].

Когда она вышла в кухню приготовить чай, я осталась одна на несколько минут, подошла к ее столику, чтобы разместить фиалки в вазочке, и, разглядывая фотокарточки в маленьких рамках, нечаянно толкнула вазочку. Вода пролилась, а рядом лежала раскрытая тетрадь. Я взглянула, не расплылись ли чернила, и совсем нечаянно прочитала несколько строчек. Это оказался ее дневник, и там под сегодняшним числом было написано: «На меня наплывает мир моей любви, в котором тысяча и тысяча глубин. Меня сводят с ума его горькая интонация и изящество жестов. И в то же время я люблю в нем не внешний облик, и будь он изуродован или искалечен, я бы любила его не меньше!»

Я остолбенела, когда прочитала. Я не сразу сообразила, какое преступление сделала: бабушка много раз говорила, что прочесть без разрешения чужое письмо — такое же воровство, как вытащить деньги из кармана, а тут еще, как нарочно, попалась такая большая значительная фраза... Я тотчас решила, что выход из этого положения лишь один — тут же попросить извинения. Я так и сделала. Елизавета Георгиевна простила меня, но пожелала узнать, какой именно текст стал мне известен, и когда я процитировала, сказала очень серьезно: «Если уж вы заглянули в мою душу, узнайте: эти строчки относятся всё к тому же человеку — никого другого я не люблю и любить не буду». И рассказала, что пишет дневник с 16-ти лет и всегда запирает его в ящик, а ключ носит на шее рядом с крестиком. «В этом дневнике моя душа, — сказала она, — до сих пор еще ни единый человек не прочел из него ни единой строчки, а перед смертью я сожгу его». Все это меня очень заинтересовало. Я решила тоже писать дневник, тоже носить ключик на шее и сжечь все перед смертью.

31 марта. Часто говорят вокруг меня, что теперь жизнь скучна и прозаична, и что из-за трудных бытовых условий мы погрязаем в мелочах. А мне кажется, что многое зависит от нас самих, и что те, которые так говорят, сами не умеют или не хотят сделать себе жизнь достаточно прекрасной. Мелочам нельзя отводить значительного места — иначе они засосут! Надо уметь жить искрой небесного огня, как говорили египтяне, или уж навсегда оставаться в квашне, как Хлеб у

[2] Выше (*франц.*).

Метерлинка. Я очень люблю «Синюю птицу» и, когда играю без воодушевления, всегда кричу бабушке: «Я сегодня в квашне!» Вчера вечером я много и с увлечением играла сначала «Арабески» и Шумана, потом «Баркароллу» Шуберта—Листа. Юлия Ивановна не позволяет мне играть эту «Баркароллу», а я все-таки играю потихоньку. Бабушка сначала читала, а потом оставила книгу и заслушалась. Новый жилец испортил нам вечер, так как стал стучать кулаками в стену и кричать: «Надоела ваша шарманка! Прекратите безобразничать!» А было только десять часов... Бабушка очень огорчилась, я понимаю, почему: ей так грубо дали понять, что она не хозяйка в своем доме.

1 апреля. Странное явление: я очень хорошо помню, что в раннем детстве я умела летать, только я летала не так, как птица, а как бабочка — порхая над кустами в саду в имении у дедушки. Я помню некоторые подробности: помню, как Леля стоит на лужайке — той, где были ульи, — и говорит мне, что я не смогу подняться выше сирени, а я перелетела сирень и увидела под собой ее чудесные, бледно-лиловые кисти, потом помню, полетела во двор и опустилась на крышу каретного сарая. Вася и Миша стояли во дворе и увидели меня. Они показывали на меня друг другу и даже целились в меня из игрушечного ружья. Братишка Вася это хорошо помнил. Когда он умирал от сыпняка, он бредил, я раз вошла к нему, а покойная мама сидела с ним рядом и спросила: «Ты узнаешь сестричку?», а Вася сказал: «Ты все еще летаешь или уже ходишь по земле, как все?» Мама приняла это за бред, а я отлично поняла! Леля тоже еще недавно помнила во всех подробностях мои полеты, а теперь вздумала уверять, что этого никогда не было! Как же так — «не было»?! Я этих ощущений никогда не забуду! Теперь я летаю только во сне, а это уже совсем не то, что наяву.

2 апреля. Господи, до чего же хорошо жить и сколько тепла и привета находишь в окружающих! Я не знаю, совсем не знаю ни злых, ни плохих людей — или это мне так посчастливилось? Из книг я знаю, что есть они, но в своей жизни не встречаю, разве что Хрычко, но они скорее жалкие, чем дурные. Все вокруг меня так согревают своей любовью. Я уже не говорю о бабушке, о мадам и о тете Зине, но вот те, кого я узнала за последнее время, — Нина Александровна, Елизавета Георгиевна, Олег Андреевич, — какие они замечательные! Олег Андреевич пришел к нам вчера вечером — его прислала Нина Александровна, чтобы передать мне контрамарку в Капеллу на концерт, который будет в среду. Я играла на рояле по просьбе Олега Андреевича. Мне кажется, ни Леля, ни Елизавета Георгиевна, ни Шура не любят и не понимают так музыку, как Олег Андреевич. Елизавета Георгиевна и Шура не музыкальные, но у Лели хороший слух, а между тем, в ее восприятии музыки чего-то не хватает, и в суждениях есть какая-то банальность. У Олега Андреевича вкусы не установившиеся еще, но мне кажется, это потому, что он совсем не слушал музыки эти десять лет и судит о ней по впечатлениям, вынесенным из детства и ранней юности. По природе его музыкальность очень тонкая, и видно по всему, что музыка производит на него неотразимое впечатление. Я не всегда охотно играю, когда меня просят, а уж если играю, совсем не выношу, когда, слушая, начинают разговаривать, а Олег Андреевич, когда слушает, всегда сосредоточен. Несколько раз, когда я, играя, взглядывала на него, то встречалась с его взглядом — он так долго, ласково и внимательно смотрел на меня и как будто хотел разгадать...

3 апреля. Я почему-то уверена, чутьем безошибочно знаю, что никогда не буду эстрадной пианисткой. Все словно сговорились уверять меня, что я талантлива. Даже мой профессор, который всегда очень строг, прошлый раз подошел ко мне, взял меня за подбородок и, глядя мне пристально в глаза, сказал: «У вас большой талант, потрудитесь запомнить это! Вы себя недооцениваете». Талант! Я рада, что у меня талант! От радости мне даже «в зобу дыханье сперло», и все-таки я

совершенно уверена, что никогда не стану известностью. Прежде всего я не слишком люблю эстраду. Присутствие слушателей меня волнует и всякий раз при этом я играю хуже, чем могу, и после недовольна собой. Кроме того, часто бывает, что какая-нибудь вещь мне вдруг не по душе. Для того, чтобы сыграть действительно хорошо, мне нужен час... минута... не знаю что... условия, которые связаны с душевным состоянием. У меня еще не выработалась профессиональная дисциплина, и я почему-то уверена, что и в дальнейшем ее не будет. Овладеть в совершенстве роялем — мое заветное желание, и слово «талант» прозвучало как обещание, а эстрада, успех... Я о них до сих пор как-то не думала...

5 апреля. Вчера у нас был Шура Краснокутский со своей мамашей, которая пожелала навестить бабушку. Мадам Краснокутская очень хочет, чтобы мы с Шурой поженились, и уже намекала об этом бабушке. А к чему это, если я ни капельки не влюблена? Мне всегда невозможно казалось полюбить нерешительного, неволевого мужчину, а вот Шура как раз такой — немного тюфяк, немного Сахар из «Синей птицы». Вчера за чаем я так и сказала ему. Бабушка и мадам стали выговаривать мне за невежливость, а Шура сперва пытался возражать, а потом говорит: «Правильно, Ася: тюфяк — принимаю, расписываюсь!», и круглые черные глаза его так виновато посмотрели на меня, что мне его жалко стало. Нет, мой герой таким не будет. Вот Валентин Платонович — тот не тюфяк: глаза смелые, держится прямо, был на войне, на коньках во весь дух носится, плавает как рыба. Не растеряется, не дрогнет. Но он мне не нравится — он не добрый! С ним никогда не поговорить просто — непременно шутка или остроты, как тогда, на лестнице. Леле Валентин Платонович очень нравится за то, что он будто бы остроумен необыкновенно и прекрасно танцует. Да разве же это так важно? Мне больше нравится Олег Андреевич — он сердечный и глубже. У него печальный взгляд, и это почему-то тревожит. Кажется, Шатобриан сказал, что большая душа и горя, и радости вмещает больше, чем заурядная. Прошлый раз, встретившись с ним взглядом, я вспомнила эти слова.

6 апреля. Была вчера на концерте с Олегом Андреевичем и Ниной Александровной. В ушах у меня до сих пор звучит величественное: «Sanctus, Sanctus, Benedictus!»[3] Я уже пробовала подобрать это на рояле. Несколько раз вспоминала вчера дядю Сережу. В оркестре место его — во вторых скрипках — уже занято, а какое бы ему наслаждение доставил этот концерт! Нина Александровна сказала, что карточка дяди Сережи с ней в сумочке. Голос ее звучал в этот вечер совершенно божественно. Мы с Олегом Андреевичем сидели на приставных стульях, а потом просто на ступеньке, но это ничему не мешало. Мне очень хорошо с Олегом Андреевичем. Он не говорит общих вещей и любезностей, как Шура, и не упражняется в остроумии, словно в спорте, как Валентин Платонович. С ним разговор такой, как я люблю — содержательный и задушевный: на смех он никогда не подымет. Когда он провожал меня после концерта домой, сказал: «Вы — волшебница! Когда я с вами, моя душа обновляется. Я опять начинаю верить в свои силы и в будущее. На меня точно новые светлые одежды надеваются, точно я переношусь в храм перед заутреней». Когда он это говорил, я чувствовала себя как струна рояля, на которой гениальный пианист сыграл божественный ноктюрн, и которая готова порваться от чрезмерного напряжения и еще звучит, еще рыдает. Это чувство сопутствовало мне и во сне — проснулась я с ощущением, что накануне совершилось что-то светлое, точно я ходила к причастию... Я не сразу сообразила — это «Месса» и слова Олега Андреевича о светлых ризах и обновлении. Он должен быть очень тонким человеком, чтобы думать и говорить так!

[3] «Святой, Святой, Благословенный!» (лат.).

О, насколько это выше всего мелочного, житейского, насколько это ближе моей душе, чем любезности Шуры! Высоко, так высоко, светло и грустно! Я знаю цену его словам, что человек, который всегда так серьезен и сдержан, не преувеличит и не подсластит. Я знаю, наверно знаю, что слова эти вынуты из самых глубин души. Если бы он в самом деле мог забыть хоть ненадолго свое горе! Если бы я могла поделиться с ним моей жизнерадостностью! Я бы от этого не обеднела. Я вспомнила последний акт «Китежа», весь затопленный светом. Все утро я просидела за роялем; сначала подбирала мотивы «Мессы», потом наигрывала «Сказание», а к уроку не подготовилась вовсе. Я даже отвечала рассеянно. Бабушка спросила: «Что с нашей Стрекозой сегодня?», а Юлия Ивановна на уроке разбранила за невнимательность. Когда мы увидимся? Он ничего об этом не сказал, а мне неудобно было спросить.

7 апреля. Вчера вечером пришла Нина Александровна. Я пулей выскочила ей навстречу. Я очень хотела ее видеть и еще я думала, что она пришла с Олегом Андреевичем, но его не оказалось. Нина Александровна пришла с письмом, полученным от дяди Сережи. Он пишет, что живет на окраине местечка, в хибарке, на днях пойдет на работу в тайгу. Скрипкой там ничего не заработаешь, но он все-таки просит выслать ему тот ящик с нотами, который он упаковал, уезжая, так как он будет играть для себя, чтобы не потерять техники и не свихнуться с тоски. Я весь вечер вертелась около бабушки и Нины Александровны. Я хотела услышать побольше о дяде Сереже, а кроме того, все ждала, что Нина Александровна передаст мне несколько слов от Олега Андреевича, но она не передала мне ничего, зато, уже уходя и целуя меня, сказала: «Вы что ж это смущаете покой человека, моя душечка? Ведь эдак ему и влюбиться недолго!» Я сразу поняла, о ком она говорит, и покраснела до того, что не знала, куда деваться. А старшие еще, как нарочно, взглянули на меня. Очень глупо вышло...

8 апреля. Ура! Ура! Ура! Олег Андреевич вызвал меня только что к телефону и сказал, что завтра поведет меня на «Князя Игоря». Слушать с ним оперу и опять так чудесно разговаривать! Господи, какая же это радость! Я так взвинчена, что ничего не могу делать. Какая-то лихорадочная светлая тревога носится во мне... Не могу писать больше!

9 апреля. Сегодняшний день что-то нестерпимо долго тянется! Ему, кажется, конца не будет. Все еще только два часа. Смотрелась сейчас в зеркало — я в самом деле очень хорошенькая. Вот ведь какая бабушка — она всегда уверяла меня, что я некрасивая! И дядя Сережа туда же! Он дразнил меня безобразным утенком.

Конечно — надо бежать давать урок Мише. Я вообще эти уроки очень люблю, но сегодня не хочется!

10 апреля. Он пришел, наконец, и кончился этот чудесный неповторимый вечер! Как только я отзанималась с Мишей и получила свободу — вихрем помчалась домой. Бабушка позволила надеть новое платье и жемчуг. Я смотрела на себя в зеркало и думала, что он посмотрит на меня опять тем же взглядом, в котором любование, преданность и грусть, и опять скажет, что я хороша, очень хороша... И что-то томительно сладкое, замирающее подымалось во мне... А мадам не оставила меня в покое: она все ходила и ходила вокруг меня, поправляла что-то на мне и давала последние наставления, чтобы я как-нибудь, видите ли, не нарушила хорошего тона, и все прибавляла свое постоянное «Monsieur le prince est si distingué!»[4]

Когда Олег Андреевич позвонил, я помчалась открыть и тотчас нарушила этикет: узнав, что мы сидим во втором ряду партера и что Игоря поет Андреев, я подпрыгнула чуть не до потолка. Мадам сделала страшные глаза, но бабушка только улыбнулась.

Сочетание его присутствия и музыки одно из самых необыкновен-

[4] Господин князь такой изысканный! (франц.).

ных — скажу по правде! Мне особенно запомнилась одна минута: во время арии Игоря я вдруг подумала: не отзывается ли она в его душе воспоминаниями о боях, кончившихся таким поражением и такой неволей? Я обернулась на него и встретилась с его серьезным и грустным взглядом... Чуть коснувшись моей руки своею, в которой он держал бинокль, он шепнул: «Голубка Лада». Это потому, что Игорь в ту минуту пел: «Ты одна, голубка Лада, сердцем чутким все поймешь»,— я поняла, что эти слова он относит ко мне за мой взгляд, за то, что я поняла все, что пришлось ему пережить в беде, которая пришла на Родину. Мне стало до боли жаль его и папу, и дядю Сережу, и того офицера, которого любит Елизавета Георгиевна... Судьба русских военных трагична! Я как-то по-новому это поняла. А потом, когда мы гуляли в фойе, он сказал: «В юности каждый из нас создает в мечтах образ девушки, которую полюбит; мне хочется сказать вам, что вы — воплощение образа, созданного моим воображением». Как сладкую музыку слушала я эти слова и вовсе не потому, что в них заключается похвала мне, — я уж не так узко самолюбива. Эти тончайшие неуловимые оттенки чувств очаровывают меня, как высокая тоска по всему лучшему, по всему идеальному!

11 апреля. Я как-то вырвана из привычного строя, как-то потревожена. За роялем я не могу сосредоточиться: начну фугу или пассаж и обрываю, опускаю голову на пюпитр и улыбаюсь, не зная чему. А то так вскакиваю и бегаю по комнате... К уроку опять не приготовилась, и Юлия Ивановна была недовольна уже второй раз. Читать тоже не могу, только все думаю и припоминаю. Да, этот вечер был волшебным, но я хочу еще и еще таких вечеров. Мне хочется лететь навстречу этим переживаниям, как летели, бывало, бабочки на огонь свечей, когда мы ужинали на веранде в августовские вечера, а вокруг тихо шелестели дубы и липы. Мне кажется, я не могла бы жить одними воспоминаниями, как Елизавета Георгиевна. Он, по-видимому, любит стихи. Он спросил, знаю ли я стихотворение Блока «...Мне не вернуть этих снов золотых, этой веры глубокой, безнадежен мой путь!» Эти строчки он, наверное, относит к себе. Безнадежен! Неужели безнадежен? Я не хочу, чтобы так было! Его поколению слишком досталось, слишком! А ведь в молодости были же у него «золотые сны», которые до сих пор еще тревожат мою душу, и все погибли, как ранние цветы от мороза: ускоренный выпуск Пажеского в пятнадцатом году — и в 18 лет уже под огнем на фронте. С тех пор четыре года в огне, а потом — госпиталь и лагерь... Как это страшно! Когда я с ним, я точно у постели больного; я боюсь каждого неосторожного слова, боюсь спросить, боюсь напомнить... Никогда еще не бывало, чтобы разговор хоть с одним из мужчин так западал в душу, чтобы я слышала слова, в которых звучат такие большие настоящие мужские переживания. У него бровь и висок исковерканы раной; все находят, что это его несколько уродует, но мне он делается все дороже, как только взгляд мой падает на вдавленную бровь.

12 апреля. Я совсем забрасываю свои занятия в музыкальной школе. Сегодня опять играла не то, что задано,— один из этюдов Шопена, который гармонировал с моим состоянием, и напевала: «Все, что распустилось, умертвил мороз...» И весь день прошел под этим впечатлением.

13 апреля. Вчера... я видела его вчера. Ведь у меня день теперь начинается с того, что я думаю: увидимся ли мы? Вечером вдруг раздался звонок, и я услышала голос Нины Александровны в передней. Я вылетела навстречу и позади нее увидела его высокую фигуру. У нас сидел в это время Шура, а потом пришла Елизавета Георгиевна — получилась, таким образом, небольшая soirée[5]. К ужину была подана

[5] Вечеринка (*франц.*).

только вареная картошка, но все уверяли, что очень вкусно, а Шура заявил, что это блюдо богов. Я не помню точно, что происходило и кто что говорил; я разговаривала с ним не больше, чем с другими. Я ко всем одинаково обращалась, но с кем бы я ни разговаривала — я говорила для него. Каждое слово приобретало большой, исключительный смысл, а когда он говорил, я слушала, а если в эту минуту со мной разговаривал кто-нибудь, я выслушивала улыбаясь, отвечала, но главная, лучшая часть меня слушала другой голос, другие слова, и я не пропустила ничего из того, что он говорил. Разговор каким-то образом зашел о лошадях, и он упомянул про свою лошадь, которую звали Вестой, и о том, какая она была умница; она была ранена одновременно с ним, и его денщик выстрелил ей в ухо, чтобы она не мучилась — бедная лошадка! Кто-то сказал, что по радио передают романсы Чайковского. Шура включил репродуктор, и Сливинский запел «Страшную минуту». Между Олегом Андреевичем и мной тотчас же словно натянули провод. Неужели он в самом деле меня любит? Любит — я знаю! Любит его душа и вся раскрыта мне, любит его голос и звучит тепло и ласково, любит его взгляд и так грустно, задумчиво устремляется на меня из глубин души. Пришла великая любовь — та, которой все ждут, о которой мечтают. Мне она казалась далекой сказкой, а вот она уже здесь — стучится в дверь! Как странно! Мадам всегда называла меня Сандрильоной и с детства меня уверяла, что ко мне придет «принц», и теперь всякий раз, как она произносит в разговоре «Monsieur le prince»[6], мне кажется, что к нам протянулась нить из сказки, и что он и есть этот «принц». В сказке принца узнают иногда в образе медведя, а я, может быть, должна узнать его лишенным богатства, блеска и титула. Что суждено? Если бы я могла приподнять край таинственной завесы и увидеть свою судьбу!

13 апреля. Вечер. Только что говорила с ним по телефону. В воскресенье мы пойдем в Эрмитаж; он свободен в воскресенье, а не в эту глупую пятницу, так как он работает в порту. Ну а завтра вечером мы решили ехать в Царское Село. Вдвоем, я заметила, всегда лучше говорится, но бабушка не захотела отпустить нас вдвоем, она настояла, чтобы ехать компанией, и сама пригласила Лелю и Шуру.

14 апреля. Жду Олега Андреевича. Сейчас он должен за мной зайти. Он кончает работу в 6. Жаль, времени для прогулки мало! Бабушка велит к 11 вечера быть дома. День сегодня чудесный, солнечный — в этом году весна ранняя. Мое демисезонное пальто старое и куцее, шляпа без пера, тоже куцая — вид у меня Золушки. Перчаток нет. Старые — фильдекосовые — изгрыз щенушка. Я хотела ехать вовсе без перчаток, но мадам устроила «бурю в стакане воды». Она стала с азартом доказывать, что лучше мне вовсе не ехать, чем показаться без перчаток, что это дурной тон, и что я перешагну только через ее труп. Я ответила, что будь я в лохмотьях, я все равно поехала бы, а Олег Андреевич и внимания не обратит на такие пустяки и сам одет не лучше меня. Тут мадам напустилась на меня; она сама, кажется, неравнодушна к Олегу Андреевичу. Шум у нас поднялся такой, что бабушка вышла нас разнимать. Она тотчас велела нам снять одну из старых картонок со шкафа и, порывшись там, вытащила пару не новых, но еще целых лайковых перчаток. При этом бабушка сказала: «Привкус дурного тона хуже лохмотьев, Ася. Лохмотья могут быть благородны, а вульгарность — никогда». Теперь, когда я в перчатках, я с этим, пожалуй, согласна! Перчатки мне пришлись как раз впору, и руки в них кажутся маленькими. Сейчас должен прийти Олег Андреевич. Каждые 5 минут я смотрюсь в зеркало. Господи, Господи, какая захватывающая в самом деле история — Любовь!

[6] Господин князь (*франц.*).

15 апреля. Я! ЕГО! САМА! ПОЦЕЛОВАЛА! Что же это такое, и как мне теперь быть? Если бы бабушка знала, что я уже два раза целовалась и оба раза на лестнице! И отчего это со мной что-нибудь непременно случится не как со всеми? А между тем, если бы НАДО БЫЛО НАЧАТЬ СНАЧАЛА, я сделала бы то же самое и даже в мыслях я не хочу взять назад этого поцелуя.

Вошли мы в Екатерининский парк и очень скоро подошли к озеру против Чесменской колонны. Было чудесно, вода неподвижная, розовая от заката, деревья в почках, тишина... Мы тоже затихли. Вдруг кто-то запел. Голос был слегка разбит, но красивый и верный, а манера петь странная — артисты не так поют. Песня незнакомая, полная тоски. Я запомнила только отдельные фразы: «Я вор, хулиган, сын преступного мира! Меня невозможно любить!» Это пел человек, который сидел неподалеку один на скамейке, развалясь в небрежной позе. Волосы у него были растрепаны, кепка набекрень, грудь распахнута. Шура оглянулся на него и сказал: «Уйдемте. Нам незачем слушать эту хулиганскую лирику». А Олег Андреевич прибавил: «Эту песню я часто в лагере слушал, ее любили петь уголовники». Мы уже двинулись было, но у Лели подвернулся каблук, и ей пришлось снять туфлю. Шура стал приколачивать гвоздик камнем, а тем временем незнакомый человек опять запел, опять с той же тоской — в этой тоске было что-то артистическое! Надо было вовсе не иметь ушей, чтобы такое исполнение назвать хулиганским! «Люби меня, девочка, пока я на воле! Пока я на воле — я твой! Когда меня поймают, меня ведь расстреляют, а тобой завладеет кореш мой!» Олег Андреевич связывал в эту минуту мой bouquet[7] из тополя и вербы, и вдруг глаза наши встретились... Он схватил мою руку и стиснул ее... Леля и Шура не могли этого видеть, занятые туфлей. Уже в следующую секунду он мою руку выпустил, но я поняла, о чем он подумал. Леля, надевая туфлю, спросила: «А что такое кореш?» Олег Андреевич объяснил, что «кореш» — это хулиганское слово, обозначающее друг. Тогда я возразила, что именно друг-то не станет жениться на невесте дорогого ему человека, попавшего в беду. Мне показалось при этом, что Шура и Олег переглянулись, и я поскорей замолчала, чтобы не сказать глупость. Мы ушли. Я попробовала было воспротивиться, убеждая, что следует прежде подойти к этому человеку и уверить его, что у него талант, чтобы он поступал в консерваторию, а не с топором ходил, но оба мои деиди возмутились: «Вам говорить с этим типом?! Это нахал, хулиган! Мы не допустим». Я послушала, послушала и сказала: «А в Евангелии ведь сказано: дух дышит, где хочет! Вы забыли?» Пришлось, однако, уступить, но я уже не могла быть веселой. Эта песня и взгляд Олега Андреевича переполнили мою душу, я была рада, что несу ветки тополя и могу спрятать в них лицо. Вокруг арсенала было дивно — кусты черемухи и ольхи стояли все в розоватых почках, но мне становилось все грустней и грустней. Мне хотелось взять его руку и сказать ему что-то хорошее, утешающее, вынутое из самых бездн души, но почему-то я не смела. Сколько чудных слов говорит он мне, и все остаются без ответа. Я всякий раз молчу, как рыба, молчу, как сосулька замороженная! Моя душа полна, как чаша, но все остается в глубине, внутри, слова замирают на губах. Когда, разыскивая первые цветы мать-и-мачехи, мы забрели в кустарник, он оказался рядом и спросил: «Отчего загрустила наша фея?» Я ответила: «Я не хочу, чтобы ваше будущее казалось вам безнадежным!» Он на это ответил: «Я знаю, что у вас «душа живет слишком близко» и, как эолова арфа, отзывается на чужую грусть. Я уже покалечен жизнью. Если бы мне пришлось теперь потерять свет, который «блеснул на мой закат печальный», это было бы слишком большим ударом для меня. Вы даже представить себе не можете ту бережную и благоговейную нежность, с которой я, прошедший через огонь, воду и медные трубы, отношусь к девушке, тонкой, как эолова арфа, и чистой, как кристалл. Я только от нее жду обновления». И вот на такие-то слова я опять ничего не ответила! Сдерживающее начало опять запечатывало мне уста! Я чувствовала, что на нас надвигается что-то огромное, заволакивающее, откуда льются волны грусти, любви и света. И я стояла растерянная перед этим... Я, всегда во всем слишком живая, молчала там, где до боли сильно чувствовала! Подошел Шура и напомнил, что бабушка взяла с него обещание вернуться к 11 часам. Мы пошли к выходу из парка, и только когда уже вернулись в город и в присутствии Лели и Шуры простились в подъезде нашего дома, тут только я вдруг почувствовала, что нельзя отпустить его без утешения. В эту как раз минуту он крикнул мне снизу, что я забыла взять свои вербы, и побежал за мной наверх по лестнице. И тут, от натиска затоплявшего меня чувства, я бросилась ему на шею и поцеловала его, а потом так же стремительно — наутек наверх. Я очень боюсь теперь, что он будет меня считать дурочкой или невоспитанной. Я не знаю, что будет теперь и как мы встретимся. Мне кажется, что мы уже дошли до грани, и теперь ничто не остановит нашего стремления друг к другу. Сейчас уже поздно, а мне не хочется спать. Я все думаю, все о том же!

[7] Букет (*франц.*).

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

29 марта. На меня каждую минуту наплывает мир моей любви. В нем тысяча глубин и тысяча пустяков. Меня сводит с ума горечь его интонации и изящество его жестов, и вместе с тем я знаю, что люблю его не за наружность, и если бы он был изуродован или искалечен, я любила бы его не меньше. Любовь моя, любовь моя — заветная, сокровенная... Годами лились ее слезы, а вот теперь хочется всю свою жизнь до самозаклания отдать этой любви.

2 апреля. Я до сих пор как в сладком чаду: «Нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна». Пусть это была игра, но ведь игра в «правду».

3 апреля. Эти девочки — Ася и Леля... Есть в них что-то слишком уж несовременное, наследие салонов! Никакой идейности, никакой интеллектуальной жизни, а только уверенность в собственной неотразимой прелести. Ася хлопает ресницами и смотрит исподлобья, и у нее это естественно — кривлянья в ней нет (бабушка живо вытравила бы кривлянье). Так же и Леля со своей капризной манерой вскидывать голову и надувать губки. Уверенность, что это мило коренится где-то в их женском инстинкте. Но умный мужчина ценит в женщине прежде всего идейность и героизм, которыми всегда отличалась русская женщина...

4 апреля. Когда он провожал меня домой поле вечеринки, мы шли сначала все вместе и только понемногу расходились. Валентину Платоновичу, по-видимому, хотелось поговорить с моим Олегом. У них, наверно, много общих воспоминаний, но при мне они не начинали серьезного разговора, а только обменялись адресами. Фроловский — тоже настоящий тип прежнего военного, но в нем и следа нет того байронического оттенка, который так пленяет меня в Олеге. Расстались мы с Валентином Платоновичем уже недалеко от моего дома и с Олегом с глазу на глаз говорили недолго. Я спросила, видится ли он со своим денщиком. Он ответил: «Это одно из моих больных мест! Человек, который дважды спас мне жизнь, пострадал из-за меня. Я покинул госпиталь, едва лишь мог встать на ноги, чтобы не быть узнанным. Василий отыскал заброшенную рыбацкую хибарку, где укрывал меня, а сам работал лодочником на пристани и приносил мне хлеб и воблу. В первый и единственный раз, когда я, желая испробовать свои силы, вышел сам из хибарки и добрался кое-как до хлебного ларька, я увидел знакомого полковника, который в рваной рабочей куртке стоял около этого ларька,

безнадежно ожидая, что кто-нибудь подаст ему хлеба. Вы поймите, что я не мог пройти мимо человека, который бывал в доме моего отца, а теперь оказался в еще худшем положении, чем я сам; я привел его в нашу хибарку. Встреча эта оказалась роковой — за ним, по-видимому, следили, так как в эту же ночь к нам нагрянула ЧК. Когда я вышел, наконец, из лагеря и поселился у Нины Александроны, я написал Василию на его родную деревню и подписался: «твой друг рядовой Казаринов». Он не мог забыть эту фамилию, а из лагеря должен был освободиться раньше меня — он получил три года, и тем не менее он не ответил мне, не ответил ни на это письмо, ни на повторное, а почему — не знаю!» Этот короткий разговор вывихнул мне всю душу, живо напомнив ужасы тех дней. Боже мой, что тогда было!

5 апреля. Большевики молчат о том, что сделали в Крыму, и, кажется, надеются, что это забудется, и Европа никогда не узнает их подлостей... Не выйдет! Найдутся люди, которые помнят и не прощают! Они напишут, расскажут, закричат когда-нибудь во всеуслышание о той чудовищной, сатанинской злобе, с которой расправлялись с побежденными. Желая выловить тех белогвардейцев, которые уцелели при первой кровавой расправе (немедленно после взятия города), советская власть объявила помилование всем, кто явится добровольно на перерегистрацию офицерского состава белых. Ведь очень многие из офицеров перешли на нелегальное положение, скрываясь по чужим квартирам, сараям и расселинам в городе и окрестностях. Многие, подобно моему Олегу, обзавелись солдатскими документами, многих выручил химик Холодный, он в имении Прево под городом устроил мастерскую фальшивых паспортов. Любопытно, что однажды к нему нагрянули с обыском, но кто-то из его домашних успел набросить тряпку на чашку, где мокли паспорта, и чекисты не заинтересовались грязным бельем... Своими паспортами этот великодушный человек выручил множество лиц. И вот чекисты путем перерегистрации задумали выловить ускользнувших. Я никогда не забуду этот день! Из наших окон было видно здание, где должна была происходить перерегистрация. Мы с тетей стояли у окна и смотрели, как стекались туда раненые и больные измученные офицеры — кто в рабочей куртке, кто в старой шинели, многие еще перевязанные! Наш знакомый старый боевой генерал Никифораки прошел туда, хромая, в сопровождении двух сыновей-офицеров.Моя тетя сказала: «Ох, не кончится это добром!» И в самом деле, едва только переполнились залы и двор и лестницы, как вдруг закрылись ворота и подъезды, и хлынувшие откуда-то заранее припрятанные отряды ЧК оцепили здание (гостиницу около вокзала). Я помню, как рыдала моя подруга по Смольному, она проводила туда жениха, отца и брата, радуясь, что они дожили до прощения! Наше офицерство слишком доверчиво, оно привыкло иметь дело с царским правительством, которое было немудрым, близоруким, легкомысленным, но воспитанным в рыцарских традициях. Кто мстил побежденным? Когда сдалась Плевна, раненного султана усадили в экипаж и пригласили к нему русского хирурга. А Шамиль? Его сыновей приняли в пажеский корпус и допустили ко двору. В нетерпимости большевиков есть что-то азиатское! Никакого уважения к противнику, ни признака великодушия ни в чем, никогда! Из этих ворот — там, в Феодосии, — не вышел ни один человек.

Сегодня я весь день воображаю себе Олега в этой темной хибарке, на соломе. Никто не перевязывал его ран, никто не ухаживал за ним. Он так нуждался в моей помощи, он был так близко... Я плакала о нем в те дни с утра до ночи... Видит Бог, если бы я знала, где его искать, я бы пришла, я бы не побоялась, но я не знала, не знала. Так было суждено!

Полковник, который стоит в ожидании подачки, не решаясь просить... Он понимал, что рискует, выходя из убежища, но голод... Голод решил все! Хорошо, что в черепную коробку никому не проникнуть, и никто не может увидеть моих мыслей и той мощной яростной ненависти, которая душит меня сегодня. Неужели ненависть эта не принесет никаких плодов?

Я не спала сегодня ночь под давлением все тех же мыслей. Без конца воображала нашу встречу в хибарке. Вот я приблизилась, огляделась... Вот вхожу и тихо окликаю. Он приподымается... Я рисовала себе даже этот жест. Осторожно меняю ему повязку, так осторожно, что он не чувствует боли. Он кладет мне на грудь голову... Я замечаю, что у него холодные руки, и закутываю его своим плащом... И на каждой детали я замирала, затягивая мгновение... Всю мою действительную живую любовь я вкладывала в небывшее, в воображаемое... Узнает ли он когда-нибудь, что я люблю его? Пройдет время, будут еще и еще встречи, и когда, наконец, он скажет мне, что полюбил меня, я отвечу: «Люблю, давно люблю», но в этих тайных грезах, в том, что ночи не сплю, воображая его раненым и гонимым, в том, что влюблена я даже в оттенки его голоса, даже в жесты, — я не признаюсь никогда! Это умрет со мной. А ведь есть натуры как раз противоположные — такие, которые, не чувствуя и сотой доли того, что чувствую я, найдут потоки слов!

7 апреля. Он — первый, он же — последний. Ничем не поколебать теперь моей уверенности, что встреча, пришедшая после такого испытания верности, — таинственна и значима! Как неясная звездочка, мелькает мне вдали надежда, что здесь же кроется связь с освобождением и спасением Родины. Я хочу, чтобы так было! Да будет так!

10 апреля. Я видела его — встретила у Аси. Когда после чаю он провожал меня домой, я спросила, за что он получил Георгиевский крест. Он ответил: «За те шесть безумных атак, в которые я увлек моих храбрецов». Но ничего не стал рассказывать.

11 апреля. Любовь смотрит ясными неослепленными глазами, хотя и говорят, что она слепа. Я знаю, что именно я постигаю его индивидуальность со всеми ее тончайшими особенностями. Именно мне, которая любит, один жест или слово открывает доступ в глубины и может объяснить сложнейшие движения души. Идеализация любимого человека — выдумки! Любовь, как раз любовь снимает покровы и позволяет проникнуть на дно другой души.

12 апреля. Мне показалось... О, как мне больно! Мне показалось.. Я только что вернулась от Вологовских. Он был там... опять был. Я заметила, что он смотрит на Асю так долго, так особенно. Они улыбались друг другу, как люди, которых соединяет что-то, которые понимают друг друга без слов. Потом, когда передавали по радио «Страшную минуту», они переглянулись, и она смутилась, а он улыбнулся ей. Я никому не нужная была, чужая... О, да — любовь смотрит ясными неослепленными глазами, и я увидела ясно, совсем ясно, что они влюблены! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать это, но ведь это правда!

13 апреля. Боже мой, неужели?!

14 апреля. Если бы оставалась хоть капля сомнения, но сомнения нет. Я вспоминаю еще одну фразу, которая подтверждает открытие, сделанное мной. Случайно за столом заговорили о том, как мало теперь не только благородных, но просто благообразных лиц. Ну хотя бы таких, какие бывали раньше у наших крестьян, лиц, исполненных патриархального благородства, с высокими лбами, с правильными чертами, с окладистой бородой — иконописных лиц. Теперь такие лица остались только у стариков, а лица молодежи тронуты вырождением. Отсюда перешли на женские лица, и он сказал: «Красивые женщины, может быть, и есть, но изящных нет. Не знаю, как другим, а мне слишком яркая красота часто кажется вульгарной. Мне в женском образе нравит-

ся одухотворенность, изящество, нежность!» Он взглянул мельком на нее, и она тотчас опустила ресницы. Она великолепно знает, какие они густые и длинные, и пользуется каждым случаем показать их. Природа дала ей слишком много. Нельзя было разве дать мне хотя бы эти ресницы, которых оказывается довольно, чтобы свести мужчину с ума. Я никогда никого не хотела пленять, ничьей красоте не завидовала, а теперь... Теперь меня словно ядом опоили. Обида и зависть клокочут во мне. Я привыкла всегда говорить самой себе правду и сознаю это.

15 апреля. Пока я вспоминала и грезила, эта девчонка сумела покорить — быстро и ловко прибрать к рукам. Так вот она какая! Отнять у меня, у неимущей, мое единственное сокровище!

17 апреля. Так значит, не мне суждено утолить его скорбь, сберечь его для спасения Руси, вырастить в нем эту мысль, вернуть ему силы? «Те, кто достойны, Боже, да узрят царствие твое!» Или мое самомнение безгранично, но я полагала, что миссию эту заслужила, выстрадала — я, с моей великой скорбью за родную землю, я, которая как икона Скорбящей, впитывала в себя все горести, разлитые вокруг, я, а не она, не эта девочка с ее улыбками и легкостью бабочки; она еще ничего не пережила, ничего не понимает. Наше идейное родство, все пережитое нами раньше — все оказалось для него пустяками по сравнению с ее физической прелестью! Это какое-то чудовищное искажение божественной мысли, это неслыханная ошибка... Это... Я не могу поверить! Если так будет, я, кажется, превращусь в дерево или в камень. Я не знаю, как я теперь буду жить.

Глава двадцать третья

— Говорите же, Ася, что вы хотели сказать мне?

Длинные ресницы опустились под взглядом Елочки:

— Мне это очень трудно! Прежде чем прибежать к вам, я всю ночь плакала.

Брови Елочки сдвинулись:

— Прошу вас говорить, и говорить прямо — это единственная форма разговора, которую я признаю. Случилось что-нибудь?

— Нет, ничего, а только... — Ресницы поднялись и снова опустились.

— Ася, уверяю вас, мне можно сказать все!

Опять поднялись ресницы:

— Видите ли, я ненавижу хищничество... там, где оно появляется, уже нет места ничему прекрасному... Каждый хватает себе, отталкивает другого... Это безобразие!

— Согласна с вами. Но хищничество это лежит в человеке очень глубоко, и формы его очень разнообразны...

— И все одинаково отвратительны, — перебила Ася. — Хватать... Отбивать... Я не хочу, чтобы так было в моей жизни. — Она остановилась, точно ей сдавило горло.

— Что ж дальше? — тихо спросила Елочка, уже предугадывая, что последует. — Дальше?

Ася как будто задохнулась.

— Олег Андреевич говорит мне чудесные слова, и я... Мне кажется, что он... мы... Скажите, Олег Андреевич не тот ли офицер, который?.. Скажите правду! Если тот — я ему откажу, я отвечу — нет, никогда! Вы спасли ему жизнь, вы узнали его раньше, чем я. Он дорог вам. Я ни за что не хочу отнять у вас... кого-нибудь.

Наступила тишина. Только тикал будильник. Елочка смотрела мимо Аси в окно. Прошли минуты три, потом четыре...

— Глупый ребенок! — прозвучал вслед за этим ее голос. — Откуда могла вам прийти в голову такая фантазия? Ведь я уже говорила вам раз, что тот, которого я любила, погиб от удара дубины или приклада.

— Да, говорили, но видите ли... Олег Андреевич лежал тоже в вашей палате, и его тоже считали погибшим... Могли и вы думать, что он погиб, а он нашелся... В тех строках вашего дневника, которые я прочла еще двадцать девятого марта, мне уже показалось, что вы о своем любимом говорите уже как о живом — не так, как говорили мне в первый раз. А сегодня ночью мне вдруг пришла мысль: не он ли этот человек?

И опять наступила тишина.

— Не он. Тот, кого я любила, не воскрес. Я ведь неудачница — для меня не случится чуда. Ну а если б даже это был он, — и оттенок горькой иронии зазвенел в голосе Елочки, — что бы вы могли изменить в ходе вещей? Вы не сумели бы заставить его полюбить меня вместо вас, а только сделали бы его несчастливым. Это по меньшей мере было бы глупо, Ася. Я отвыкла от мысли о замужестве, мужчины мне противны. Мне жертв не нужно, можете спокойно наслаждаться жизнью.

Ася подняла ресницы, на концах которых дрожали слезинки:

— Вы так суровы со мной... Почему? Не думайте, что я болтаю зря, я в самом деле уйду, если...

В третий раз наступила пауза.

— Так как это не он, то и уходить бессмысленно. Не бередите моих ран. Вам показалось странно, что он из той же палаты? Еще странней было бы, если бы единственный спасшийся оказался как раз «мой».

— Да, в самом деле! Не знаю сама, почему я вдруг вообразила... Извините, Елизавета Георгиевна, что я вас взволновала. Вы так добры со мной и с бабушкой.

— Он уже сделал вам предложение?

— Нет, — ответила Ася шепотом.

— Говорил, что любит вас?

— Да... вчера мы ездили в Царское Село... Я была счастлива... Так счастлива!

— Не будьте легкомысленны, Ася. Если вы согласитесь выйти за Олега Андреевича, вы обязаны думать не о себе, а о нем. Нет никаких данных, чтобы он доставил вам благополучие и процветание. Не смотрите на жизнь сквозь розовые очки. Его вымышленная фамилия, его анкета, его здоровье... Осложнений может быть множество. Взвесьте, чтобы не упрекать потом — недостойно, по-бабьи. Этот человек очень горд и издерган.

Девушка приложила палец к губам, как будто говоря: «Не надо слов». Она бросилась на шею Елочке и убежала... От нее пахло свежестью, как от сирени или молодой березки.

«Так вот что, вот что! Вся его мужская страсть — ей! А мне... мне — дружба в тяжелые минуты, и только! Он теперь не вспоминает, как искал мою руку, — зачем вспоминать?» Ей представились на минуту кровавые тампоны, которые вынимали из его ран, и от которых у нее зазеленело в глазах... «Тогда были боль, жар, бред, отчаяние. Тогда была нужна я. А для счастья, для поцелуев — другая, хорошенькая. Мужчины все чувственны. Она молода, мила, женственна, мечтает о младенце... О, это она получит! Она получит все, но хватит ли у нее самоотверженности, нежности, внимания? Где ей в восемнадцать лет понять всю глубину его издерганности и усталости? Как бы она не оторвала его от мыслей о Родине! Запутает его в семейной паутине. Со мной было бы иначе, совсем иначе!» Она встала и подошла к зеркалу. Посмотрела внимательно на себя. Она должна была бы быть другая, совсем другая! Это ошибка, недоразумение! В жизни нет справедливости — стой теперь и смотри, как счастье проходит близко, совсем близко, но мимо... Мимо! С тоски хоть на стенку бросайся, а до старости еще так далеко. Сколько еще будет летних вечеров и лунных ночей,

которые своей непрошенной, ненужной прелестью будут кричать в уши: «И ты могла бы быть счастлива!»

В дверь постучала Анастасия Алексеевна.

— Елизавета Георгиевна, извините, голубушка, что я к вам опять суюсь без приглашения. Я к вам по делу.

— А что такое? — Елочка продолжала стоять в дверях и не приглашала гостью войти. Как противна ее навязчивость! Какое у нее может быть дело? Клопов давить и носки штопать? Тоска, о, какая тоска! Она разлита во всем: в чистоте и аккуратности этой слишком знакомой комнаты, которая выскоблена, как кухня голландской хозяйки; в одинокой чашке крепкого чаю, допить который помешало появление Аси; в томике Блока, который выгрыз ей душу мечтами; в сестринском белом халате, который напоминает госпиталь; а больше всего в портрете матери, которая передала ей свои интеллигентные, но некрасивые черты, однако сама все-таки была счастлива. Впрочем, виноват не портрет — всего больше источает тоску флакон на туалете с остатками духов «Пармская фиалка».

Анастасия Алексеевна мялась на пороге:

— Подумала я, что следует рассказать... опять... этот... как, бишь, его?.. Аристократическая фамилия... Дашков, поручик...

Елочка вспыхнула:

— Зачем вы треплете это имя? Я вас просила забыть о нем!

— Знаю, знаю, миленькая! Дайте рассказать, не сердитесь! Я для вас же стараюсь, когда вы выслушаете, так еще похвалите. Ох, задохлась я и устала. Сесть-то позволите?

Сконфуженная Елочка поспешила усадить Анастасию Алексеевну и притворить двери.

— Чудно́е дело, голубушка! — заговорила та. — Сдается мне, что этот гвардеец Дашков жив. Может, вы что и знаете, да мне не говорите?

— Как так жив? С чего вы взяли? — Елочка уже овладела собой и была настороже. — Рассказывайте, рассказывайте все, что знаете!

— Видите ли, Елизавета Георгиевна, пришел ко мне вчера муж. Не в урочное время, приветливый этакий... О том о сем покалякал, а потом давай расспрашивать про поручика. Гляжу — норовит незаметно выведать, ровно кот меня обхаживает. Думает, что я вовсе дура, а я хоть и припадочная, а сейчас смекнула, что ради этого только он и пришел.

— Что ж спрашивал? — с невольным содроганием спросила Елочка.

— Начал с того, точно ли, что два ранения. Незаметно этак подъехал — вот, дескать, помнишь ли, какие случаи тяжелые бывали? На этом я попалась — поддакнула, ну а после насторожилась. Всякие это подробности подай ему: имя да отчество, брюнет или блондин, да верно ли, что красив, да локализацию ранения. Это, говорит, раненый из твоей палаты, мы, врачи, с утра до ночи в перевязочной да в операционной. Перед нашими глазами все равно что калейдоскоп — носилки да носилки... Где уж запомнить каждого! А ты, мол, должна помнить — он лежал долго, сколько ты около него вертелась! Ради вас взяла я тут грех на душу — понапутала! Сказала, что кроме виска ранен поручик был в правую руку, с волосами тоже сбила — уверила, что рыжеватый блондин, а он ведь темный шатен. Ну а имени и отчества я и в самом деле не помню. Потом пристал муж ко мне, точно ли в больнице «Жертв революции» Дашков мне померещился? Может быть, это было у Водников, говорит (оттого, что я примерно в эти дни у Водников замещала). Это мне было на руку: у Водников, отвечаю, у Водников! Нарочно и коридоры, и выходы водниковской больницы ему расписала.

— Поверил?

— Поверил всему, насчет раны только усомнился. Сдается мне,

говорит, что путаешь ты что-то! Задыхался он, помнится, — ранение было легочное. Нашлась я и тут: нет, говорю, задыхался Малинин — подполковник, который рядом лежал. Запутался он, заходил по комнате... Потом говорит: «Слушай, ты видишься с сестрой Муромцевой — устрой мне возможность с ней поговорить, позови ее и сообщи мне. Я бы порасспросил ее незаметно. Я твоей памяти не очень доверяю. Мне, говорит, в научном докладе нужно сослаться на легочное ранение с оперативным вмешательством — не достает фамилии. Устрой это мне, только ей ни слова — навяжешь ей свое, коли натрещишь, а мне важно первое ее слово — свежий след в памяти, поняла?» — «Поняла», — говорю, а сама, как только он ушел, сейчас к вам. Знал бы он, какая я передатчица, может, поколотил бы меня!

— Он не должен знать и не узнает, — твердо сказала Елочка. — Ну, спасибо вам, дорогая. Я приду завтра же. Постараюсь быть приветливой, говорить буду то же, что и вы. Перепутать его с Малининым вы удачно придумали, только, пожалуйста, уж стойте на своем, не подводите! Он может начать проверять вас на клинических деталях, на уходе. Все, что вспомните про Малинина, относите к Дашкову, и наоборот. Не спутайтесь, пожалуйста, не спутайтесь! — она нервно ходила по комнате.

— Спутать не спутаюсь, а только хотела я спросить вас... Стало быть, жив Дашков, коли розыск идет?

Елочка молчала, обдумывая ответ.

— По всему видать, что жив, — продолжала Анастасия Алексеевна, — и понимаю уже я, что дорог он вам. Жених ваш или, может?..

Красные глаза с любопытством поворачивались за девушкой.

Елочка, все так же молча, завернула остатки колбасы и масла и прибавила к этому неначатый пакетик чаю.

— Вот, возьмите с собой, а теперь я с вами прощусь. Мне пора на дежурство собираться. Итак, до завтра!

— До завтра! Да вы не беспокойтесь, Елизавета Георгиевна! Сделаю, что смогу! Видите, как привязалось ко мне это имя. Теперь, если что случится с этим человеком — если поймают да к стенке, — ведь он от стенки прямо ко мне, уж ведь я знаю. Счастливая вы, Елизавета Георгиевна, счастливая, что спите спокойно, что ничего-то у вас на совести нет. А я вон с таким Иудой связалась и духу не хватает разделаться.

Она вышла. Елочка стояла не шевелясь.

Глава двадцать четвертая

Олег стоял у телефона, обсуждая с Асей планы на ближайшие дни; а Надежда Спиридоновна, нетерпеливо вздыхая, демонстративно прохаживалась тут же. Забыв об учтивости, Олег ничего не замечал, и счастливая улыбка не сходила с его губ. Как только он повесил трубку, Надежда Спиридоновна тотчас протянула к ней руку, похожую на лапу аиста. Но как раз в эту минуту раздался телефонный звонок, и девичий голос спросил: «Можно Олега Андреевича?» Старая дева с легким шипением окликнула уже удалявшегося донжуана и пробормотала что-то о том, что для таких длительных разговоров с девицами телефон следовало бы иметь свой собственный, а не общего пользования, но Олег, по-видимому, пропустил это мимо ушей.

— Я слушаю, Елизавета Георгиевна! Рад слышать ваш голос! Дело? Приду с удовольствием. Когда прикажете? В воскресенье я целый день занят. В понедельник? Прекрасно, я буду.

Надежда Спиридоновна только плечами пожимала: «Боже мой, второе рандеву! Современные девушки совершенно бесстыдны!»

Олег почти тотчас очень галантно попросил у нее извинения и, отыскав ей по справочной книжке требуемый номер, принес к телефону для

нее стул. Этим он в два счета восстановил пошатнувшуюся благосклонность.

В комнате его ждал сюрприз: там, за письменным столом Мити, расположилась, как у себя дома, Катюша. Она, видите ли, записалась у себя на службе в кружок французского языка и первые два занятия уже пропустила... Так не может ли он помочь ей? Было ясно, как Божий день, что французский язык только предлог... Не желая оказаться с Катюшей наедине, Олег, не входя в комнату и прислонясь к косяку открытой двери, старался «отбить атаку», ссылаясь на недостаток времени. Попросту выставить ее он не мог. «Не позавидуешь тому, кто клюнет на эдакую дуру, — думал он, оглядывая Катюшу и слушая ее стрекот. — Уж лучше пойти к «прости Господи», там, по крайней мере, заплатил и ушел, а с этой... Изволь выслушивать всякий вздор. А голос до чего противный!» Проходившая к себе Надежда Спиридоновна оглядела их с таким удивлением, что Олег закусил губы, чтобы не рассмеяться. Зато Нина, пробегая по коридору, обменялась с ним взглядом, говорившим: «Что, пора выручать?» Через минуту она выискала предлог и позвала Катюшу в кухню.

— Благодарю вас, — сказал он, когда Нина пробегала обратно.

— Не стоит благодарности! — засмеялась она.

Олег взялся было за книгу, но как раз, словно стайка воробьев, налетели Мика и двое его друзей «зубрить» дарвинизм, и Олег, уступив им поле действий, пошел на кухню. Там было очень оживленно. Аннушка в белом переднике пекла пышки из белой муки на молоке! Около нее в ожидании подачки разложили хвосты кот и щенок, а позади них, томимый, по-видимому, теми же надеждами, расположился Вячеслав с неизменной тетрадью. Олег присоединился к обществу, усевшись с книгой на подоконник. В этой квартире Аннушка являлась самым зажиточным элементом. Все прочие по сравнению с ней были просто голь перекатная. У Аннушки водились крупчатка, сало, квашеная капуста и тому подобные деликатесы советского времени. По воскресеньям она неизменно пекла пирог; если она жарила блины, то они плавали в масле. Нередко она отливала в миску собаке великолепных щей и такой щедрой рукой, что вызывала завистливые взгляды по адресу собаки со стороны молодого, полуголодного мужского населения квартиры. Она была не жадная и постоянно раздавала половину. Так и в этот раз: вытащив из духовки лист, на котором сидели красиво разрумянившиеся пышки, она тотчас отложила две для Мики и Нины, а затем обратилась к Олегу и Вячеславу, которые пользовались ее особенной симпатией:

— Забирай кажинный ту, какая на его глядить.

Олег взял небольшую с краю, Вячеслав — самую крупную и, уписывая ее, нахваливал:

— Эх, вкусно! Душа вы человек, Анна Тимофеевна!

На пороге показалась Катюша.

— Чего выползла? Никто здесь по тебе не соскучился! — тотчас напустилась Аннушка. — Глаза б мои на тебя не глядели! Опять свою линию гнешь? Крути с кем хочешь, а мальчиков моих не трожь!

Олег невольно улыбнулся при мысли, что он кому-то может показаться мальчиком.

— Вы, Анна Тимофеевна, очень уж любите не в свои дела нос совать, — огрызнулась Катюша, усаживаясь на табурет.

— Ах ты, паскудная! Никакого в тебе уважения к старшим! Даже барыни наши бывшие — Надежда Спиридоновна и Нина Александровна — завсегда во всем со мной посчитаются, а эта в глаза грубить! В комсомоле, что ли, вас так учат? Проституток там, видать, из вас делают, вот что!

— Анна Тимофеевна, уж вы через край хватили! — сказал Олег.

А Вячеслав, вскочив, как ужаленный, гаркнул:

— Проституток в Советском Союзе нет, запомните, Анна Тимофеевна! В комсомоле же нас учат, что женщина в чувствах своих свободна, и выказывать их для нее не зазорно! Ясно? — и снова сел, словно урок ответил.

Речь Вячеслава вызвала в Олеге бурю сарказма:

— Неужто советская власть покончила с проституцией? Видит Бог, более могучей власти не знала история! Вчера я позднее обычного возвращался домой; так вот, три или четыре раза неизвестные особы заговаривали со мной. Одна попросила закурить, другая осведомлялась, как пройти на какую-то улицу, третья поинтересовалась, нет ли у меня билета в кино. Я, грешным делом, подумал, что это... Кто же были эти ночные тени на тротуарах, как по-вашему?

— Кто они были? — и глаза Вячеслава сверкнули искренней ненавистью. — Наследие проклятого царского режима, вот кто!

Взгляды их скрестились — насмешливый Олегов и гневно-идейный Вячеслава. Олег решил уйти, чтобы не продолжать ссоры. В эту минуту кто-то очень энергично постучал в дверь. Принесли повестку для Катюши.

— Мама рóдная! — вскрикнула она, распечатав конверт, и выронила повестку, как будто бумага обожгла ей пальцы.

— Что такое? — спросила Аннушка.

Олег, уже выходивший, обернулся.

— В ГПУ вызывают! В ГПУ, меня! Уж, кажется, я своя! Уж, кажется, советскую власть я завсегда уважаю! Я — дочь рабочего! Никто никогда не слыхал, чтобы я...

Вячеслав строго осадил ее:

— Дура ты, что ли, Катя? Что ты орешь-то? Если советский гражданин нужен по какому-либо делу органам политуправления, он должен прежде всего сохранять это в тайне, а не трепаться направо и налево. Тебя и вызывают-то, может быть, только для того, чтобы собрать о ком-нибудь сведения.

Неприятное чувство внезапно шевельнулось в душе Олега. В самом деле, может быть, только для сведений, но вот о ком?

Едва успел он выйти в коридор, как из кухни послышался испуганный вскрик Вячеслава и вопль Аннушки. Олег ринулся назад, в кухню: Вячеслав опрокинул свой примус, и на полу уже растекался вспыхивающий керосин. Аннушка и Вячеслав бросились с ведрами к крану.

— Нельзя воду! — закричал на них Олег и сильным толчком повалил на пол шкаф. Все вздрогнули от грохота и замерли в ожидании. Огонь не показывался.

— Всё, — сказал Олег и подошел было подымать шкаф, но из коридора выскочила Надежда Спиридоновна с двумя картонками, а за ней по пятам Катюша с узлом и подушкой.

— Куда вы, сумасшедшие? Паникерши несчастные! — заорал Вячеслав.

— Остановитесь, огня уже нет! — крикнул Олег и подхватил Надежду Спиридоновну, которая чуть не упала.

Обе женщины трусливо озирались. Потревоженные мальчики вбежали в кухню и в свою очередь оглядывались, не понимая, что случилось. Олег и Вячеслав стали подымать шкаф.

— Эк меня угораздило! Чуть было беды не наделал. Ну, спасибо вам, Казаринов, — бормотал Вячеслав.

— Запомните, что керосин нельзя заливать водой, — сказал ему Олег.

— Господи-батюшки! Уж и напужалась же я! Ажно ноженьки мои затряслися! — заголосила Аннушка, опускаясь на стул.

— Мой шкаф! — завопила Надежда Спиридоновна, только теперь получившая способность ориентироваться. — Почему на полу мой шкаф? Там простокваша, суп на завтра, фарфоровая посуда...

Несчастный шкаф поставили на место и, когда открыли дверцы, обнаружили следы катастрофы: великолепные кузнецовские блюда были разбиты. Старая дева схватилась за голову.

— Мои блюда! И мясные, и рыбные! Все пять штук! А я как раз намеревалась отнести их в комиссионный! У других, небось, все цело! Такой уж в этой квартире порядок завелся, чтобы обязательно подгадить старому человеку. — Она с ненавистью покосилась на Вячеслава.

— Виноват я! — вступился Олег. — Но преднамеренности никакой у меня не было: я не знал, чей это шкаф, но если б и знал — медлить было нельзя!

— Мне здесь урону рублей на триста, а ведь я на продажу вещей только и живу! — не унималась старая дева.

— Успокойтесь, Надежда Спиридоновна! Я вам верну эти деньги из следующей получки... — начал было Олег, но Вячеслав яростно обрушился на обоих:

— Посмеет эта старая ехидна получить их с вас — шею ей сверну! Еще немного — и нам не выскочить, а она блюда свои старые жалеет! Запрудила тут все углы своим хламом! Старая барыня! Крыса царская! Сидит на своем добре, и ни единому человеку ни от нее, ни от ее добра пользы нет! Завтра же все пораскидаю, чтобы ни единой вещи ее на общей площади не осталось!

Надежда Спиридоновна расширившимися, обезумевшими глазами уставилась на Вячеслава:

— Крыса?! Это я крыса?! Мои вещи пораскидать? — пролепетала она, вся дрожа.

— Ваши! Ишь, какая персона! Чтобы человеку спасибо сказать, ан нет — ругается! Видно, мозги заплесневели!

— Вячеслав, прекратите! — резко сказал Олег. — Как вам не стыдно!

— Господи, Микола Милостивый! — вступилась в свою очередь Аннушка. — Богом, видно, проклята наша квартира! Нет у нас никакого порядку, никакого ладу! Руготня одна с утра до ночи! Всяк-то тянет в свою сторону! Да нешто этак жить можно? Я давно говорю: с той самой поры, как домовой вышел, одни только беды и напасти!

— Как домовой? Почему вышел? — и все повернулись к Аннушке, ожидая объяснений.

— А вестимо как: не житье ему у нас стало. Домовой, он, может, в которых домах десятками лет держался, ну, а при советской власти вмиг повывелся. Нешто он — сударь-батюшка — станет в коммунальной квартире гнездиться? Он должен с хозяином душа в душу жить. Он другой раз любит котом прикинуться, придтить на груди помурлыкать, да незаметно, за мурлыканьем, смотришь, что и присоветует и дело скажет. Ему любовь да уважение нужны. А у нас что? Кто у нас хозяин? Где порядок? Уж вы мне поверьте: ни в единой коммунальной квартире домового не будет. Оттого и жисть в них не ладится, оттого и тошно в них кажинному, и квартиры разваливаются, и во всем обиходе безобразие. Эти домоуправления ничего-то не смыслят, а послушать старых людей не хотят.

Олег и Нина с улыбкой переглянулись. Прелесть эта Аннушка! Катюша и мальчики откровенно фыркали, а Вячеславу было не до домового — он угрюмо собирал поломанные части своего примуса.

На следующий день Нина, вернувшись из Капеллы, прилегла на диване, чтобы отдохнуть перед концертом, в котором ей предстояло петь. Едва она задремала, как к ней постучался дворник, муж Аннушки.

— К вам я, барыня-матушка! Уж простите, потревожу. Дело больно важное. Попрошу только я вас ни единой душе о нашем разговоре не сказывать, даже его сиятельству без нужды не говорите.

— Егор Власович, — Нина, приподымаясь, усталым движением поправила волосы. — Не надо титуловать Олега, дорогой мой. Сколько раз мы говорили это.

— Так ведь мы, кажись, вдвоем, барыня-матушка! При посторонних я в жисть не скажу. Я человек верный, сами знаете.

— Знаю, голубчик. Садись и говори, в чем дело.

— Видите ли, барыня-голубушка, вызывали меня сегодня в ихнюю гепеушную часть...

— Что?! — Нина похолодела. — Обо мне? Об Олеге? Говори, говори!

— Дознавались все больше про супруга вашего, про князя Дмитрия Андреевича покойного. Взаправду ли убит князь Дашков, али, может, только так показываете? Как же, говорю, не взаправду? Убит. Когда известие получено было, и сам он с той поры ровно бы в воду канул. При мне, говорю, и известие пришло, сам я тоже свидетель, присягнуть могу. Сколько слез Нина Александровна пролила, цельный год траур носила. Откуда же ему живому быть? Потолковали они меж собой и сызнова ко мне приступили: а кто этот молодой человек Казаринов, что в вашей квартире проживает? Кем он гражданке Дашковой приходится? Может, он и есть ейный муж князь Дмитрий Дашков? Да Господь, говорю, с вами! Я мужа Нины Александровны в лицо хорошо знал. Жилец у нас всего-навсего этот Казаринов. К Нине Александровне касательства не имеет. Как так не имеет, говорят, если меж собой они по имени, и ужинают, и чай пьют вместе, и все это у нас уже установлено свидетельскими показаниями. Из вашей же квартиры люди подтверждают, что же ты, старик, будешь нас уверять в противном? Стал я тогда втолковывать, как вы в домоуправлении при прописке отвечать изволили: молодой, говорю, человек, сын столяра, молочный брат Дмитрия Андреевича. Его очень, говорю, любили в семье их превосходительнейшего папеньки. Он в Белой армии с Дмитрием Андреевичем вместе был, и как из лагеря ослобонился, пришел к Нине Александровне рассказать про кончину Дмитрия Андреевича, а так как жить ему было негде, Нина Александровна по доброте своей и прописала его в комнате со своим братцем, там он и спит. Все это я доподлинно знаю, а коли кто другое что говорит, тому должно быть стыдно, семейных делов не знаючи, чернить напрасно Нину Александровну, потому как она дама гордая и благородная.

— Спасибо, Егор Власович, что вступились за мою честь. Так они его за Дмитрия приняли? Стало быть, им неизвестно, что молодых князей Дашковых было двое?

— Да видать, неизвестно, барыня! Это счастье еще, болезная вы моя. И кто это наговорил им, что вы с Олегом Андреевичем так коротко знакомы? Уж не Катенька ли эта паскудная? Коли Олега Андреевича вызовут, пусть он говорит то же, что я, точь-в-точь. Думаю я, обойдется это дело. Не тревожьтесь, барыня милая! Побелели вы, ровно бумага.

— Спасибо, Егор Власович, родной мой! Сколько раз вы уже выручали меня. И отца помогли похоронить, и из Черемушек выбраться, и прописку мне устроили, а потом и Олегу. И теперь выручаете... Всё вы! А мне вот вас и поблагодарить нечем.

— Что вы, Нина Александровна! Я и слушать таких речей не хочу. Я довольно милостей видел от покойного барина Александра Спиридоновича. Ввек не забуду, как задарили они нас с Аннушкой на нашей свадьбе и посаженным отцом ейным соизволили стать — этакую честь оказали. Хоть тому уже скоро тридцать лет, да ведь для благодарности нет срока. Всегда у меня мой барин перед глазами, как они в своей чесучовой толстовке, с бородкой, с тросточкой по аллее идут, а за ними ихний таксик Букашка плетется. А коли завидят Александр Спиридонович окурок брошенный или бумажку конфетную, сейчас концом тро-

сточки в песок зароют — не выносили они ничего такого в своем саду. Коли норка кротовая али сухой лист на дорожке — это пускай, это ничего, лишь бы не след человеческого присутствия, так и втолковывали они и садовнику, и мне. Поди, Мика уж и не помнит отца-то? Теперь, когда оба вы сиротинушками остались, сам Бог велит мне о вас позаботиться. Не кручиньтесь, барыня, Бог милостив. Минует чаша сия, как в церкви читают. Вы вот, барышня, в церкву ходить не желаете, а теперь дни такие подходят — страстная седмица...

— Я на Бога обижена, Егор Власович. Стоя у гроба отца, я сказала себе, что никогда больше не пойду к причастию.

— Напрасно, барыня! Ох, напрасно! Великое это утешение — церковь Божия. Как войдешь в храм — ровно душ принял, только душ не для тела, а для духа нашего. Ну, я пошел, барыня. Отдыхайте покамест.

И дверь за стариком затворилась.

Нина сидела не шевелясь. Как близко! Рядом ходят! Протянули свои щупальца! Эта версия с молочным братом не слишком удачна... Теперь придется держаться именно ее, если начнут трепать по подробностям.

Она решила поговорить с Олегом, предупредить его, но до концерта оставалось слишком мало времени. Вечером она вернулась поздно и, проходя мимо комнаты Олега и Мики, увидела, что свет у них уже погашен, и решила не будить.

Утром, во время чая, оба торопились на работу, к тому же в комнате был Мика, и она отложила разговор до вечера. Вернувшись из Капеллы, она собралась с духом и пошла к Олегу. Он был в шинели с фуражкой в руках.

— Я к Бологовским, — с огоньком в глазах, с улыбкой он показался ей юношей — так изменилось его лицо! Сердце Нины болезненно сжалось при мысли, что она должна омрачить эту радость. «Потом, попозже! За два часа ничего не изменится!»

Библиотека Надежды Спиридоновны принадлежала, в сущности, отцу Нины, старая дева перевезла ее во время гражданской войны из опустевшей квартиры брата к себе и этим спасла от расхищения. Поэтому Надежда Спиридоновна считала библиотеку своей собственностью и без всякого угрызения совести запрещала Мике притрагиваться к книгам своего отца. Для Нины и Олега она делала исключение. Книги уже не помещались в шкафы, стоящие в гостиной, и частично были расположены на стеллажах в коридоре.

Вернувшись в этот вечер домой, Олег остановился перед одной из полок, чтобы выбрать себе книгу на ночь. Он стоял около самой двери в кухню и услышал слова, произнесенные голосом Вячеслава:

— А ты зачем на Казаринова наплела? С досады, что ль, что в свою постель его затащить не удалось? Слишком уж несознательно сводить свои счеты этаким образом.

Олег невольно замер на месте.

— А ты почем знаешь, что я говорила? — сказал голос Катюши.

— Как почем знаю? Следователь мне весь разговор про балерин привел от слова до слова. Только ты да я, да он тут были — кто ж кроме тебя?

— Почему ж «наплела»? Я одну правду сказала.

— Правду! Порасписала: столбовой дворянин и офицер и в родстве с Ниной Александровной, а ведь ничего ты про это не знаешь. Ну, а следователь, конечно, ко мне как с ножом к горлу: что да что вы о нем знаете? Как так «не осведомлены», когда другие в вашей квартире все знают? Вот и прочел: «Казаринов держит себя не по-советски, постоянно нападает на наши порядки, все повадки изобличают в нем бывшего гвардейца. С гражданкой Дашковой — бывшей княгиней — он явно в родстве...» Вон сколько понаписала! А я что должен делать? За тобой повторять или прослыть за укрывателя классового врага? Нет, я свою правду выложил. Коли это показание Катерины Фоминичны Бычковой, говорю, — грош ему цена, она за этим Казариновым гонялась, да успеха не имела, вот и отплатила ему по-своему, по-бабьи. Учтите, товарищ следователь. Получила? Другой раз осторожней показывай. Следователь руку мне пожал, отпуская.

Олег повернулся и пошел к себе, закурил и стал ходить по комнате. «С какого же конца они меня выследили? С чего началось? Опасно не то, что наговорила очаровательная Катюша, опасно, что они заинтересовались мной. Честный, хороший мальчик этот Вячеслав! Я правильно рассчитал, что лучше самому сказать все — благородного человека это больше свяжет». Он ходил, курил и чувствовал, что радостное восприятие жизни, которое появилось у него после праздника у Аси, улетает безвозвратно! Как будто он легко плыл по красивой, залитой солнцем реке, но вдруг что-то схватило за ноги и тянет его вниз, под воду! Сквозь сетку безрадостных соображений — как миновать расставленную западню и какие пустить в ход уловки — просачивалась убийственная мысль, та, прежняя: он должен уйти от Аси, и чем скорей, тем лучше, чтобы не затянуть и ее в эту пучину.

Вошел Мика, говоря, что Нина зовет к чаю. Дашков вспомнил, как панически боится Нина гепеу, а между тем переговорить с ней совершенно необходимо. Когда он сел за стол и, принимая из ее рук чашку чая, взглянул ей в лицо, то обратил внимание на темные круги под глазами и тревожный опечаленный взгляд.

Несколько раз он взглядывал на нее и всякий раз встречался с тем же озабоченным взглядом... Мика начал было что-то рассказывать, но скоро тоже смолк. Вставая из-за стола и свертывая в кольцо салфетку, он сказал:

— Удивительно веселые собеседники вы оба! — и убежал.

— Вы ничего не имеете мне сообщить, Нина? — спросил тогда Олег.

— Имею.

— Я тоже имею кое-что и уже вижу, что сведения эти одного порядка. Говорите же, Нина, не жалейте меня.

Они проговорили до полуночи, сопоставляя все данные и разрабатывая детали на случай, если вызовут одного или обоих.

Вставать раньше других настолько вошло в привычку Олега, что даже по свободным дням он подымался первым, желая избегнуть общей суеты на кухне. Но в это воскресенье он не встал, а, лежа на своем диване, курил папиросу за папиросой, тоже против обыкновения. В этот день у него была назначена и рушилась теперь встреча с Асей.

— Вы больны, Олег Андреевич? — спросил Мика.

— Здоров, — сумрачно ответил он.

В дверь постучали.

— Вам повестку принесли, выйдите расписаться, — окликнул голос Вячеслава.

Он хмуро усмехнулся и, накинув на плечи старый китель, вышел. Никто из женского населения квартиры еще ни разу не видел его таким — небритым, в подтяжках... Молча расписался и повернулся уходить, но увидел Катюшу, которая стояла около своего примуса, наблюдая его. Прищурившись, он смерил ее пристальным насмешливым взглядом. Отомстила? Довольна?

Она покраснела и отвернулась.

— On ne perd pas du temps en notre troisieme bureau [8], — сказал он Нине, показывая повестку.

[8] А в нашем Третьем отделении времени зря не теряют (*франц.*).

После чая Олег подошел взять горячей воды для бритья. Нина удержала его руку:

— Не брейтесь ни сегодня, ни завтра... Этот ваш джентльменский вид...

— Думаете, лучше будет, если обрасту щетиной?

— Ну, все-таки! Хоть одичалым, что ли, покажетесь...

*

На следующее утро она вернулась к той же теме:

— Олег, вы уходите прямо туда, в пасть?

— Нет, сначала еду в порт. В ГПУ к двум часам.

— Олег, этот ваш джентльменский облик, когда вы кланяетесь, когда берете папиросу... Это все слишком, слишком гвардейское! Это во сто раз убедительней Катюшиной болтовни.

— Ну, что поделать, Нина? Я ведь себя со стороны не вижу.

— А все-таки постарайтесь, хотя бы в отношении жестов. Вы хорошо помните, что надо говорить?

— Урок зазубрен раз и навсегда. Все дело в том, какими данными располагают «они». Я ведь не знаю, какой мне сюрприз преподнесут, быть может, имеется кто-то из прежних слуг или прежних солдат, с кем мне будет устроена очная ставка. Быть может, имеются сведения о ранениях или моя фотокарточка. Я ничего не знаю.

— Олег, я сегодня вернусь только вечером. Чтобы мне не изводиться от тревоги весь день, позвоните мне в Капеллу, как только выберетесь оттуда. Скажите мне... ну, скажете мне что-нибудь.

— Слушаюсь.— Он двинулся уходить, но она опять остановила:

— Олег, будьте начеку! Все время будьте начеку, умоляю!

На службе для того, чтобы уйти с половины дня, пришлось предъявить повестку. Моисей Гершелевич, всегда с ним очень приветливый, сказал только:

— Что там? Ага, так. В час можете уйти, — но лицо его как-то вытянулось, и во всех последующих разговорах с Олегом он был подчеркнуто официален, даже обращался к нему по фамилии, а не по имени и отчеству.

«Трус! Вот и выявилась вся твоя жидовская натура!» — подумал Олег и в свою очередь начал склонять по всем падежам: «товарищ Рабинович»...

Перед тем как войти в мрачное здание, он остановился взглянуть на залитую солнцем улицу, на весеннее небо... «Ну, да что там! При *товарищах* мне все равно нет счастья!».

И князь Дашков исчез в дверях ОГПУ.

Глава двадцать пятая

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд.

— Вот, явился по вызову, — сказал он, входя в указанный ему кабинет и протягивая повестку следователю. Тот зорко оглядел его.

— Садитесь.

Олег сел и, стараясь подражать манерам Вячеслава, стал трепать свои густые волосы, угрюмо и равнодушно уставившись на следователя. Полицейские приемы сказались тотчас: следователь сидел спиной к окну, а Олега посадил против света.

— Казаринов? Так. Расскажите кратко свою биографию, — и, откинувшись на спинку стула, следователь закурил.

— Обо мне уже все известно. Я ведь из лагеря, а там не один раз проверяли все сведения. Был в Белой армии, не скрываю.

— Не скрываете? Очень хорошо, что не скрываете. А все-таки расскажите, я хочу послушать.

Олег стал повторять заученный рассказ, но следователь очень скоро перебил его:

— Скажите, а каким образом вы, пролетарий по рождению, так хорошо владеете иностранными языками? Вот у нас есть сведения, что вы свободно говорите и по-французски, и по-английски.

— Ну, свободно не свободно, а говорю. Видите ли, я в детстве... — и он выложил версию, которая была ему невыгодна из-за близости к аристократическим сферам и своему собственному имени, но она уже была вплетена в его рассказ другими людьми, и ее никак не обойти.

— Мальчиком я постоянно слышал французскую и английскую речь, когда учили молодых господ, а я к языкам очень способен, меня постоянно в пример господским детям ставили, — закончил он.

— Допустим, что так, — сказал следователь, — но вот нас как раз очень интересует семья Дашковых. Расскажите все, что вы о них знаете.

— Да какие ж такие Дашковы? В живых ведь осталась одна только молодая княгиня, и та неурожденная — перед самой революцией княгиней стала.

Недобрые глаза пристально уставились на него.

— Из кого состояла семья Дашковых? — твердо отчеканил следователь.

Олег подавил невольный вздох.

— Ну, говорите же. Перечисляйте членов семьи.

— Сам князь, генерал, командир корпуса, Андрей Михайлович, — он остановился. Ему показалось, что какая-то рука сжала ему горло.

— Дальше.

— Княгиня, жена его, — он опять остановился.

— Имя княгини! Что же вы молчите? Не знаете, что ли?

— София Николаевна, — тихо сказал Олег.

— София Николаевна? Так... так. Запишем, София Николаевна...

— А вы зачем повторяете? — вырвалось у Олега с нетерпеливым жестом.

Ему показалось кощунственным, что святого имени матери касается этот язык, привыкший к ругательствам, угрозам и лжи.

— А почему же я не могу повторить? Или надо было спросить разрешения у вас? Да ведь она вам не мать родная? Или, может быть, я должен был прибавить «ее сиятельство»?

Олег молчал.

— Ну, дальше! Кто еще? — сказал следователь.

— Сын их, Дмитрий.

— Еще какие дети?

Пауза в долю секунды.

— Была еще девочка Надя, она умерла в детстве от воспаления легких.

Скажет или не скажет: «А второй сын, Олег?»

Но следователь сказал совсем другое и как бы невзначай, по пути:

— Этот корпусной генерал был, говорят, отчаянный мерзавец и собственноручно избивал денщиков...

— Что? — вспыхнул Олег. — Этого не было, это неправда, этого не было и быть не могло... Наша армия... Генерал был строг, но справедлив, и за это очень любим солдатами. С офицеров он взыскивал гораздо строже, чем с рядовых, — это было его правило. А всего строже он был... — он остановился, едва не выпалив: с нами, с сыновьями.

Следователь все так же пристально всматривался в него.

— А он, видно, дорог вам, этот генерал, если вы так горячо заступаетесь.

Олег спохватился, что проявил излишнюю горячность, — эти сло-

ва были, очевидно, просто ловушкой, в которую он и попался тотчас. Он постарался принять равнодушный вид:

— Не то чтобы дорог, а все-таки... Я ведь привык с детства к этой семье — худого не видел. Денщики у них живали годами, никогда не жаловались, их задаривали. Отчего не сказать правду?

— Вот правду-то я и хотел бы услышать. А какова, скажите, конечная судьба этого генерала?

— Расстреляи в Петрограде в девятнадцатом году. — Говоря это, Олег поставил локоть на стол и положил лоб иа ладонь. Он понимал, что с точки зрения конспирации этот жест вовсе иеудачен, но, предвидя следующий вопрос, чувствовал себя ие в состоянии выдержать взгляд допросчика.

— А княгиня? Что же вы молчите? У вас голова, кажется, болит? Хотите, дадим порошок?

— Не надо, — и Олег отвел руку.

— Ну, тогда отвечайте.

— Когда молодой князь уезжал в добровольческую армию, была еще жива. Я только иедавио узнал, что ее нет в живых. Подробностей не знаю.

— Так-таки совсем не знете? Да иеужели же? А до меня вот дошли иекоторые подробности. Была расстреляна неподалеку от поместья на железнодорожном полустаике. Дамочка, по-видимому, задумала ускользнуть из-под чекистского надзора, который был учрежден над ней в имении. Однако не удалось! Находившийся иа полустанке отряд комиссара Газа задержал беглянку. Во время ареста горничная, задержаиная с княгиней, выходила из себя, кричала и грозила красноармейцам, но сама княгиня не произнесла за все время ни слова. Не слышали об этом? Ходил слух, что обе были изнасилованы конвойными, прежде чем расстреляны. Княгиня ведь была красивая бабенка, несмотря иа свои сорок пять лет, и горничная приманчивая такая. Об этом тоже не слышали?

Олег молчал... Следователь, сощурившись, пристально всматривался в него:

— Там была еще княжеская собака. Говорят, она выла всю ночь над трупом киягини, пришлось прикончить ее и бросить там же, на мусорной куче... Что вы так повернулись вдруг? — Внезапно он перешел в участливый тон: — Вы очень иервны, Казаринов. Вам не худо бы полечиться.

— Посидите столько лет в Соловках, так, полагаю, будете иервны и вы, — отрезал Олег.

— Весьма вероятно. Допускаю также, что сама тема разговора вам слишком небезразлична. Ну-с, а что вы можете нам сказать про молодого князя?

— Дмитрий Дашков окончил Пажеский корпус в тысяча девятьсот тринадцатом году. Гвардейский офицер.

— Какого полка?

— Вышел в кавалергардский. В пятнадцатом году попал на фронт, в конце шестнадцатого, после контузии, получил отпуск и приехал в Петербург, в январе семнадцатого женился...

— Что вы можете сказать о его жене?

— Я видел Нииу Александровну мельком еще в семнадцатом году. Когда в настоящее время меия выпустили из лагеря, я пришел к ней, иамереваясь сообщить ей о гибели мужа. Кроме того, я надеялся, что она разрешит мне у себя остановиться, так как мне негде было жить, а никого из прежних друзей я не мог отыскать. Она и в самом деле согласилась прописать меня в комнате со своим братом-мальчиком. Пока все еще живу там.

— Что вы можете нам сообщить об этой женщине?

— Сообщить? Да право не знаю... Это талантливая певица, артистка Государственной Капеллы. Она, кроме того, постоянно выступает в рабочих клубах...

— Ее отношение к Советской власти, должно быть, резко отрицательно?

— Я никогда не слыхал ни одного антисоветского высказывания у этой дамы. Подождите... Я припоминаю сейчас ее подлинные слова: «В царское время семья мужа не пустила бы меня на сцену. Только революция дала мне возможность выступать перед широкими массами».

Следователь усмехнулся:

— Скажите, какая сознательная! Ну а почему вы, пролетарий по рождению, так прочно связались с белогвардейским движением? Почему ни разу не попытались перейти на сторону красных?

— Да ведь я с самого начала попал через Дмитрия Аидреевича в белогвардейские круги. О красных знал только понаслышке. Думал, если перейду, расстреляют как белого... Ну и держался белых. Отступал с частями, попал в Крым. Сказать «перейти» легко, а как это сделать?

— Делали те, которые хотели. А скажите, присутствовали вы при смерти Дмитрия Дашкова? Вы это почему-то обошли молчанием. Ну! Чего же вы опять молчите? Тому, кто говорит правду, раздумывать нечего. Видели вы его мертвым?

— Да, — сказал Олег и почувствовал, что непременно запутается.

— Это странно. У нас вот есть сведения, что он был не убит, но ранен и после поправился. Что вы на это скажете?

«Эти сведения обо мне! — лихорадочно проносились мысли в голове Олега. — Да, они путаются между мной и Дмитрием, поскольку фамилия одна, а сведения отрывочны. Что отвечать? Если я буду настаивать, что Дмитрий убит, то натолкну их на мысль, что есть другой Дашков, к которому относятся сведения из госпиталя...»

— Не знаю, что вам сказать, — ответил он. — Я видел его на носилках без памяти, его уносили в госпиталь. Я думал, он умирает... Может быть, он прожил еще иесколько часов или дней, но, во всяком случае, не поправился, так как к жене он не возвращался.

— Вы в этом уверены?

— Уверен. Она всегда говорит о нем как о мертвом. Все, кто ее окружают, знают, что муж к ней не возвращался. Свидетелей достаточно.

— А вы не осведомлялись о его здоровье тогда же?

— Нет. Я сам был ранен через два дня и еще не успел поправиться, когда пришли красные.

— Вот этот шрам на вашем виске, очевидно, след ранения?

— Да.

— Забавно! Два неразлучных друга, Казаринов и Дашков, оба ранены в висок, один — в правый, другой — в левый.

Олег настороженно молчал, стараясь проникнуть в значение этих непонятных для него слов.

— Вы только в висок ранены или было еще ранение?

«Ну, конечно, — подумал Олег, — очевидно, у них имеются сведения, что Дашков лежал с осколочным ранением ребра и раной в висок кроме того».

— Было еще вторoе, — пробормотал он сквозь зубы. И увидел при этом, что следователь заглядывает в какие-то бумаги, лежащие перед ним иа столе.

— Ага! Второе! — и какой-то блеск, напоминающий глаза кошки, когда она играет с мышью, мелькнул в глазах следователя, обратившихся опять на Олега. Он нажал кнопку коммутатора: — Алло! Попросите в тринадцатый кабинет дежурного врача. Без промедления.

На ногах следователя были коричневые краги. Он бойко переменял положение ног, и краги скрипели. Звук этот задевал по нервам Олега.

— Раздевайся! — сказал следователь и прошелся по кабинету. Он уже обращался к Олегу на «ты», очевидно, уже считая его разоблаченным.

— Для чего это нужно? Я не скрываю, что у меня было еще ранение в правый бок.

— Раздевайся, говорю, — повторил следователь и, вынув револьвер, щелкнул им перед носом Олега.

Олег знал этот прием и не мог испугаться, но окончательно понял, что на него уже смотрят как на арестованного.

В кабинет вошел пожилой мужчина, тоже в форме, поверх которой был накинут белый халат.

— А, доктор! Простите, побеспокою. Вот осмотрите-ка этого молодчика. Тут должны быть рубцы от ранения левой почки. Ну, левая и правая сторона могут быть спутаны... Этому я значения не придам... Почки, одним словом. Освидетельствуйте его да снимите пробу с волос — не выкрашены ли. Должны быть рыжие.

Олег с удивлением поднял голову. «Почки? Рыжие волосы? Так госпитальные сведения не обо мне?» — мелькнуло в его мыслях.

Доктор приблизился к нему.

— Товарищ следователь, попрошу вас сюда, — сказал он через минуту. — Вот, взгляните сами: здесь было разбито ребро и, очевидно, повреждено легкое. Но это не то ранение, о котором говорите вы. — И он обратился к Олегу: — Вам резекцию ребра делали?

— Да, — процедил сквозь зубы Олег.

— Плевали кровью?

— Да.

— Клинически тоже совсем другая картина, товарищ следователь — авторитетно подчеркнул врач.

— Да мало ли что он вам скажет! А тем более при подсказке, — с досадой возразил следователь. — Он тут с три короба врал. Не верьте ни одному его слову. Я вам повторяю: здесь должно быть ранение почки.

— Я вовсе не его словам верю, а собственным глазам. Почки расположены ниже, эти рубцы не могут относиться к ним.

— Ага! Ниже! — и следователь опять повернулся к Олегу. — А ну! Снимай пояс!

— Вы третьего ранения не найдете. С меня и двух вполне достаточно! — выговорил Олег, но револьвер опять щелкнул перед его носом.

Пришлось раздеваться. Заметно было, что следователь очень удивился, не обнаружив более рубцов и выслушав уверения врача, что цвет волос натуральный. Он попросил врача зафиксировать на бумаге результаты осмотра, а сам тоже сел к столу, сказав Олегу:

— Можете одеваться.

«Ордер на арест выписывает», — думал, одеваясь, Олег, и какое-то безразличие вмиг нашло на него.

— Скажите, гражданин Казаринов, лежали вы в больнице Водников в феврале этого года? — спросил следователь.

— Нет, — мгновенно настораживаясь, ответил Олег.

— Предупреждаю, что врать вам смысла нет: мы пошлем в больницу запрос.

— Запрашивайте сколько хотите, — ответил Олег и уже хотел прибавить: «Лежал в больнице Жертв революции», но какое-то неясное чувство удержало его: чем меньше сообщать о себе, тем лучше! К тому же есть еще непонятная связь между его болезнью и вопросом о больнице.

— Скажите еще, каковы у вас отношения с гражданкой Бычковой Екатериной Фоминичной?

— Никаких отношений нет, живем в одной квартире и только.

— Нет у нее каких-либо оснований быть недовольной вами?

— Насколько мне известно — никаких, — сухо ответил Олег и почувствовал, что даже угроза ареста не может заставить его изменить тем правилам, в которых он был воспитан.

— Подойдите сюда и подпишите свои показания, — сказал следователь.

Олег внимательно прочел протокол: записано было более или менее точно. Он подписал. Следователь отпустил врача и начал ходить по кабинету, поскрипывая крагами.

— Вот что, Казаринов, — сказал он, останавливаясь перед Олегом. — В вопросе о гибели Дмитрия Дашкова есть странные противоречия. Вы здесь чего-то недосказываете. Вы у меня на подозрении, и положение ваше очень шаткое. Вполне возможно, что вы не пролетарий и не рядовой, а такой же гвардеец, как и Дашков, а может быть, даже... — Он не договорил.

— Весьма странно! — сказал Олег. — Такие документы, как у меня, ни один человек не пожелал бы выдать за свои! Наведите справки в Соловецком концлагере — нас там проверяли и фотографировали сотни раз. Вам вышлют самые точные сведения, что то был я собственной персоной.

— Это все ничего не значит, — ответил следователь, закуривая. — То будут сведения, начиная с двадцать второго года, а я говорю о том, что было до этого.

— Не могу запретить вам подозревать себя, — возразил Олег, — но моя вина была установлена по свежим следам боевыми отрядами чека, и мне было инкриминировано только то, что я не выдал властям белогвардейского полковника. Наказание за эту вину я уже отбыл. Разве в Советском Союзе могут что-либо значить подозрения, основанные на личной неприязни?

— Могут, если тут затронуты интересы рабочего класса. Вы — махровая контра. Я это чую носом. Лагерь ничему вас не научил, и вы напрасно принимаете такой независимый вид — приказ о вашем аресте уже готов. — Он подошел к столу и помахал какой-то бумагой, однако Олегу ее не показал. — Поймите, что отсюда два выхода — в тюрьму и на волю!.. — И, подойдя к Олегу, как бы невзначай прижег папиросой его руку. Олег не шевельнулся. — Однако у вас все-таки есть один шанс сохранить свободу, но это будет зависеть от вас.

— Как от меня?

— Да очень просто. Если вы согласитесь приносить нам пользу, мы могли бы с вами договориться.

— Я приношу уже пользу там, где я работаю. Какая же еще польза?

— Может быть и другая, если вы захотите.

Олег молча смотрел на следователя ОГПУ.

— Могли бы уже понять. Я предлагаю вам заключить с нами некоторое условие, помочь нам кое в чем. У нас есть несколько лиц, за которыми нам необходимо установить наблюдение. Ваши давние знакомства и симпатии в бывших дворянских кругах, ваше умение себя держать с бывшими господами могли бы нам пригодиться. Желаете вы сотрудничать с нами?

— Нет, не желаю.

— Почему же это, Казаринов? Напоминаю вам, что положение ваше весьма шаткое. Ваша готовность служить интересам Советской власти изменила бы к лучшему ваше положение во всех отношениях. Знать об этом никто не будет. Тайну мы вам гарантируем — это в наших интересах столько же, сколько в ваших.

Олег молчал.

— Вы, очевидно, предполагаете, что мы попросим вас наблюдать за гражданкой Дашковой? Это было бы очень желательно, особенно

ввиду неясности в конечной судьбе ее мужа, но если в вас еще так сильны прежние привязанности, мы можем вас освободить от этой обязанности и дать вам список других лиц.

— Не трудитесь! У меня к этому делу нет ни навыка, ни способностей. Хитрить и изворачиваться я не умею. Короче говоря, я не желаю.

Следователь подошел к нему совсем близко.

— А дрова в гавани по пояс в воде грузить желаете? — прошипел он почти над его ухом и вновь прижег папиросой руку Олега.

— Я семь лет грузил — привык. Этим вы меня не запугаете.

— Показалось мало? Еще захотели?

Олег не отвечал.

— Ну так как же, Казаринов, в тюрьму или на волю?

— Агента гепеу вы из меня не сделаете! А запрятать в тюрьму, конечно, в вашей власти.

Следователь опять схватил револьвер и приставил его к виску Олега. Сохраняя бесстрастное выражение, Олег смотрел в окно.

— Вам, что ли, жизнь надоела?

— Да, пожалуй, что и так.

Следователь положил револьвер и подошел к столу.

— Вот вам пропуск, чтобы выйти из здания, а вот ваше удостоверение личности. Подпишите, что разговор наш остается в тайне. На днях я вас вызову еще раз. На досуге обдумайте мое предложение. А теперь вы пока свободны.

Когда Олег вышел, то удивился, что все еще был день и светило солнце. Странно было опять увидеть залитую солнцем улицу, воробьев и детей, радовавшихся жизни. Он остановился у подъезда и, охваченный внезапной усталостью, прислонился к стене, но тотчас мелькнула мысль, что лучше скорей уйти от этого здания. Он побежал за трамваем и вскочил на ходу, лишь бы убраться скорей от проклятого места.

Глядя, как в окнах трамвая сменяются улицы, он пытался вспомнить, кого напоминал ему этот следователь. Напоминал кого-то, знакомого с детства... И вдруг вспомнил... Когда восьмилетним мальчиком он поправлялся после скарлатины, мать читала ему вслух Киплинга. И он, и маленькая сестричка особенно любили «Рики-тики-тави», который охотился за Нагом — страшной коброй с зелеными глазами и гипнотизирующим взглядом. Наг этот казался Олегу необыкновенно отвратительным, особенно когда он обвил шеей кувшин и заснул. Образ этого Нага настолько прочно завладел тогда его воображением, что позднее стал олицетворением нечистого духа, с которым ассоциировалась мысль о загробных мучениях. Если жизнь его будет греховна, он будет отдан после смерти во власть этому Нагу, и тот обовьется вокруг его груди и станет медленно душить. Это не описано в дантовском «Аде», но мог ли Данте предвидеть следователей большевистских карательных органов!

Боже! Неужто еще полтысячелетия пройдет, и вновь Наг будет гипнотизировать кого-то холодным и злым взором? Следователь так и стоял перед глазами Дашкова, задавал и задавал свои вопросы, ерзая на стуле, будто примериваясь прыгнуть на свою жертву. Это ерзанье, по-видимому, распаляло Нага, помогало привести самого себя в ярость.

«Нет, больше я туда не пойду! Плохую услугу оказала мне Нина, выбросив мой револьвер. Он бы теперь пригодился! Но где же это я?» Он сошел с трамвая и огляделся — он оказался почему-то около греческой церкви. Куда идти? Что делать с собой? Он знал, что тоска пойдет за ним, куда бы он ни пошел. Эта тоска только стала расходиться, светлеть, а вот теперь опять сгустилась и сплошным мраком встала перед ним, словно стена, и почти физически давила грудь.

Тело матери, брошенное на кучу мусора, и воющая рядом собака...

Был уже седьмой час. В семь он должен быть у Елочки — у нее

какое-то дело, придется идти. Он вспомнил, что небрит, и завернул в первую попавшуюся парикмахерскую, потом позвонил Нине из автомата. Усталость все усиливалась, он чувствовал, что еле идет. Со вчерашнего дня он ничего не ел, так как утром и у него, и у Нины кусок останавливался в горле.

«Войду ненадолго, извинюсь и уйду», — думал он, нажимая кнопку звонка.

Ему отворила женщина в платочке, две другие в этом же роде стояли здесь же, в кухне, куда он попал прямо с лестницы. Все три в упор уставились на него и продолжали пялиться, пока он кланялся выбежавшей навстречу Елочке и проходил следом за ней. Оживленный говор послышался тотчас за ними.

— У вас здесь, кажется, любопытная публика, — сказал Олег. — Может быть, я своим появлением скомпрометировал вас?

— Было бы перед кем! — с невыразимым презрением отчеканила Елочка. И пропустила его в дверь.

— Как у вас хорошо! — сказал он, озираясь. — А вот этот образ — Нерукотворный Лик — наверное, еще византийского письма?

— Да, он старинный, — ответила Елочка. — Мы вывезли его из поместья. Там почти тотчас сгорел дом, и между крестьянами пошла молва: «Все потому, что Спас ушел». Садитесь, пожалуйста.

Едва они перекинулись несколькими словами, как в двери послышался стук. Это был политический акт, разработанный экстренным собранием кумушек в кухне. Они были уверены, что Елочка появится на пороге в накинутом наскоро халатике. Было очень заманчиво пристыдить гордячку. Елочка, однако, предчувствуя что-либо в этом роде, выросла на пороге в ту же минуту.

— В чем дело?

Женщина замялась:

— Одолжите стопочку маслица.

Елочка извинилась перед Олегом и вышла. На ней были мягкие туфельки — возвращаясь, она подошла к своей двери неслышно и с порога увидела, что Олег припал лицом к бархатной спинке дивана. Это была секунда! Услышав стук двери, он мгновенно принял подобающее положение.

— Что с вами? — очень мягко спросила она, подходя. — У вас вид совершенно измученный. Что-нибудь случилось?

— Ничего, уверяю вас. Устал немного.

Но она пристально и тревожно всматривалась в него:

— Скажите, скажите мне правду! — И видя, что он колеблется, прибавила: — Вас не вызывали ли в гепеу?

— Елизавета Георгиевна, — сказал он тогда, — вы не только умны, вы очень проницательны. Да, я как раз оттуда, но вы не беспокойтесь, я не привел за собой никакого шпика — есть один безошибочный способ...

Она перебила:

— Ах, это неважно! Я вовсе не так пуглива. Мне можно сказать все, уверяю вас.

Он начал рассказывать, коротко, как всегда, когда говорил о себе. После нескольких фраз он все же распалился:

— Это возмутительно! Нигде ни при какой власти так не было! Для них не существует разницы между политическим и уголовником. Они третировали меня, как вора или убийцу. Щелкнуть револьвером у самого лица: «Молчи! Раздевайся! А ну, раздевайся!..»

— Ах, вот что! Раздеваться заставляли, — сказала она.

— Да, осматривали следы ранения, очевидно, в качестве особых примет. В этом пункте мне кое-что неясно: я ожидал, что тут-то меня

и уличат, но сведения из госпиталя, по-видимому, перепутаны — меня отпустили.

Елочка молчала. Невеликодушно было бы рассказывать, что это она спутала следы. Она бы точно напрашивалась на благодарность.

— Подлецы! — продолжал взволнованно Олег и стал ходить по комнате. — Они осмелились мне предложить стать их агентом и бегать к ним с доносами... Что за люди?! Люди ли это? Им кажется диким, что я не принял этого гнусного предложения! Я еще не арестован, а они уже приставляют револьвер к виску. Безнаказанно убить, задушить — им все нипочем! Ответ один: в интересах рабочего класса! Они еще во время гражданской войны показали свою жестокость! В Ростове они подожгли госпиталь с ранеными и оставили их погибать в огне. В Харькове пленным офицерам вырезали глаза и уши, прежде чем расстрелять. В Киеве... Киев они и вовсе затопили кровью. Когда мы его отбили, все городские сады оказались полны казненными, на площадях красовались десятки виселиц... В Липках, где в одном из особняков обосновалась чрезвычайка, были обнаружены горы трупов и все стены забрызганы мозгами и кровью. Это рассказывает вам очевидец! Тела свозили потом день и ночь в анатомический театр для массовых захоронений, сколько было девушек, дам! По всему городу шли непрестанные панихиды... А в Петербурге после взятия Зимнего? А в Ярославле? В Крыму цвет русской интеллигенции расстреливали по приговору чека китайцы, и Европа допустила это! Ну а теперь? Ведь теперь нет военных действий, нет сопротивления, никакой остроты момента и однако же эта недопустимая, неслыханная, небывалая жестокость продолжается. В ней есть что-то не русское, не наше. Русские жестокостью никогда не отличались. Наша толпа может рассвирепеть, и тогда она страшна, как и всякая толпа, но жестокость толпы — нечто стихийное, проходящее, а ведь здесь жестокость преднамеренная, входящая в систему. Эти сети лагерей, эти пытки в подпольях, где оборудована вся аппаратура вплоть до глушителей... Во всем этом что-то несвойственное нам, что-то чужое!

— Чье же? — спросила Елочка. Его волнение передалось ей, она вся дрожала.

— Не знаю. В цека очень большое количество евреев, вообще в партии. Сейчас они, несомненно, в чести, очевидно, как угнетаемое нацменьшинство. Директора крупных учреждений, политруки, лекторы по марксизму — евреи в огромном большинстве... Но они не жестоки! Я их терпеть не могу — они способны высосать из человека все соки, как пиявки, но они не жестоки, даже отзывчивы, когда можно, когда не опасно. Нет, эта жестокость какая-то нечеловеческая, это гнусный сплав нашего отечественного пугачевского хамства, еврейского самого злостного вампиризма и чего-то сатанинского, что не от людей. России больше нет! Даже имя ее не произносится! Недавно на службе я сказал нечаянно: «У нас в России...», и мой начальничек-еврей меня поправил: «У нас в Союзе...» России больше нет! А с моим поколением безвозвратно погибнет и белогвардейская идея о ее возрождении, идея, ради которой полегло столько жертв!..

Елочка следила, как он взволнованно мерил шагами комнату, словно тигр, запертый в клетку.

— Я тоже... Я тоже приходила к мысли, что за всем этим стоят оккультные силы, что этот сплав — продукт темноты! — дрожащим шепотом решилась она высказать заветную мысль.

— Может быть, — ответил он.

— Елочке показалось, что он недостаточно оценивает эту мысль, но усталый звук его голоса коснулся ее сердца. Она встала выключить электрический чайник, который уже в течение нескольких минут шипел и плевался, и сказала опять с тою же мягкостью, которая звучала в ее голосе только в обращении к Олегу:

— Вы прямо «оттуда» и устали. Вам надо поддержать силы. Я вам налью стакан крепкого чаю... Пожалуйста, не отказывайтесь. — И стала накрывать на стол.

Через несколько минут Олег сказал, мешая ложкой чай:

— Теперь я в приятном ожидании: следователь сказал, что пришлет на днях новое приглашение. Жить, предвкушая новый допрос... Благодарю покорно! Впрочем, я туда больше не пойду!

— Как не пойдете? Если получите повестку, придется идти. Иначе ответите за уклонение. Олег Андреевич, не теряйте благоразумия.

Он молчал, как будто что-то обдумывая.

— Ну, да об этом рано говорить, поскольку приглашения еще нет, — сказал он через несколько минут.

Она коснулась его руки:

— Да вы о чем думаете? Вы должны беречь себя, для России беречь. Быть может, придет минута, когда будут нужны как раз такие люди — с военным опытом, с именем, с несокрушимой энергией и преданности делу!

Он взглянул на нее загоревшимся взглядом.

— О, если б такая минута пришла! Россия, Родина! Если б я знал, что доживу до ее освобождения, что еще могу быть полезен! Кажется, только в этой мысли я могу почерпнуть желание жить. Бог свидетель — я совсем не думаю о своих выгодах, о том, чтобы вернуть потерянное состояние или привилегии, или титул. Пожалуй, я даже не хотел бы реставрировать монархический строй. Я был связан с ним семейными традициями и привязанностями, но этих людей уже нет, а действительность показала, что эта форма правления уже отжила. Или пока неуместна. Я думаю теперь только о России. Нужен строй, при котором наш великий народ действительно получил бы возможность выправиться и расцвести и развить свои лучшие свойства. Погибнуть в боях, которые сметут с лица земли это подлое цека — на три четверти нерусское, — вот все, чего я хочу для себя, в этом все мое честолюбие! Вы знаете, там, в лагерях, мне мерещилось иногда всенародное ополчение, подобное Куликовской битве или Смутному времени, — могучая, светлая устремленность всего народа, решающая великая битва, хоругви, знамена, звуки «Спаси, Господи, люди твоя» и колокольный звон! Но прежде чем это осуществится, я, наверное, погибну на дне их подвалов. Все глухо, все оцепенело — ничего, что могло бы предвещать желанный бой!

Елочка слушала как зачарованная, не смея пошевелиться, каждая жилка в ней дрожала. О, да! Он способен на подвиг! В нем еще не сломлен дух его великих предков. Он такой, каким она хотела его видеть, — «мой Пожарский!»

Кто-то постучал в дверь. Елочка с досадой пошла отворять и едва не ахнула: перед ней стояла Анастасия Алексеевна, а за ней, подталкивая друг друга локтями, три кумушки.

В одну минуту Елочка учла всю сложность положения: она отлично поняла, до какой степени она себя скомпрометирует, если не разрешит войти Анастасии Алексеевне, но поняла и то, что нельзя допустить ни в каком случае, чтобы она увидела и узнала Олега. Она пошла ва-банк — встала перед дверьми, заслонила их собой и сказала:

— Анастасия Алексеевна, милая, извините меня, я не могу вас принять сейчас.

Но когда, проводив сконфуженную и извинявшуюся гостью, она закрыла входную дверь и повернулась, то оказалась лицом к лицу со всем женским составом квартиры: все, хихикая, оглядывали ее — туалет Елочки был в загадочном порядке, вплоть до белого воротничка и черного бантика у горла, однако в комнату она не пустила... «Из постели выскочила...» — долетели до ее ушей гаденьким шепотом сказанные слова.

Она быстро обернулась и смерила взглядом говорившую.

Подымаясь, чтобы уходить, Олег спросил:

— У вас какое-то дело ко мне? Рад быть полезен.

— О нет! Пустяки: мне предложили урок французского, а я к этому не привычна. Не хотите ли вы взять?

Он поблагодарил, записал телефон, и у него не мелькнуло догадки, что она отдала ему заработок, которому очень обрадовалась сначала, мечтая тратить его на книги.

Сколько теплых слов хотелось ей сказать Олегу, когда она прощалась с ним! Как хотелось ей крепко сжать его руку! Но она ничего не посмела, лишь отрывисто шепнула:

— Держитесь! Думайте о грядущей битве! Все остальные мысли — слабость!

Вечером она глубоко задумалась около уже приготовленной на ночь постели. История не идет назад! Совершенно очевидно, что простая реставрация монархии явилась бы нелепостью, как реставрация Бурбонов во Франции. И все-таки что-то противится глубоко в душе, когда слышишь: «Монархические формы правления явно отжили».

Святая! Любимая! Вечная! Какая нужна Тебе форма правления, какая? Либералы? Да им бы только чтоб все было как в Европе. Напускают иноземцев, и те, как шакалы, бросятся расхватывать лакомые кусочки, они вернут Тебя к пределам времени Иоанна Грозного, наделают десятки русских республичек величиной со Швейцарию, чтобы удобнее было грабить. Исцели Свои раны силами Своего же народа, Сама, изнутри. И да не вступит никто, никто на Твою землю. Омой, очисти Себя Сама и роди нового Государя, Хозяина, любящего Тебя Господина!

Стоя на коленях перед иконою, Елочка шептала сквозь поток горячих слез эти сладостные слова, и Россия внимала ее мольбам, скорбно глядя на Свою дочь глазами Нерукотворного Спаса.

Глава двадцать шестая

ДНЕВНИК АСИ

20 апреля. Сегодня с утра так же серо и скучно, та же тоска, а вопросы бабушки и мадам: «Что с тобой? Здорова ли?» — невозможно раздражают. Я знаю, что все это делается из очень большой любви ко мне, но уж лучше оставили бы меня в покое. Вчера мы должны были идти в музей, но Олег Андреевич вдруг позвонил по телефону и сказал, что очень занят. Может быть, я перестала ему нравиться? Вчера весь день неподвижно высидела на диване, не спуская глаз с телефона; сегодня предавалась этому же занятию и опять напрасно. Сейчас пора идти спать; я знаю, что опять буду плакать ночью.

22 апреля. Со мной делаются страшные вещи: я просыпаюсь иногда с ощущением света. На каждой вещи в моей комнате словно бы лежит отблеск, во всем особенная прозрачность и легкость. Чувство это, раз начавшись, обычно сопутствует мне в течение всего дня, если что-либо особенно неприятное не спугнет его. Откуда оно приходит—не знаю, почему и как надолго исчезает—тоже не знаю. Сегодня утром я проснулась с ним; оно было так явственно, что мне не хотелось двигаться и разговаривать. Я лежала, боясь пошевелиться, отдаваясь этой странной блаженной легкости. Потом, конечно, пришлось встать, умыться, одеться, пить чай — чувство ослабело, но не ушло. И вот, вся в его власти, я вдруг ясно вспомнила, как Олег Андреевич, стоя на лестнице, смотрел на меня, когда я убегала после поцелуя. Он, слегка закинув голову, провожал меня взглядом, и из глаз его шли на меня светлые, длинные лучи, которые ласкали и золотили. Я так и вижу эти лучистые глаза — в них совсем не осталось печали, в лице не осталось обычных скорбных теней. Если бы он разочаровался во мне, не мог бы он так смотреть! Мне это сделалось совершенно ясно. Как могла я забыть его лицо и дать такое толкование случившемуся? Сто раз я приводила его себе на память, а после телефонного звонка от досады и обиды попала в круг самых банальных, мелко-самолюбивых мыслей— не хочу даже вспоминать их. Минута поцелуя была прекрасна, и если он не идет, есть причины, но другие — не разочарование... Что-то идущее извне и временное, но вот что?

23 апреля. От Олега Андреевича по-прежнему нет вестей. Я мучительно остро чувствую, что кроме него мне сейчас ни до кого и ни до чего нет дела. Сегодня заговорил о своей любви Шура и грянул мне предложение! Он пришел в музыкальную школу, чтобы проводить меня домой, на что уже давно имеет разрешение бабушки. Погода испортилась, шел мокрый снег, под этим снегом он бежал за мной, стараясь занять разговорами, а я все ускоряла шаг, погруженная в свои собственные думы. Только в подъезде мы остановились, отряхиваясь. Он снял с меня бывшего соболя, а потом, накидывая мне его опять на шею, вдруг сказал: «Ася, я люблю вас! Вы это уже давно знаете. Будьте моей женой, и счастливее вас не будет никого в целом мире». Я ответила ему так: «Вы такой добрый, умный и милый, Шура, что заслуживаете большой любви, а ведь у меня ее нет — я не смогу дать вам счастье. Не обижайтесь на меня». Он поцеловал мне руку — это было первый раз в моей жизни!

24 апреля. Вчера в 9 часов вечера раздался звонок. Я вообразила, что это Олег Андреевич, и меня охватило сумасшедшее волнение — сразу бросилась к иконе. Но пришла всего только старая графиня Каковцева. Право, она отлично могла бы остаться у себя дома — никто по ней не соскучился.

25 апреля. Еще один день без весточки! Что же разъединяет, что?

Эти Хрычко мало любят своих детей: на закуску и водку у них всегда есть деньги, а дети голодают. Младший мальчик Павлетка, такой худенький и бледный. Ему только пять лет, а мать постоянно оставляет его одного. Она уходит то в гости, то в баню на целые часы, а ребенок тоскует. Мне слышно, как он скулит: не плачет, а именно скулит — жалобно, как больной щеночек. Я сегодня не выдержала и вошла в их комнату: «Что с тобой? Болит что-нибудь?» Он ответил: «Мамка ушла и сказала, что Едька принесет мне булку, а Едька не приходит, потому что он не в булочную пошел, а в кино». Едька — это его брат Эдуард. Я принесла ребенку французскую булку, а бабушка на меня рассердилась, она сказала: «Мне не жаль булки, но ты должна понять, что следует держаться как можно дальше от этих людей. Это не наш круг. Мальчишка расскажет, что ты входила в комнату, и еще неизвестно, как это будет перетолковано. Твои самые лучшие чувства могут быть оплеваны этими людьми». Может быть, это и так, но зачем иметь «самые лучшие чувства», если не давать им ход? Этот мальчик такой заброшенный и бледный до синевы — неужели мы должны приучить себя смотреть на это равнодушно?

26 апреля. Страстной понедельник. Неужели все кончено?

27 апреля. Страстной вторник. Дома уже начинаются приготовления к Пасхе. Утром мыли окна и выколачивали ковры. Творог уже куплен и лежит в кухне под толстыми книгами. Когда я была маленькой, я всегда бегала смотреть, сколько накапало из него воды, когда он так же отжимался под лоханью, и звуки капель напоминают мне детство. Была у вечерни. «Чертог твой» и «Се жених» такие красивые и такие грустные! Вернувшись, я забралась в кресло в бабушкиной спальне и долго смотрела на огонек в голубой лампадке перед старинной божницей, не переставая думать об измученном одиноком человеке. Я чувствую, что его душа ищет, зовет мою. Я знаю, что я нужна ему. Его судьба была трагична, а я была счастлива почти каждый день моей жизни! Желание утешить его и отогреть истомило меня. Неуже-

ли он не придет уже никогда? И никогда больше не засветятся, не засияют эти глаза? Я не хочу, чтобы так было! Я не хочу! Не буду больше писать. Проведу черту и кончу. Все!

В страстную среду вечером Нина сидела с Натальей Павловной в ее уютной спальне. Дрожащий огонек лампадки освещал полные слез глаза и растрепавшиеся волосы Нины.

— Ну, успокойтесь, успокойтесь, Ниночка! Сколько бы вы ни плакали, слезами не поможешь. — Наталья Павловна говорила со своим обычным самообладанием. — Поезжайте вначале на время, а там видно будет. Как только устроится продажа рояля, я всю эту сумму тотчас отдам вам на поездку к Сергею. Он все эти годы заботился только о нас, и я дала себе слово устроить вашу встречу. Возьмите очередной отпуск и дополнительно отпуск за свой счет и поезжайте на месяц или полтора. А Мику я возьму на это время к себе. Только не ждите церковного венчания, Ниночка: это новостройка, и церкви там, конечно, нет, зарегистрируйтесь и поселяйтесь вместе, иначе ваш брак отложится на очень неопределенное время. Если позднее будет возможность — повенчаетесь. Мы поставлены в такие условия, что волей-неволей приходится изменять самым заветным традициям.

Нина поцеловала руку Натальи Павловны с тем покорным видом послушной девочки, который она принимала в этом доме.

— Надо мной ведь еще дамоклов меч, — сказала она, — если в ОГПУ дознаются, кто Олег, они дадут мне пять лет лагеря, а его... Его прямым сообщением на тот свет.

— Мне кажется, что со стороны Олега Андреевича было несколько неосторожно поселиться у вас и открыто встречаться с вами, — вадумчиво сказала Наталья Павловна. — Этим он навел ОГПУ на след...

— Может быть, но видите ли, он уже с двадцать второго года Казаринов, и до сих пор все в этом отношении обстояло благополучно. Я не могу винить его, что он разыскал меня, — мой Дмитрий, умирая, ему говорил: «Нина... ребенок... Нина» — как будто нас ему поручал. Когда же Олег узнал, что ребенок мой скончался, а я невеста Сергея, он хотел уйти, но куда? Наталья Павловна, куда? Такие тиски, такие препятствия со всех сторон!

Тихие шаги послышались за ее креслом.

— Ася, ты, деточка? Ты уже вернулась?

— Да, бабушка. В церкви народу было так много, что тете Зине дурно сделалось. На улицах какие-то люди останавливают богомольцев, и тетя Зина говорит, что завтра нельзя будет нести огонек от двенадцати евангелий. — Минуту помолчав, она тихо спросила: — Вы про Олега Андреевича говорили?

— Да, — И Нина бросила на девушку внимательный взгляд.

— Скажите, что он вам рассказывал про лагерь? Его там очень... очень мучали? — и голосок Аси дрогнул.

— Он неохотно рассказывает, но кое-что все-таки говорил. Знаю, что грузил дрова, стоя по пояс в воде по десять часов, конечно, всегда впроголодь... Там, кроме того, чрезвычайно жестокая система наказаний — деревянные срубы без окон и дверей, куда запирают на ночь провинившихся без верхней одежды в самые лютые морозы. Да, да! Поверить трудно, но это так! Он сам это испытал два раза. Запирают, да еще приговаривают: «Вам не нравится власть советская, так вот отведайте власти соловецкой!»

— В чем же провинился Олег Андреевич? — спросила Наталья Павловна.

— Один раз, когда они шли строем на работу, старый мужчина, шедший перед Олегом, выронил какую-то бумажку. Олег поспешил поднять и вручить ему. Разом подняли свист и тревогу—конвойные вообразили, что они обменялись секретными сведениями, и затевается побег. Всех тотчас окружили и обыскали, и хотя ничего не нашли, засадили на всю ночь Олега и старика.

— Ужасно, — сказала Наталья Павловна.

Ася молчала.

— Другой раз при нем поволокли в карцер женщину, — продолжала Нина, — тоже политическую. Только она была бывшая революционерка, еврейка. Она кричала: «Мы не за это боролись! Вы — узурпаторы революции! Вы жестокостью давно превзошли царских жандармов!» Тогда они, чтобы заставить ее замолчать, навалились на нее, зажимая ей рот. Тут несколько мужчин из заключенных, в том числе Олег, бросились на ее защиту. Получилась потасовка. За это им прибавили по полтора года каждому.

— А еврейка? — обрывающимся голосом спросила Ася.

— С тех пор как в воду канула. Расстреляли, наверное.

Несколько минут все молчали.

— Я этих лагерей как огня боюсь! — продолжала Нина с остановившимися глазами, полными ужаса. — Счастье, что Сергея миновал этот жребий.

— Когда же выпустили Олега Андреевича? — спросила Наталья Павловна.

— В прошлом году, в октябре. Месяц он проработал там же вольнонаемным, чтобы собрать хоть немного денег на дорогу, а потом в течение двух месяцев добирался сюда. Дорогой окончательно измучился — приходилось идти огромные расстояния пешком по тракту. Там, около Кеми, в ноябре уже зима, от деревни до деревни много верст, одежды теплой у него не было, а крестьяне не хотят пускать на ночлег — принимают всех прохожих за беглых лагерников и боятся отвечать за укрывательство. Видно, тоже напуганы. Один раз даже комический случай был: в одно село Олег вошел ночью, никто не хотел пускать в дом, гонят от ворот, даже камни бросают, как в собаку. Он показывает им бумагу, что освобожден, а они неграмотны, прочесть не могут, а верить не хотят. Он страшно прозяб и изголодался, говорит: думал, что упаду тут же на улице. С отчаяния стал разыскивать отделение милиции. Все село спит, ворота на запоре, сугробы... Вдруг его кто-то хвать за ворот — стой! Откуда взялся? Предъявляй документы! Милиционер! Олег обрадовался ему, как другу: вас-то, говорит, я и ищу! Ну, взяли его на ночь в часть, усадили у печурки и даже чаю горячего дали. Добрые милиционеры попались. В другой раз он на одном переходе волка встретил. Волк был, по-видимому, такой же голодный и полуживой, как сам Олег, — тащился сзади, а нападать не решался. Олег хромал — у него от негодных сапог нога была стерта, а волк тоже припадал на лапу — из капкана, что ли, вырвался. Олег рассказывал: «Я иду, да время от времени обернусь и посмотрю на приятного спутника, а он остановится и тоже уставится на меня — лязгнет зубами да слюну проглотит: дескать, рад бы съесть и уже съел бы, да маленько опасаюсь — силушек не хватает».

— Чем же это все кончилось? — спросила Наталья Павловна.

— Олег набрел, к счастью, на дубину, которая валялась на снегу. Он замахнулся ею и заулюлюкал по-охотничьи. Волк убежал, но представляете ли вы себе, в каком виде Олег вернулся сюда после таких удовольствий? А здоровье уже не то, что было: у него ведь в боку осколок. Участковый врач хотел положить его на операцию, да он не захотел.

— Почему же не захотел? — спросила Ася.

— Говорит, что зарабатывать нужно, говорит, что здоровье его никому не дорого... Мне иногда кажется, что он близок к тому, чтобы покончить с собой. Он однажды уже делал попытку застрелиться... К счастью, неудачно.

Ася перехватила ее руку:

— Стрелялся?

— Да. Это было примерно на Рождество. Револьвер дал осечку. Я выкрала после этого его револьвер и забросила в Неву.

— Но ведь он может еще раз... иным способом... может как-нибудь иначе!

— Этого боюсь и я. В офицерстве это и всегда было распространено, а при таких условиях...

— А почему он перестал бывать у нас? — и щеки Аси запылали.

— Он считает свое общество опасным и не хочет подводить друзей. На днях его вызывали в ОГПУ — по-видимому, заподозрили неподлинность его документов. Пока туча прошла стороной, но...

Часы на камине пробили десять.

— Ася, твоя ванна, наверно, уже готова, простись с Ниной Александровной и иди, — сказала Наталья Павловна. — Она не будет сегодня ужинать с нами, Ниночка, — она завтра причащается.

Ася подошла к Нине и обняла ее за шею, прощаясь.

— А сегодня... сейчас он ничего над собою не сделает? — прошептала она дрожащими губами.

Утром Ася стояла в церкви в ожидании причастия. Ее глаза смотрели вперед, на алтарь, за которым только что таинственно задернулась завеса. Она только что исповедалась, но ей казалось — мало.

«Господи, прости меня! Я знаю, я очень дурная! Я ленюсь помогать мадам и так часто оставляю ее одну возиться и в кухне, и в столовой. Я совсем бросила штопать чулки — все одна мадам. Я и к бабушке недостаточно внимательна — часто она грустит у себя в спальне, а я хоть и знаю, да не иду, если книга интересная или на рояле играть хочется. Иногда бывает, что я целый день даже не вспомню о дяде Сереже. Я раздражаюсь на Шуру Краснокутского, а он так любит меня, так всегда терпелив и бережен. Я слишком много смеюсь, а кругом так много несчастий. Я люблю наряды и постоянно мечтаю о новом платье или новых туфлях. Прости меня, Господи! Вот опять ектенья... Это за усопших! Спаси, Господи, души мамы моей Ольги с отроком Василием. Воина Всеволода, убиенного, и папиного денщика воина Григория — убиенного! Какой он был хороший и добрый! Никто лучше его не умел надуть мне мяч. И дедушку, и всех воинов, и ту бедную еврейку, которая так храбро кричала в лагере... Упокой их всех со святыми. И мою собачку умершую — мою бедную Диану, она была вся любовь! За животных тоже можно молиться, я уверена. Ведь говорит же Христос, что ни одна из птиц не забыта у Бога. Вот опять отодвигают завесу... Сейчас запоют «Херувимскую». Ах, если бы спели Девятую Бортнянского — это совсем небесная музыка, точно слышишь шорох ангельских крыльев, какие Врубель нарисовал царевне Лебеди. Ангелы должны быть в куполе — вон там, высоко, где солнечные лучи. Это туда подымается кадильный дым. Шорох ангельских крыльев... Я напишу когда-нибудь увертюру и назову ее так. Там будет слышаться вот этот шорох и неземные голоса. Если бы я сидела сейчас за роялем, я бы начала сочинять. Во мне уже забродило... Сколько света под веками, когда закроешь глаза, и кажется мне, Господи, что Ты меня слышишь, или кто-то из Твоих Святых... Господи, спаси Олега Андреевича! Светлые, чудные гении, помогите совсем исстрадавшемуся человеку! Не дайте ему погубить себя, остановите! Неужели никто не придет ему на помощь? Человек, который молится, сам должен быть готов сделать все. Ну, что ж, пусть берет всю мою жизнь, я не боюсь, совсем не боюсь «безнадежного пути». Только бы он не бросился в Неву или под трамвай. Надо на что-то решиться... Как мне поступить? Написать? Я напишу сегодня, сейчас напишу!»

Отпели «Отче наш» и «Ектенью», причастники стали подвигаться к амвону.

«Сейчас!» — говорила себе, дрожа от ожидания, Ася.

Она расстегнула ворот темного синего жакетика, перешитого из английского костюма Натальи Павловны, и вытащила наружу отложной воротничок белой блузки, поправила на шее медальон с портретом отца и сложила на груди руки крест-накрест.

«Господи, прими меня причастницей и мою запричастную молитву: спаси Олега! Я причащаюсь за него! Я не знаю, можно ли это, но для Тебя, Господи, нет ничего невозможного. Пусть вся Твоя благодать и радость прольются в его душу! Помоги мне спасти его!»

Отдернулась таинственная завеса, открылись Царские врата. Вместе со всеми она опустилась на колени и, повторяя за священником шепотом предпричастную молитву, меняла местоимения «мя» и «мне» на имя Олега. Потом тихо пошла за другими к Чаше.

Ближе! Уже совсем близко! Сейчас прольется на нее из алтаря та чудная свежесть, в которой веянье рая. Ей вспомнились строки:

> Не из сада ли небесного ветерки сюда повеяли?
> Прямо в душеньку усталую, прямо в сердце истомленное!

За ней кто-то пробирался и задевал ее. Она обернулась и увидела безногого калеку — очевидно, старого солдата, — в петлице у него висел Георгиевский крест. Солдат полз, двигаясь при помощи рук. Она смиренно посторонилась, чтобы пропустить его.

— Ксения, — ответила она перед Чашей. «И Олег», — добавила она мысленно.

Причастившись и выпив теплоту, она вышла из потока тихо передвигавшихся причастников и отошла в сторону. В кармане нашелся карандаш и листочек бумаги. Она прошла в конец храма и села на ступеньку у подножия иконы, пока в церкви продолжал струиться не прекращающийся поток причастников. Она быстро написала несколько слов и сложила записку.

Неподалеку от Аси остановились две пожилые дамы в старомодных накидках и шляпках. Одна — Вера Михайловна Моляс, жена бывшего камергера, находящегося ныне в Соловках. Другая — дочь генерала Троицкого, Анна Петровна. Она осталась с двумя детьми младшей сестры, которая была взята в концентрационный лагерь по той только причине, что муж ее был морской офицер, белогвардеец и эмигрант. Дамы делились горестями. Моляс, грассируя, жаловалась на ужасное безденежье, а в печали старой генеральской дочки проблеснула гордость: бедствуя с двумя детьми, она не продавала и как святыню хранила доставшиеся ей от отца трофеи — турецкие малахитовые полумесяцы, снятые со стены Плевны и поделенные в свое время русскими генералами, бравшими крепость. Но в коммунальной квартире можно ли уберечь что-нибудь? Соседи выкрали ее полумесяцы и продали их на барахолке.

— Я снесла бы их в музей, если бы знала, чем кончится! Ведь это память о славе русского оружия. Ах, нынче русские потеряли всякую любовь к своему прошлому! — и она прикладывала платок к глазам.

Ася услышала, как Анна Петровна сказала Вере Михайловне:

— Voilà la fille du colonel Bologovskoy, qu'on a fusillé à Crimée. Elle est charmante, cette orpheline! [9]

Ася подошла поздороваться. Когда старые дамы прошли к причастию, она вернулась к своим думам, ей хотелось скорее пойти на почту, купить конверт и отправить письмо, но она знала, что нельзя уходить, пока не отнесут в алтарь Чашу, и ждала. «Завтра вынос Пла-

---

[9] А вот дочь полковника Бологовского, которого расстреляли в Крыму. Она очаровательна, эта сиротка! (*франц.*).

щаницы, — думала она, — будут петь «Разбойника» и «Даждь ми Сего странного». Какие прекрасные напевы! Даждь ми... Господи, даждь ми Олега! Даждь ми сего странного, иже не имет, где главу преклонити...»

Мимо нее прополз, отталкиваясь от пола руками, искалеченный солдат, она сунула ему три рубля, проговорив:

— С принятием святых тайн, солдатик.

— Спасибо, добрая барышня! И вас тоже, — ответил он.

Вот, наконец, осенив толпу высоко поднятой Чашей, священник унес ее в алтарь. Вместе со всеми она склонила голову, затем протеснилась к двери и как коза помчалась по улице.

Глава двадцать седьмая

Солдат, прощавшийся с Асей, долго не покидал храм, а все переползал от иконы к иконе. «Отпусти мне грехи мои, Господи, — шептал он перед Распятием. — Знаю я все окаянство мое, ох, грешен я! Но за убожество и за скорби мои прости меня, Господи! Ибо ведаешь ты, сколько намаялся я, калека, без семьи, без дома, без лишней копейки. Все это Тебе, Господи, ведомо, за то и не внидешь Ты в суд с рабом Твоим». Он с грустью смотрел, как люди из церкви домой торопятся, каждого хозяйка ждет, детки или другие родичи, а он, убогий, как перст, и нет на земле человека, который бы пожалел его или порадовал чем к празднику. Кабы он только одну ногу потерял, мог бы еще жить припеваючи. Да видно, лютое горе — как привяжется, и конца ему нет. Была бы жива его Аленушка — не посмотрела бы она, сердечная, что он, аки червь, по земле пресмыкается, не погнушалась бы — еще пуще бы его пригревала и жалела, оттого, что сердце золотое ей Господом в грудь было вложено. Да ведь Господь дал, Господь и взял! Со святым она, поди, радуется теперь на небесах, может, и на него другой раз глазком взглянет: как-то, дескать, Ефим мой мытарится? «Погляди, погляди, Аленушка, да помолись за меня святым, чтобы мне Господь по скорости даровал кончину мирную, непостыдную и упокоил в месте злачном, да с тобой сподобил встретиться, — гостьюшкой желанной мне тогда смерть покажется!»

«Помяни, Господи, усопших! — шептал он перед кануном. — Жену мою Алену и сынов моих, иже без вести! Помяни родителей моих Симеона и Авдотью и полковника моего Константина, раба Твоего! Помяни и благоверного императора нашего Николая, убиенного со чадами, и всех моих товарищей-однополчан. Как начнешь припоминать, всето уже, вон на том свете! Пора бы и мне...»

Церковь опустела, он все не уходил.

На трехрублевку, что дала барышня, он решил купить себе чайку, заварить крепенького да горяченького, побаловать грешную душеньку. Добрая барышня! По всему видать, из бывших — генеральская или полковничья дочка. Пожалела солдатика — за Егория, видно, дала. Из себя-то больно пригоженькая — беленькая, как сахар, и вся этакая тонкая, куколка-фарфорка, а ресницы — что покрывало. На смотрах он, бывало, в каретках этаких барышень видел, а теперь и нет таких. Царскую дочку Татьяну Николаевну она ему малость напомнила. Как живая, покойница у него перед глазами, какой подходила к нему христосоваться в Светлое Воскресенье. Полковник — его превосходительство Константин Александрович — в первый ряд роты его тогда поставил: знали, что он поведения смирного и собой ладный — не стыдно показать. Был ведь и он не из последних — было времечко. Пожалуй, ему и на судьбу роптать грешно, когда сама вот великая княжна пристрелена или придушена в двадцать лет! Упокой, Господи, ее душу! Россию любила: за царевича румынского сватали — не пошла! Хочу русской остаться! Вот и осталась: вместо царского венца — могилка, да, почитай, и могилки-то нет. Ох, грехи наши, грехи тяжелые!

Сторожа пришли затворять церковь, и волей-неволей он заковылял к выходу.

— Никак Ефим Семеныч! Ты, земляк? — окликнул его пожилой, со степенной осанкой мужчина, стоявший около церковного ящика.

Он узнал в нем своего однополчанина и соседа по деревне, с которым видался время от времени. Обменялись несколькими фразами.

— Вот и я сподобился приобщиться. Пойдем ко мне, Ефим Семеныч. Моя жена с чайком поджидает, и коржики постные у ней припасены. Чайком с сахаром да с коржиками побаловать себя дозволяется. Пойдем погуторим, вспомянем добрые старые времена.

Разговор и в самом деле то и дело возвращался к старым временам: вспоминали бои с немцами под Львовом и под Двинском, и с большевиками под Перекопом, вспоминали генералов и солдат — даже выпили по рюмочке за их память, вспоминали смотрины и великих княжен и согласились на том, что Россия-матушка нонече «не тая» — ровно подменили. И лета-то бывали раньше теплые, и зимы морозней, и рожь-матушка стояла прежде стеной, не то что нынче, и печки-то горели прежде жарче — видно, дров в них тогда не жалели, и косы-то у девушек были длинней и лучше, и песни протяжней, и блины масляней! А главное, люди веселей и добрее!

— Да, не та нынче Россия, не та! Спортилася. Это все жиды проклятые. Пей чай, земляк, не вешай голову, такая уж, видно, нам с тобой планида выпала.

— Да твоя-то планида, смотришь, еще нячего, Макар Григорьевич. У тебя вот комнатка да жена, дети выросли. Не гневи Господа. Нас с тобой и равнять нельзя.

— Дети? Эх, земляк, не знаешь ты наших семейных делов — знал бы, не сказал. Как уходил я в германскую на фронт, Егорке моему еще шел тринадцатый годок. А в двадцатом году при взятии Феодосии довелось мне с им повстречаться. Гонят это нас красные на разоружение да переформировку. Гляжу: никак, мой парнишка? Точно, он! Идет с винтовкой в красноармейской шинели и шапке, да статный, пригожий такой, нас окарауливает. Ну, я его окликнул по-отечески: дескать, Егорка, дескать — сын! А он мне: «Тятька! Вот ведь где нашелся! Ишь, развоевался, старый хрыч! Смотри, как бы наш комиссар не велел засадить в тебя малую толику свинца. Вот при товарищах скажу: мне царский унтер-врангелевец — не отец!» Вот оно как натравили-то, понял? С тех пор и не заявляется. А на след напасть нетрудно бы — в нашей деревне мой адрес знают. Это, вишь, сын. Ну а с дочкой друга беда. Поля наша за партийцем уже пятый год. Парень непьющий и на всякую работу гораздый, да безбожник первостатейший и к старшому уважения вовсе в ем нет. Дети народились — им прозваний христианских мало показалось, они Кимом сыночка нарекли, а девочку, вишь, Электрофикацией. Ким — это, изволишь ли видеть, коммунистический интернационал или другое что-то коммунистическое. Внучку-то мы с женой потихоньку от родителей в церковь снесли да окрестили, а внучок так нехристем и остался. Кабы мне кто в прежнее время наперед сказал, что у меня внук некрещеный будет, — я бы того человека, кажись, из дому бы вытолкал, не жиды мы и не турки. Не поверил бы я, что возможно такое дело. А что крику и ругани у нас было, как проведали они, что девочку мы окрестили! Насмерть они с нами переругались — с тех пор и глаз не кажут. Жена моя Аграфена Кононовна по полу каталась: «Не хочу, — кричит, бывало, — Электрофикации; Кима твоего, нехристя, с лестницы спущу!» А сердце-то болит: спечет что аль пожарит — сейчас охнет: вот бы внучаток попотчевать! В баньку соберется: ах, внучаток бы прихватить, веничком попарить! Ким! Ах они, безбожники! Ким! И завоет. Опять же и от фининспектора нам покоя нет: я сапожничаю, починяю — так он житья не дает, в любой день и час открывай окаянному! Лезет колодки пересчитывать. Налог прислал — думал, не выплачу! Продали женин салоп, самовар да кольца обру-

чальные — рассчитались. «Довольно, — думаю, — пойду-ка лучше на завод». И уж было устроился, так ведь выгнали! Подал я, видишь ли, в союз, проработав положенное время, ну а там, прежде чем принять, собрание актива, и меня, значит, на проверку, да как дознались, что унтер царского времени, пристали: где был в гражданскую, зачем служил в Белой армии? Ты-де изменил рабочему классу. Я служил, говорю, верой и правдой, кому присягнул: рабочим до тех пор я никогда не был; коли вы теперь меня в свою рабочую среду примете, буду и на вас работать так же верно, как служил моему государю. Вы, говорю, по моей царской службе видеть можете, что я не перебежчик и не проходимец, а человек верный. «А зачем сапожную мастерскую держал?» — кричат мне. Дураки вы, дураки, говорю, жить мне чем-то надо? Тут один безусый паренек как вскочит: «За тобой, — кричит, — выступает звериная морда вражьего класса!» Ничего, говорю, за мной не выступает, окромя твоей глупости! Разгалделись они, и пришлось мне брать мое заявление обратно. Ну а ден через пять сократили как враждебный рабочему классу элемент. Снова за сапоги взялся, малость только похитрей стал: готовую обувь держу в печке али в буфете горохом засыпаю. Всю молодость провоевал — вот уж не думал, что под старость ровно вору какому изворачиваться придется. Опять же и квартира коммунальная — соседка заела. Ни к плите, ни к ванной жену не допускает. «Только сунься, — кричит, — я ваших заказчиков считаю, сейчас фину сообщу!» Что ты тут будешь делать? Вот и сидим тише воды ниже травы. Ночью с боку на бок ворочаюсь: «Господи, — думаю, — кабы я что дурное делал, а то за свой труд такую муку терплю». Отчего ж это раньше ни коммунальных квартир, ни фининспекторов не было? Заработал человек, и слава Тебе, Господи! Захочу — один в целом доме живу, и никто мне не указчик! Да и то сказать, во всех странах, слышал я, памятник неизвестному солдату поставлен, а у нас вот как травят бывших фронтовиков... Да ты что это, Ефим Семенович, так призадумался, что ровно и не слушаешь?

— Дело такое, браток... Посоветоваться мне с тобой, что ли? Своего ума вроде бы и не хватает. Помнишь ты, был у нас в полку Дашков — поручик, сын нашего корпусного?

— Помню, как же! Дмитрий Андреевич, не поручик только, а капитан.

— Э, нет! То старший братец евоный. А этот только из учения вышел, когда к нам в полк прибыл. Мы тогда под Двинском стояли. Я в его взвод попал, коли помнишь, да потом так с ним и провоевал всю немецкую и гражданскую. Ничего, в нашем взводе его любили. Чтобы этак попросту, по-свойски с солдатами — нет, этого за ним не водилось; с нашим братом особенно не якшался, но в обиду своих людей не давал — очинно всегда заступался, а как получит, бывало, посылку из дому, так всегда раздаст половину — и сахару, и табаку, и чаю. И себя не берег, надо правду сказать: на всякое опасное дело вызывался. Говорил: я заколдованный, меня пули не трогают. И в самом деле, четыре года под огнем и все цел оставался. Зато потом и досталось же ему разом. Наш взвод без шапок стоял, как укладывали его на носилки. Думали, помирает. У него в денщиках был Василий Федотов. Он его на руках в часть принес — в секрете они, что ли, были? Ты Василия помнишь?

— Помню! Рубаха парень! Он, говорят, в лагеря исправительные попал, да там и сгинул. Ну, так чего ты начал про поручика?

— А вот, видишь, месяца этак три тому назад в самые лютые морозы повстречал я его благородие на улице. Подивился, завидевши: я его в «заупокой» поминаю, а он жив, оказывается! Шинелишка залатанная, сам — краше в гроб кладут. Тоже, поди, из лагеря — ведь их, господ офицеров, хватают безо всякого сожаления: вы-де оплот старого режима: а этот еще генеральский сынок. Ну, постояли, поговорили, да и разошлись в свою сторону. А вот теперича... — и солдат рассказал про Злобина и его настойчивые расспросы. — Сдается мне, что выслеживает доктор моего поручика. Нашел меня в больнице, заговорил о том, о другом, и опять норовит свернуть на поручика. Адрес мой спросил, на дом заявился, выложил на стол сто рублев и опять на то же поворачивает. А теперича вон что выдумал: послезавтра, в Великую Субботу, должен это я в полвосьмого как из пушки явиться на Моховую улицу к воротам дома тринадцать. Там меня посадят у стенки. Ровно в восемь выйдет из подъезда человек, агент ихний, остановит его и попросит закурить, а я должен глядеть в оба и после отлепортовать, кто этот человек — поручик ли Дашков али кто мне незнакомый. Хорошо, коли нет, а коли и в самом деле окажется поручик Олег Андреевич, как бы мне Иудой перед ним не выйти? Почем знать — может, он скрывает свое имя? Он просил меня никому о ем не сказывать, а я вот по дурости своей сболтнул доктору, да не в добрый час, видно, сболтнул и не доброму человеку. Спервоначалу я думал, может, приятели они с доктором, что он этак разыскивает поручика, да теперь выходит, что-то не то, не тем пахнет! Что скажешь, Макар Григорьевич?

— Скажу тебе, дело дрянь. Беспременно выслеживают. Ничего другого и быть не может. Услышал от тебя, что знаешь в лицо, ну и пристал. Советую тебе, браток, выходить из этого дела, а то и в самом деле предателем соделаешься. Сегодня вон об Иуде в церкви читали... Теперича у нас шпиков этих самых до черта развелось. Деньги, говорят, зашибают большие, за то и творят дела. Видно, и доктор твой из таких же. Посулил чего?

— Для начала — место на койке и хороший санаторий. Подлечим, говорит.

— Ну, это для начала, а там подговорит пособлять ему, и из трясины этой ты ввек не выпутаешься. Берегись, браток! Не дело для старого солдата выдавать боевого товарища — генерал ли, солдат ли, поручик ли — все едино.

— Вестимо, не дело, я про то и толкую. Сегодня, как подходил к Чаше, меня ровно что толк в сердце: к Святым Дарам подходишь, а завтра будешь человека губить? Ему же никак не больше тридцати; почитай, жена, дети маленькие... К тому же и по книге моей, как на него раскрою—сейчас выходит насильственная кончина. Никак нельзя выдавать, да еще в Великую Субботу — ни в жисть не соделаюсь Иудой. Как бы мне только половчей все это спроводить? Вовсе к ним не пойтить — завтра же явится каналья доктор и снова начнет нудить.

— А ты пойди, отлепортуй: явился, мол. А потом говори: не знаю и не знаю этого человека. Как они тебя уличат? Легко, что ль, в оборванце узнать офицера, да еще десять лет спустя?

— Ладно, так и сделаю. А уж без санатория обойдусь. Только б он сам не заговорил со мной. Спасибо, браток, что поддержал ты меня на добром решении. Не пора ли нам к двенадцати евангелиям собираться?

Глава двадцать восьмая

— Нет уж, в школу ты не суйся! — кричит Мика. — Мне и без княгинь достается, а ты, с твоими ухватками,— только покажешься, так мне и вовсе житья не будет! Оставайся лучше дома, ваше сиятельство!

Натянутые нервы Олега не выдержали, он выскочил в коридор:

— Мика, иди сюда! — И втащил мальчика в комнату. — Ты как смеешь издеваться над сестрой и трепать с таким пренебрежением наше имя и титул? Разве что-нибудь позорное в ее браке? Она вышла по любви за благороднейшего человека, который отдал жизнь за Родину! А вырастить тебя ей было легко? Другая на ее месте давно бы отправила брата в детский дом — посмотрел бы я на тебя тогда! Ты непомерно

неблагодарен и дерзок! Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, ты получишь от меня, Мика, такую затрещину, что своих не узнаешь! Хочешь на кулачки? Ты, кажется, воображаешь, что у меня сил нет? Да я справлюсь с двумя такими, как ты!

— Олег, успокойтесь! Что с вами? — твердила испуганная Нина.— Уверяю, что эти издевки только по моему адресу: он не хочет допустить меня переговорить с учителями, а между тем к нему настолько несправедливы, что пора уже вмешаться кому-нибудь.

— Нина не хочет понять, что сделает только хуже, — запальчиво сказал Мика. — Они занижают мне отметки, а на мои возражения откровенно заявляют: «Не делать же первым учеником княгининого братца!», или: «А крест на шее не носишь?»

— Это говорят педагоги? С кафедры? — перебил Олег.

— Педагоги. Чаще всех политэкономша и физик.

— Это возмутительно! — воскликнул Олег. — Разрешите, Нина, мне пойти к директору, я заставлю его ответить мне прямо: есть ли распоряжение сверху, из РОНО, травить мальчика за происхождение и родство? Посмотрим, что он ответит. Если будет необходимость, пойду и в РОНО.

— Не знаю, удобно ли... В качестве кого же вы пойдете? Родственником вы называться не можете...

— Как хотите, я не настаиваю.

— Вы лучше скажите Нине, чтобы она сама-то меня не грызла. Сколько мне от нее достается за крест! — сказал Мика.

— За крест, от Нины?!

— Ну да! Она каждый день приступает ко мне то с просьбами, то с угрозами, чтобы я снял его с шеи.

Олег повернулся к Нине, которая сконфуженно бормотала, что хочет оградить от неприятностей Мику.

— Не мешайте мальчику, Нина, остаться честным перед самим собой. Нельзя же всем до одного измельчать и исподличаться.

Это было во вторник, на Страстной. Вечер вторника и среду Олег провел в одних и тех же мыслях. Он решил, что не будет ждать нового приглашения от Нага. Вечер в парке в Царском Селе представлялся ему непременно ясным и тихим. Там серебряные ивы и вековые дубы напоминают Залесье; он пройдет под ними спокойно, совсем спокойно, гуляя. Никто его не увидит, не будет торопить... Надо только дождаться пятницы, чтобы получить зарплату и оставить ее Нине.

В четверг вдруг замучили воспоминания. Они шли, как морская волна, одно за другим — придет, подержит на гребне и отхлынет... Почему-то с особенной силой вспоминалось раннее детство — прогулки в Залесье, ласки матери, приготовления к Пасхе, игры, шалости... Несколько раз его мысль возвращалась к тому, как дорого стоило его рождение матери: боясь повредить младенца, она отказалась от наложения щипцов после тридцати шести часов мучений, когда все окружающие уже отчаялись в благополучном исходе... А он вот теперь собирался прекратить эту жизнь, данную ему с такой любовью!

В пятницу Олег получил, наконец, зарплату и собирался уйти пораньше. Моисей Гершелевич назначил производственное совещание в своем кабинете, но Олег на виду у всего правления, собиравшегося в кабинете шефа, пошел к выходу.

— Казаринов, вы куда? Попрошу остаться! — начальственно окликнул его Моисей Гершелевич.

— Куда вы, товарищ? — окликнула его другая портовская шишка.

Олег обернулся на них, и вдруг на него нашло озорство: «Нате, скушайте!» — подумал он и сказал громко:

— Куда я тороплюсь? Да ведь сегодня Страстная Пятница — хочу приложиться к Плащанице! — И оглянул всех, точно желая увидеть, не сделаются ли корчи с этими жидо-азиатами и отступниками из русских.

Корчей не сделалось, но лица у всех вытянулись и глаза опустились. Караул — не знают, как реагировать. Олег усмехнулся, оглядывая их. Оригинальное для советского служащего состояние! Он осмелился им напомнить о большой тысячелетней культуре старой России, которую они ненавидят и желали бы вовсе вычеркнуть из памяти. Когда-то для всех русских этот день был единственным и неповторимым в году.

Он просто так сказал про Страстную Пятницу, чтобы их побесить, но пока он ехал в трамвае, мысль о вынесенной на середину храма Плащанице, украшенной живыми цветами, окруженной горящими свечами и толпой молящихся, настойчиво встала в центре его сознания. Он не был у Плащаницы все те же десять лет, роковые в его жизни, и сейчас решил зайти в храм.

Поразительная картина ждала его около церкви, ему еще не случалось наблюдать ее, так как все последние годы он провел вне города. Вдоль всей церковной ограды к дверям храма вилась очередь! Пожилые интеллигентные мужчины, простолюдины, бабы в платочках, дамы в туалетах от Вога и Брисак — тех, что были модны пятнадцать лет назад, — все серьезные и тихие, терпеливо стояли под медленно накрапывающим дождем. Мужчины почти все стояли с обнаженными головами — даже те, которым было еще далеко до церковных дверей. Это та Русь, которая не дала за полтора десятилетия изменить себе и лицо, и сердце. Олег тотчас уяснил себе, в чем тут дело: ведь в этом огромном городе осталось всего 11 церквей. Он поспешил занять место в очереди и подумал, что если бы он был неверующим, то встал бы ради этого молчаливого протеста. Торжественная тишина ожидания сообщилась его душе, и сонм воспоминаний опять закружился в сознании. В детстве у него был хороший голос, и в корпусе он был отобран в хор кадетской церкви. Он вспомнил, как на Страстной пел в стихаре трио в середине храма. Да исправится молитва моя! Какие они были тогда еще невинные, все три мальчика — херувимы у подножия рафаэлевской Мадонны! Фроловский выносил в тот день свечу из алтаря, тоже в стихаре и с самым благоговейным видом, но это не помешало ему вечером того же дня, заманив Олега в пустой класс, наговорить ему всевозможных вещей по поводу того, откуда берутся дети... Теперь Олег мог только улыбнуться на свою растерянность в те дни.

Когда после часового ожидания подошла его очередь, он не осмелился коснуться священного изображения и приник к нему лишь наклоненным лбом...

Дома он прежде всего запечатал письмо, которое приготовил для Нины накануне: «Дорогая Нина, я не вернусь — так будет лучше для всех нас. Я не вижу ни цели, ни смысла в своем существовании. Простите, если огорчаю вас. Думаю теперь, что мне было бы лучше вовсе не появляться — этим я избавил бы вас от многих тяжелых минут. Не упрекайте себя — вы сделали для меня все, что могли. Вы найдете в ящике стола мою зарплату — пусть это будет для Мики на лето, за вычетом долга Н. С. Ваш Олег Дашков». Запечатывая письмо, он думал: «Бросив письмо в ящик, я отрежу этим себе дорогу к отступлению». Впрочем, он не видел в себе колебания — посещение церкви лишь освежило душу, но не изменило решения. Он взглянул последний раз на комнату. Стал шарить по карманам. Веревка здесь. Так. Денег на обратную дорогу не нужно — эти два рубля лишние, он прибавил их к Микиным. Авторучку тоже оставил Мике, портрет матери взял с собой — вместо иконки.

Вошел Мика:

— Наши последние школьные новости: в Светлое Воскресенье мы обязаны с десяти до двенадцати утра ходить по квартирам собирать утиль и это уже третий год подряд такая история! Нарочно, конечно, чтобы вырвать нас из домашней обстановки и испортить нам праздник! Ну, да мы в этот раз устроили им хорошую штуку — я и мой това-

рищ Петя Валуев, — мы написали в классе на доске крупными буквами: «Товарищ, становись сознательным ослом, иди собирай металлолом!» Что тут поднялось: шум, крики, комсомольское собрание, негодующие речи... Пионервожатая из кожи вон лезла: как так?! Кто посмел издеваться? Контрреволюция! Черносотенцы, белогвардейцы, сыскать!

Нина, вошедшая вслед за братом, хоть и смеялась, но спросила с тревогой в голосе:

— А не дознаются? Никто не выдаст?

— Никто не видел, а буквами мы написали печатными.

Олег ждал, когда они уйдут. А Нина, как нарочно, спросила:

— Вы куда это собрались, Олег?

— Я? За город... Хочу подышать воздухом, — ответил он.

Они заговорили снова и всё не оставляли его. Наконец, Нина пошла к двери.

— Прощайте, Нина! — воскликнул он тогда с неожиданным для себя волнением. Она быстро обернулась и тревожно взглянула на него.

— Я вернусь, когда вы уже ляжете, — поспешил он прибавить и поцеловал ей руку.

Она вышла, вышел, наконец, и Мика. Ему он не сказал даже «до свидания», боясь возбудить подозрение. Оставшись один, тотчас схватил портрет и остановил глаза на прекрасном лице. «Видишь ли ты сейчас своего сына? Если ты не хочешь, чтобы я попал в темноту, — соверши чудо! А так я больше не могу». Если он ощущал идею бессмертия, то только через ее любовь, через мысль, что эта любовь не могла исчезнуть, прекратиться. Ее возвышенная душа оставила после себя неуловимый след — чистую струю, которой он иногда умел коснуться внутренним напряжением. И вот это, неясное, но сильное ощущение не давало ему разувериться в истине бессмертия. Более чистой, тонкой и возвышенной души он не встречал ни в ком. Нечто похожее показалось ему в этой девочке, в Асе, — она тоже словно бы освещена изнутри.

Он вынул портрет из рамки, надел шинель, взял конверт, адресованный Нине, и двинулся к двери. Теперь все уже было готово, обречено, назначено: только доехать, да выбрать дерево — два часа жизни! Чудес в наши дни не бывает, и ничто уже не спасет его!

В дверях он столкнулся с Аннушкой:

— Письмо тебе, — сказала она.

— Повестка, вы ходите сказать? — поправил он, переносясь мыслью к Нагу.

— Да кака така повеска? Письмо говорю, сейчас из ящика вынула. Бери вот.

Он взял письмо в недоумении: от кого? Почерк был незнакомый и как будто несколько детский... Перед его фамилией стояло большое «Д», вычеркнутое, и уже после было поставлено: «Казаринову» — стало быть, писал кто-то, кто знал тайну его происхождения... Он разорвал конверт.

«Я вам пишу в церкви. Я только что причащалась. Сейчас поют «Тело Христово примите», а я сижу на ступеньке и вот пишу. Я за вас молилась и поняла, что необходимо скорей открыть вам одну тайну: я не боюсь «безнадежного пути» — вот эта тайна! Ваша Ася».

Он стоял с этим письмом неподвижно... Что это? Ведь это как раз то спасение, о котором он только что мысленно просил у матери. Иначе отчего именно сегодня, сейчас написала ему письмо эта девушка? Ведь она же не могла знать, что он задумал, или всё-таки знала, чувствовала, уловила в воздухе?

Ее душа живет «слишком близко», совсем снаружи, ее душа — эолова арфа, ее душа — тончайшая мембрана! Задержись это письмо на несколько минут, пролежи лишнюю секунду в ящике, и он бы ушел из дому, и все было бы кончено... Это — чудо, это в самом деле чудо, что его все-таки остановили, задержали, спасли в самую последнюю минуту. Кто-то оттуда сверху, стало быть, оберегает и защищает его от преступного шага к самоубийству. В этом письме был призыв к жизни, оно было обещанием любви, в нем был порыв, нежность и все та же очаровывающая его чистота — «Ваша Ася». С бесконечной нежностью смотрел он на эту подпись, которая обещала ему все те радости, по которым так тосковала душа!

Все знали, что он на грани отчаяния. Но день и час угадала одна, и руку помощи протянула она же!

Убивать себя сейчас было бы подлостью. Спрятав письмо в карман, он бросился из дому, вскочил на ходу в трамвай, выскочил тоже на ходу, едва не попав под колеса огромного грузовика, и вбежал в знакомый подъезд. На звонок отворила Ася. Она была в хозяйственном переднике поверх юбки и блузки — очевидно, занята пасхальной стряпней.

— Вы? — воскликнула она и умолкла; он тоже молчал, дыханье у него захватило... Она отступила из передней в гостиную, он вошел за ней и огляделся: они были одни в комнате, залитой светлыми весенними сумерками. Он упал на колени и обхватил руками ее ноги.

— Милая, чýдная, дорогая! Ася, я люблю вас!

— Люблю и я вас, — прошептала она.

— Вы будете моей женой?

Она молча кивнула и стала теребить его волосы. Он опять прижался лицом к ее ногам.

— Слишком, слишком много счастья после этой мертвящей пустоты! Ведь у меня никого, никого не было!

На пороге показалась Наталья Павловна. Олег стремительно вскочил с колен.

— Наталья Павловна, я только что сказал Ксении Всеволодовне, что люблю ее, и просил быть моей женой. Я, может быть, должен был сначала обратиться к вам, но все вышло непредвиденно... Я прошу у вас ее руки...

Наталья Павловна опустилась в кресло. Ася приподняла руки, которыми закрыла лицо, и взглянула из-под них на бабушку.

— Подойдите оба ко мне, — сказала Наталья Павловна.

Они подошли.

— Наталья Павловна, я знаю, что это очень большая дерзость — добиваться такого сокровища, как ваша внучка. Я в моем положении не должен был решаться на это — я почти обреченный человек. Но я безумно ее люблю...

Ася молчала и только припала головой к груди Натальи Павловны, опустившись на колени около ее кресла. Наталья Павловна стала гладить ее волосы.

— Я рада, что вы ее любите, Олег Андреевич. Я знаю, что вы благородный человек. Не доказывайте мне, что вы плохая партия: я не знаю, кто может считаться теперь хорошей партией для моей внучки. Вы должны понимать, что я не хотела бы увидеть рядом с ней партийца из пролетариев или еврея, а люди нашего круга — все не уверены в своей безопасности, и один Бог знает, чья очередь придет позже, чья раньше. Будем надеяться, что Бог смилуется над вами ради этой малютки: она в самом деле сокровище.

Мадам, вошедшая в комнату с какими-то рассуждениями по поводу творога, положила конец этому разговору: увидев Олега и Асю на коленях около кресла Натальи Павловны и ее — обнимающей их головы, она наполнила комнату восклицаниями и поздравлениями, причем ее доброе лицо все сияло от радости. Она, по-видимому, уже рисовала себе в воображении, что в недалеком будущем, как только la restauration[10] завершится, Олег водворит Асю в особняке предков и представит ее ко двору.

Заговорили о том, когда назначить свадьбу. Ася, вырвавшись из

[10] Реставрация (*франц.*).

объятий мадам, закружилась по комнате, напевая на мотив арии из «Дон Жуана»:

— Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро!

— Как не скоро? — с отчаянием воскликнул Олег. — Не огорчайте меня, Ксения Всеволодовна! Если вы назначите слишком далекий срок, неизвестно, доживу ли я!

— Mais taisez-vous, donc, monsieur![11] — замахала на него руками француженка.

Ася приостановилась и взглянула на него с внезапной серьезностью:

— А мне еще немножко с бабушкой пожить хочется! Ведь видеться мы будем каждый день — чего еще нужно?

И закружилась снова; косы ее и передник развевались по комнате. Наталья Павловна сохраняла вполне спокойное выражение лица, но француженка, гордясь тем ореолом невинности, которым сумела украсить воспитание Аси, как на дрожжах поднималась.

— C'est un trésor, monsieur, voyez-vous? Un trésor![12] — повторяла она, сияя.

— Согласен с вами! — ответил он, следя восхищенными глазами за кружившейся девушкой.

Наталья Павловна предложила сделать свадьбу перед отпуском Олега, с тем, чтобы они могли поехать куда-нибудь вместе. Олега оставили пить чай, к которому, точно по заказу, явились Нелидовы. Зинаида Глебовна со слезами поцеловала Асю, повторяя:

— Как бы счастлива была сейчас твоя мама!

Но в карих глазах и хорошеньких губках Асиной кузины можно было заметить недоумение: «Странно, что Ася, а не я! Ведь я же интересней — это все говорят! У меня каждая прядь волос отливает по-своему и все волосы в локонах, а у Аси прямые, у меня родинка, как у маркизы, и еще... Это все виноват Сергей Петрович со своим «не лижи чужих сливок». Ну, да не беда — я теперь буду умнее: остальные все будут мои!» Ася, очевидно, смутно что-то почувствовала. Она оттащила сестру в угол и, точно извиняясь, шепнула:

— Знаешь... я не виновата... я очень его жалела и молилась о нем сегодня... оттого все вышло!

Глава двадцать девятая

Затворившись у себя в этот вечер, Ася, уже раздетая, опустилась на колени на коврике у постели. О, что за день! Он весь был полон любви и света! Она будет умирать и будет помнить этот день. Ей опять стало страшно за него. Надо помолиться. Старец Серафим всегда всех слышит, уж если он слышал ее тогда за крокетом, то тем более услышит теперь. Перед глазами Аси на минуту возникла Березовка и крокетная площадка, где шла ожесточенная битва — Ася и кузен Миша с одной стороны, братишка Вася и Сергей Петрович — с другой; силы явно неравные. Это было в 1916 году. Сергей Петрович — в те дни молодой офицер — приехал на несколько дней в отпуск с фронта и, появляясь между детьми на крокетной площадке, производил фурор: метали жребий, кому играть с ним в одной партии, и приходили одни в восторг, другие в отчаяние от каждого удара его молотка, так как бил он без промаха. И вот в этот знаменитый вечер шар его по обыкновению прошел с первого же хода весь путь и, став разбойником, объявил крокировку шару Миши; крокировка эта грозила тем, что новоявил крокировку шару Миши; крокировка эта грозила тем, что новоиспеченный разбойник, забрав себе все ходы, сгонит с позиции шары противной партии и под своей опекой в одну минуту поможет закончить Васе. Ася, страстно увлекавшаяся игрой, приходила в отчаянье от этой возможности. Шары стояли на таком коротком расстоянии, что даже среднему игроку легко было попасть, а такому чемпиону, как Сергей Петрович, удар этот, казалось, не стоит усилий. Спасения не было никакого: Сергей Петрович уже взялся за молоток с артистической небрежностью и изящной самоуверенностью. Замирая от страха, семилетняя Ася надвинула на лицо пикейную шляпку и, закрыв глаза, на минуту сосредоточилась: «Старец Серафим! Милый, чудный, родной старец! Помоги мне и Мише! Сделай так, чтобы гадкий дядька промазал! Защити от него!»

Она услышала короткий сухой удар и вслед за этим всеобщий вопль, в который слились и восторг, и ужас. Она отодвинула шляпку от лица и оглядела поле сражения: шар Миши стоял невредимым, сам Миша прыгал и визжал от радости, а у Васи глаза были полны слез — оказалось, что Сергей Петрович не только «промазал», но и умудрился каким-то образом задеть собственным шаром колышек и теперь должен был выйти из игры. Дело кончилось полной победой Аси и Миши.

«Даже в таких пустяках Старец слышал меня, тем более услышит теперь, когда я буду молиться за жизнь человека!» — говорила она себе, — за крокетом он это сделал не ради пустяшной игры, а ради славы своей: он явил могущество молитвы, чтобы на всю жизнь запомнила Ася, с какой любовью относятся к людям *там*. «Старец, милый! Я знаю, какой ты добрый — ты даже медведя пожалел. Пожалей моего Олега! Олег такой хороший! Устрой, чтобы они спутались со следа. О, пожалуйста, пожалуйста, старец Серафим! Сделай это для меня, для Аси».

Однако молитвенного напряжения хватило ненадолго, голубой свет лампадки придавал фантастические очертания предметам, и скоро она задумалась, глядя на причудливые тени на потолке. Так трудно быть сосредоточенной! Надо все время делать усилие. «Старец Серафим, Серафим...» Закинув голову, она твердила его имя, стараясь отрешиться и сосредоточиться на образе святого. Были ведь молитвенники — она слышала о них и читала, — которые умели всю полноту мысли и чувства вкладывать в молитву Иисусову и достигали озарения: у них открывались внутренние очи, и дивные потусторонние лики становились доступны их взгляду...

«Вот оно — это сияние под веками, которое я так люблю! Вот это веяние на лбу... точно кто-то коснулся меня крылом... Я приближаюсь к черте, за которой неведомое... Еще одно усилие, и я ее перейду!»

Но молитвенный взлет, достигнув небольшого напряжения, стал постепенно ослабевать. Нет, не проникнуть! Не вырваться из теней земного сознания... Только тем, которые достигают святости, это дано — они могут слышать нездешние голоса и видеть невидимые облики. В «Consolation»[13] Листа и в «Китеже» Корсакова есть что-то от этого состояния... Экстаз Скрябина? Нет, там не то — там усилие сверхчеловечности, но нет умиления! Какое благородство мелодии у Римского-Корсакова... А Глинка? Кто это сказал: «Глинка, Глинка, — ты фарфор, а не простая глинка!»?

Голова ее склонилась к подушке, и она заснула на коленях около кровати. Когда она очнулась и с недоумением огляделась, в комнате было уже совсем светло и доносился городской шум. Она озябла и, дрожа от холода, поднялась с колен.

Седьмой час.

Страх за любимого человека сжал сердце, и опять она бросилась на колени.

«Господи Иисусе Христе! Я не хочу верить и не верю, что, пока я спала, черная карета приехала и увезла его! Я не хочу верить, что Ты можешь украсть его у спящей! Я нечаянно заснула — я устала! Господи Иисусе Христе, будь милосерден к нему и ко мне! Не отпускай его в тюрьму, не отдавай его этим страшным людям — довольно уже

---

[11] Да замолчите же, сударь! (*франц.*).
[12] Ну что за сокровище, вы же видите, мсье? Просто сокровище! (*франц.*).
[13] «Утешении» (*франц.*).

они мучали его. Дай ему немного счастья, хоть один год чудного светлого счастья! Господи! Ты слышал разбойника и Магдалину — услышь же теперь и Асю!»

Она накинула на плечи халатик и босиком выскользнула в коридор. Вздох облегчения вырвался из молодой груди, когда она услышала в телефонной трубке его голос.

— Вы? Слава Богу! Простите, что я так рано. Я... видите ли... я в середине молитвы нечаянно заснула... так вот поэтому я хотела узнать, все ли благополучно... Да, да — молилась. Да, всю, всю ночь... Ничего, не заболею... Любите? И я люблю. А теперь до свидания, мне хочется согреться и заснуть. Меня в постели ждет мой щёнушка... Не расслышали, кто? Бабушка не позволяет мне с ним спать, а я беру его... Все-таки не расслышали? Ну да, собачка, щенок, поняли? Наконец-то! Ну, я бегу. Приходите обедать прямо из порта.

В восемь часов француженка пришла будить Асю. Спутанная головка с розовыми щеками приподнялась с подушки, а рядом зашевелилась кудрявая мордочка пуделя.

— Мадам, не гоните его и не говорите бабушке. Я так люблю с ним спать. Мне без него скучно. Мадам, душечка, можно мне заснуть еще часочек, пока не встанет бабушка? Закройте меня хорошенько.

Француженка заботливо поправила на ней одеяло и перекрестила ее. «Право, можно подумать, что малютка решила заспать вперед все те бессонные ночи, которые у нее будут после свадьбы, когда молодой муж не даст ей покою. Вот тогда ей скучно не будет», — подумала она и, воображая себе поцелуи, которыми Олег станет осыпать Асю, вся расплылась от умиления.

Повесив трубку после разговора с Асей, Олег поспешно допил чай и вышел из квартиры, торопясь в порт. В подъезде, едва он открыл дверь, к нему под ноги кубарем подкатился ребенок, споткнувшись о приступку подъезда, и пронзительно разревелся. Олег подхватил его на руки.

— Что ты, мальчуган? Ушибся? Да не кричи так — визжишь, как поросенок, которого режут. Разве мужчины плачут? Э, да ты, наверное, девочка! Девочка в штанишках, да?

Ребенок обиженно и озадаченно смолк.

— Вовсе не девочка. Я — мужчина! — ответил он.

— Да как же так? Мужчины-то ведь не плачут и не кричат. Видишь, какая у меня дыра во лбу? Это была рана, а я не плакал.

— Нет, не плакал?

— Нет, не плакал.

— Ну, и я не плачу!

— Не плачешь? Ну, это — другое дело! Мне, значит, только показалось! А что ты здесь на улице делаешь?

Продолжая разговаривать с мальчиком, он смотрел на тротуар, где шагах в десяти от себя видел безногого нищего, в котором узнал солдата, продавшего ему револьвер. Как он попал сюда? Случайно? Странно! Нет, это не случайность — подстроено. Он и есть тот доносчик, который заварил всю эту кашу. Зашифрованная очная ставка, по всей вероятности. И все продолжая разговаривать с ребенком, Дашков зорко обводил вокруг глазами, по-военному оценивая положение. Нищий здесь, конечно, по приказанию Нага. Но где же сам Наг? Притаился в соседнем подъезде, наверно. Всего вернее, что подлец-нищий окликнет, и вряд ли поможет, если не обернуться на его оклик. И все-таки ни на фамилию, ни на «господин поручик», ни на «ваше сиятельство» оборачиваться не следует... Дело плохо. Но так или иначе идти надо.

Он спустил с рук ребенка, потрепав его по щеке, и пошел вперед быстрым шагом с видом равнодушного, торопящегося человека. Он не смотрел на нищего и все-таки видел его. Ему показалось странным,

что нищий смотрел мимо и тоже как будто не хотел его узнавать — отсутствующим, безучастным взглядом он обводил вокруг себя...

— Гражданин! — услышал вдруг Олег чуть ли не около своего уха. Так и есть, останавливают!

Он обернулся — незнакомый человек в штатском подходил к нему.

— Извиняюсь, товарищ, нет ли прикурить? Спички забыл, — сказал этот человек. Условный сигнал. Нищий должен опознать князя Дашкова — все ясно.

Олег протянул спички. Человек закурил.

— Благодарю, товарищ, — и пошел в сторону.

«Не оборачивайся!» — повторил себе Олег и пошел вперед. У него было странное чувство в спине — какая-то связанность, каждый нерв позвоночника словно ощущал на себе пристальные недобрые взгляды, которыми, очевидно, провожали его. Не останавливают пока. Дошел до угла... Прибавить шаг. Оборачиваться не следует ни в каком случае. На Симеоновской сразу бежать за трамваем — это покажется вполне естественным. Таким образом выяснится, идут ли следом. Поворот уже близко... есть! Никто не остановил его.

На работе с минуты на минуту он ждал, не вызовут ли в спецотдел. Быть может, сразу не остановили только потому, что задержали переговоры с нищим?

День прошел благополучно. Подымаясь по лестнице в свою квартиру, он встретил Мику, который «сыпался» вниз (патент на это выражение был собственностью мальчика).

— Что скажешь, Мика? Все благополучно дома?

— Все, кроме того, что мне опять влепили три! — крикнул Мика, не останавливаясь.

Вечером Олег стоял с Асей на площади перед Преображенским собором. Площадь была полна народа, который уже не вмещался в церковь. Не жгли свечей, колокола молчали, крестный ход не выходил наружу — все было запрещено. Но толпа вокруг храма все-таки росла и росла — каждый шел с надеждой, что до него долетит хоть один заглушенный отзвук, с надеждой что-то все-таки уловить и почувствовать. И сколько ни старались подосланные со специальным заданием люди встревожить торжественную тишину свистками, давкой и хулиганскими выкриками, все их бесовские старания оставались напрасны. В одном месте в ответ на какую-то выходку в толпе закричали: «Шапки долой!» — и зажатые со всех сторон провокаторы волей-неволей должны были поснимать их. Конная милиция теснила толпу по краям, милиционеров было так много, что люди опасались облавы — примеры бывали. Но толпа не расходилась и постепенно заполняла все ближайшие переулки. Велосипеды и даже мотоциклы буравили ее, она молча размыкалась и смыкалась снова.

Олег стоял около ограды, на которую ему удалось поставить Асю и Лелю. Он опять обнимал ножки Аси, придерживая ее. Ни одного звука не долетало из-за наглухо закрытых дверей, и все-таки было хорошо! Ася думала о гиацинтах и колокольном звоне — от Пасхи в царское время всего ярче в памяти у нее осталось это. Олег, прижимаясь головой к ее коленям, с нежностью думал об ожерелье из пасхальных яичек на тонкой золотой цепочке, которое было у Аси на шее. Это было принято раньше, а теперь давно уже он не видел ни на ком такого ожерелья. Как хотелось верить, что встречу с Асей даровала душа матери, воскресшая после своей Голгофы!

Идея бессмертия носилась в эту ночь над толпой. Перед этой величайшей идеей красный террор был бессилен.

Конец первой части

Продолжение следует

БОРИС ЛАПУЗИН

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Ах, какими победными были деньки

Ах, какими победными были деньки —
возвращались с войны молодые дядьки.

Дядя Коля — домой, дядя Слава — домой
и домой дядя Филя — двоюродный мой.

Лейтенанты-связисты, разведчик сержант —
каждый гордый собою, немножечко франт.

Гимнастерочный облик пока что не снят,
ордена и медали парадно звенят.

Фронтовая гвардейская удаль в глазах.
И стратегия жить — генеральский размах.

Оглашала родня свою радость окрест:
пощадила война женихов для невест!

Дорогие сыночки, герои, орлы...
И (уж что у кого) накрывались столы.

И плескался в стаканах первач-самогон,
и рыдала гармонь, и гремел патефон.

Снова послевоенным семейным теплом
наполнялись дома постепенно. Потом

дядя Слава не раз говорил: «Помогай,
Филимон, пропадает совсем Николай.

ЛАПУЗИН Борис Васильевич родился в 1936 году в Уссурийске. Работал на заводе, на стройке, в газетах, на телевидении. Автор пяти поэтических книг. Член Союза писателей. Живет во Владивостоке.

Видно, водкою фронт заливается в нем...
Самого, признаюсь, жжет раненье огнем.

Ну а ты — не тревожит пробитая грудь?»
Дядя Филя в ответ: «Ничего, как-нибудь.

Зря ли мы победили на этой войне...»
Тут, бывало, он вдруг повернется ко мне.

И подхватит меня: «Будем живы, племяш!»
И поднимет до самой до матицы аж.

Ах, какими победными были деньки!
Стали прахом, землей дорогие дядьки.

Дядя Коля — землей, дядя Слава — землей
и землей дядя Филя — двоюродный мой.

Обращение к любимой

Любимая моя, в палящий зной и в стужу,
и в оттепели срок переходной
мне постигать твою таинственную душу
и вечно, может быть, идти к тебе одной.

В язычестве седом волхвянка, берегиня —
сегодня милосердия сестра,
любимая моя, хранишь ты и доныне
завещанный огонь священного костра.

Тряхнет ли ближний взрыв, гром прогремит ли дальний —
и заклубится страх в твоих очах:
удастся ль охранить, спасти свой ритуальный,
семейный свой, домашний свой очаг?

Удастся ль дом спасти, когда всех бесов стая
завьюжит белый свет, овоя, осмея?
А без тебя не дом — вселенная пустая,
нет жизни без тебя, любимая моя.

Ах, только б не война, да небо не черно бы,
да малыша покой, да твой счастливый взгляд...
Какой же там еще готовится Чернобыль —
и выброс электронный, и распад?

Добро бессмертно, да. Но ведь и зло бессмертно!
И разъедает нас ирония, апломб,
и забываем мы о том, что стали жертвой
всех покоренных рек, всех водородных бомб.

Уже гниют моря, шторма пришли в движенье —
попробуй удержись на бешеном ветру...
Любимая моя — сестра обереженья —
последняя надежда в безжалостном миру.

Автор перечисляет гонорар за публикацию в Фонд восстановления Храма Христа Спасителя.

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

СУДЬБА КНЯЗЯ МЫШЕЦКОГО

Теперь я, милостивые государи, стою в стороне, пропускаю мимо себя нестройные ряды идей, мнений, постоянно сбивающиеся с ноги, и всем говорю: «Хорошо!». Но мне уже никто не отвечает: «Рады стараться, ваше превосходительство...» Я кончил.

Иван Горбунов (тост генерала Дитятина).

По Фурштадтской, мимо решетки Таврического сада, прямо в провал черного Литейного, убегают, фыркая зеленым газолином, грузовики, увозящие на Садовую, 2, арестованных генералов, министров, придворных. Пляшет на Невском баба, вся в красном, сама — как костер:

Да, я кухарка и тем горжусь,
Держу я марку — не дешевлюсь...

Звонок в передней старинного особняка. Бывший министр Кривошеин, продолжая выкрикивать на ходу: «Неправда! Неправда!» — отворил дверь... И отступил: красные повязки — патруль ВЧК.

— Нам,— сказали,— гражданина Кривошеина.

— Кривошеина,— ответил им Кривошеин,— сейчас позову...

Кривошеин поправил перед зеркалом галстук, прошел в следующую комнату, быстро надел пальто и черным ходом сбежал на улицу, пляшущую кострами и вихрями. Перед ним лежал мрачный Петроград

ПИКУЛЬ Ввлентин Саввич (1928—1990) — русский писатель, участник Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии России. Автор многих широкоизвестных исторических произведений, изданных в нашей стране и за рубежом миллионными тиражами. Три романа и двадцать восемь миниатюр увидели свет на страницах «Нашего современника». Новая публикация знакомит читателей с главами из незавершенной третьей книги романа В. Пикуля «На задворках Великой империи».

1918 года... Красногвардейцы постояли в прихожей, подождали Кривошеина — не идет Кривошин. И толкнули дверь в гостиную.

Навстречу им поднялась барственная фигура господина, гладко бритого, немного смущенного. Холодно и строго сверкали стекла его пенсне да блестел выцветший придворный мундир.

— Вы Кривошеин? — спросили красногвардейцы.

— Нет. Я только что беседовал с ним. Он пошел отворять двери, ибо прислуга давно разбежалась. Это вы звонили?

— Та-ак... А вы, простите, кто такие будете?

— Князь Мышецкий, честь имею...

— Ваш чин при старом режиме?

— Тайный советник.

— Звание при дворе имели?

— Церемониймейстер Его Величества.

— А должность?..

— Помощник статс-секретаря государственной канцелярии...

Красногвардейцы переглянулись: Кривошеин удрал, а эта птица, видать, тоже контра порядочная. И быстро решили:

— Одевайтесь... пошли!

— Что это значит? Право свободы, право личности...

— Хватит болтать, гражданин Мышецкий!

Вот они, знаменитые «Кресты» — тюрьма, куда он домогался чести попасть когда-то. Теперь попал, сам того не желая.

— Я надеюсь,—сказал Сергей Яковлевич,—что, когда Кривошеин вам попадется, вы меня выпустите? Я — заложник, да?

— Надейтесь,— ответили ему.— Эй, Корниенко, забери этого князя-контру в монархический сектор...

Приобщили. В камере сидел уже генерал Петрищев, известный англоман, грыз желтыми зубами набалдашник стека (за освобождение англомана ратовали теперь немцы). На коленях генерала лежала в раскрытом виде «Похвала Глупости» Эразма Роттердамского.

— А, князь,— злорадно прошипел Петрищев.—И до вас добрались большаки? Говорят, вы смолоду немало «оппозиции подпущали». Вот и аукнулось вам днями золотой свободы... Каково?

— Угостите папиросой,— попросил Мышецкий, растерянный.—Я оставил портсигар в доме Кривошеина, он удрал, а меня подкинул!

— Пожалуйста,— согласился генерал.— Первую папиросу вы от меня получите. Но здесь тюрьма, и впредь так: я вам папиросу, вы же мне—половину пайки хлеба... Идет?

Двери в камеры не закрывались. Монархисты свободно хаживали в «гости». Вышел и Сергей Яковлевич, осматриваясь. Компания подобралась грамотная — от профессоров (с уклоном в монархию) до великих князей (с уклоном в демократию). В камерах было очень мало еды, но зато очень много книг: от Сенеки до Ленина! Монархисты читали жадно, словно пытаясь разгадать сложный механизм социальных перемен в России. Особенным же успехом пользовалась литература о Французской революции.

Бывший премьер-министр Коковцев заведовал раздачей хлебных пайков, крича каждое утро по-блатному:

— Эй, шпана, налетай — птюшки несут!

И тянулись к нему руки бывших министров, бывших сенаторов, бывших генералов и бывших гофмаршалов. Наступило то вынужденное опрощение, к которому когда-то сознательно тянулся Мышецкий: разговор сделался примитивен, как у мужиков, шла тайная игра в карты, песни же пелись — за неимением своих — уголовные, подхваченные из жизни:

Лежу я сейчас в лазарете,
Пулю вынули мне из груди,
Всяк имеет меня на примете,
Что разбойник я был на пути,

Отнеситеся к жизни премудро,
И печалиться нам не идет,
В понедельник блатная лахудра
Передачу мине принесет...

А в общем, в тюрьме жилось лучше, чем на воле. Из окошка камеры Сергей Яковлевич видел, как текут к морю стылые невские воды, катят по Литейному мосту, ощетинясь штыками, грузовики, где-то слева сияют витые луковицы Смольного монастыря... Петербург, старый парадиз империи, стоит на месте — нерушимо!

Мышецкий шестой год был женат на урожденной Булгаковой, в первом браке Хвостовой, шумной и веселой женщине с толстыми бровями. В тюрьме он узнал, что она сумела скрыться за границу, покинув его.

— Что делать? — плакал Мышецкий первые дни.— Мы не декабристы, и наши жены... Увы, из них не станется, видать, Мари Волконской или Элен Трубецкой! Прощай, прощай...

Чтобы скрасить одиночество, он тоже записался в тюремную библиотеку, которой заведовал великий князь Николай Михайлович — известный ученый-историк, специалист по эпохе Александра Первого. На груди великого князя колыхался большой красный бант, и это ставилось ему на вид монархическими камерами,— с этим бантом Николай Михайлович гулял в свое время по Невскому, выступая на митингах.

— Меня не расстреляют,— сказал великий князь Мышецкому,— за что бы? Я всегда стоял в оппозиции ко двору, занимался историей и Географическим обществом России... Приходите сегодня ко мне в камеру — я буду читать лекцию о последних монтаньярах Французской революции, после чего посудачим по вопросу: куда делся император Александр Первый и кто умер вместо него в Таганроге в 1825 году?..

Мышецкого вызвали к следователю, товарищу Иоселевичу, свидание произошло в доме княгини Оболенской, где еще недавно он играл в бридж с гостями очаровательной хозяйки. Теперь все паркеты были выломаны, все кругом заплевано и загажено, как в свинарнике, на диванах с открытыми ртами в ожидании расстрела спали арестованные спекулянты и воры.

— Вы разве поляк? — спросил его Иоселевич.

— Нет. Я русский,— ответил Сергей Яковлевич.

— Тогда кто-то за вас хлопочет... Видите, польское посольство требует вашего освобождения как польского подданного.

— А я не требую этого, ибо я русский...

Через несколько дней вызвали снова:

— Какое отношение вы имеете к Германии?

— Никакого. Кроме того, что был женат в первом браке на прибалтийской немке, урожденной Гюне фон Гойнинген.

— Вот видите? Теперь Германия требует вашего освобождения.

— Удивлен не менее вас. Но я — повторяю — русский...

А в камере желтые зубы Петрищева уже догрызали стек:

— Вы сумасшедший... Как можно? Надо было согласиться на поляка, на немца, даже от негра не отказываться. Время слов кончилось, теперь пора действовать. Только бы выбраться отсюда!— И в лютой злости откусил от стека большую щепку...

Было очень голодно, кто-то за него хлопотал, но вот посылочку никто прислать не догадался. А законы были жестокие—тюремные: мало кто делился с нищим князем, сидел он на одном пайке...

Среди ночи вдруг залязгали двери, и чистый молодой голос, разрушая тишину ночи, запел:

Гори-гори, моя звезда,
Звезда моя вечерняя,
Ты у меня всегда одна,
Моя любовь, наверное...

И тяжело стучали приклады, и неслышно ступали шаги.

— Что это? — спросил Мышецкий, весь в липком поту.

— Ничего, князь,— ответил ему Петрищев.— Учитесь же умирать и вы, как надо у кавалергардов Его Величества...

На дворе тюрьмы громыхнул залп. Сергей Яковлевич придвинул к Петрищеву свою пайку хлеба:

— Пожалуйста,— сказал,— две папиросы... Я только чуть-чуть откусил. Только сбоку...

. . . .

Снова вызвали на допрос. В приемной плакал горькими слезами старый генерал Щербов-Нефедович:

— Князь, мы присутствуем при гибели великой страны! Первые славянские городища, пение стрел в Куликовской битве, Иван Калита и корона Романовых, Москва и слава громких побед... Где все это? Куда все денется? Какое страшное время...

На этот раз допрашивала женщина — Яковлева:

— Ваше отношение к Интернационалу?

— Никакого отношения,— ответил Сергей Яковлевич.

— Почему вы поддерживали реакционера Столыпина?

— Я поддерживал Петра Аркадьевича исключительно лишь в его аграрной политике, успехов которой нельзя не признать. Россия обрушила на Европу горы хлеба, Россия купалась в хлебах!

— Вранье, — сказала Яковлева. — Вы монархист?

— Лично мне,— ответил Мышецкий,— монарх никогда не мешал. Но я против самодержавия, поймите меня правильно...

Яковлева разгребла перед собой ворох бумаг, долго крутила в грязных пальцах махорочную самокрутку. Вчиталась.

— В тысяча девятьсот пятом году,— сказала женщина,— вы, находясь за границей, передали для нужд нашей партии пятнадцать тысяч рублей... Я не ошиблась?

— Да, — ответил Мышецкий, — вы не ошиблись, мадам.

— Так это — вы?

— Я, сударыня... Вы мне хорошо отплатили теперь!

Яковлева стукнула кулачком по столу:

— А если это ты, так какого же черта сидишь и помалкиваешь?

— Имеющий мускус в кармане, сударыня, не кричит об этом на улицах, запас мускуса сам говорит за себя...

— Сколько тебе лет... ты, белая ворона?

— Имел несчастье родиться в семьдесят пятом прошлого века.

— Мы переводим тебя! В демократическую камеру...

Сергей Яковлевич задержался в дверях:

— Извините, всего два слова: вы плохо кончите, мадам...

— Поговори мне, пентюх! Сразу к стенке поставлю!

— И еще раз говорю вам, мадам: вы плохо кончите...

— Марш! Контра! Вон!

Так он оказался на другой стороне «Крестов»— в демократическом ее секторе, где сидели враги советской власти, но с другого конца — эсеры, кадеты, энсы, анархисты и прочие. Паек здесь был получше, чем у монархистов, но грызня стояла такая, хоть святых выноси. Жрали один другого поедом — того не учли, того не убили, надо было еще в пятом так, а в шестом году эдак, потом взорвать того, который сменялся, спасти того, который плакал...

От всего этого кусок хлеба застревал в глотке.

— Господа, можете вы хоть ночью не болтать? — просил Мышецкий, в который раз разбуженный спорами.— Ведь это же невежливо...

— Ты, контра, помалкивай, — грозили ему. — Здесь тебе не департамент дел духовных, а ты не столоначальник. Погоди, князек, мы еще плясать не начинали, власть наша еще придет!

— Не дай-то Бог, — говорил Мышецкий, нащупывая под подушкой пенсне. — Не дай-то, Господи, вам власть: вы же спать не дадите несчастной России — все будете блевать и блевать на нее высокими слова-

ми о свободе, равенстве и благоденствии народа. Чтоб вас всех черт побрал, господа!

Однажды среди ночи его разбудили анархисты, потом прибежал левый эсер Утгоф, член Учредительного собрания, дали князю Мышецкому выпить стакан зеленой самогонки.

— По какому случаю? — спросил князь.

Ему объяснили, что адмирал Колчак идет на Москву.

— Хм... Но я никогда не состоял по морскому ведомству,— сказал Мышецкий, однако самогонку выпил с удовольствием...

— Эй, демократы липовые! — кричал утром надзиратель.— Кто дрова пилить хочет, тому хлеба прибавим...

Эсеры бросали в надзирателя (за неимением бомб) рваными башмаками. Анархисты мрачно матерились, сплевывая.

— А это правда? — спросил Сергей Яковлевич.

— Что?

— Ну, вот... паек?

— И валенки дадим. Один монархист уже согласился. Иди и будешь пилить с ним на пару...

Монархист ждал демократа на дворе, приплясывая от холода.

— Князь Мышецкий.— представился ему Сергей Яковлевич.

— Контр-адмирал Сабанеев,— поклонился в ответ пильщик.

— Как жаль, контр-адмирал, что мы не были знакомы ранее...

Стали пилить, посматривая на хмурое балтийское небо, сыпавшее снежок в глубину тюремного двора. Сабанеев, мужчина в самом соку, был нетерпелив. Он не давал Мышецкому допилить бревно до конца. До половины кое-как додергает, потом бревно воздымет над собой:

— Извините, князь, — да как трахнет его, только щепки летят. — Не стараться же нам... за большевистские валенки!

— Из вас, контр-адмирал, вижу, что пильщика не получится...

— А я, князь, смолоду себя в пильщики не готовил... Кто? — выкрикнул Сабанеев, ломая пилу.— Кто у них там флотом теперь командует? Кто миноносцы водит? Сопляки-мичмана или матросы — васявася? А мне, человеку, который всю службу не сходил с палуб миноносцев, мне говорят: ты — контра, сиди... А за что? Только за то, что у меня послужной список сплошь из наград состоит? Да я и не скрывал... Горжусь! Я служил России на морях верой и правдой... Так почему же меня сажают? Им надо, чтобы я плохо служил и воевал? Тогда бы и России не было, если бы плохо воевали...

«Трах!» Мышецкий едва успел отскочить: контр-адмирал не пилил, не колол, а просто ломал бревна. Поправив на носу пенсне, Сергей Яковлевич сочувственно заметил:

— Я понимаю ваше благородное негодование, но... Не лучше ли вам предложить свои услуги большевикам, тем более что пилить дрова честно вы не желаете. Многие у них уже служат...

— Пусть они, мерзавцы, сами меня позовут!—бушевал Сабанеев.— А то — контра, контра, а флотом матросы командуют. Дело ли?..

Через несколько дней, польстившись на валенки, вместо Сабанеева пилил с Мышецким дрова князь Багратион-Мухранский, командир Дикой туземной дивизии.

— А контр-адмирала, выходит, шлепнули? — спросил Мышецкий.

— Нет. Забольшевичился, шкура,— ответил генерал...

Сабанеев навестил Мышецкого в демократическом секторе:

— Прощайте, Сергей Яковлевич, я сегодня виделся с Дзержинским, мне возвращают дивизион. А супруга моя, Елизавета Васильевна, как раз передачу мне принесла...—Контр-адмирал сунул князю пять кусочков сахару: — Пейте, князь, сладкий чай. Елизавета Васильевна говорит, что вы друг ее юности... Прощайте, мне не до пилы!

— Постойте, а кто урожденная ваша супруга?

— Она? Она из рода тверских Бакуниных...

Сабанеев ушел; Сергей Яковлевич остался с кусочками мелко накрошенного сахару. «Лиза, Лизонька,— потекли вдруг слезы,— почему вы меня разлюбили? Все могло бы быть иначе...»

Мышецкого скоро выпустили из тюрьмы, взяв с него расписку, что он никогда не примет участия в заговорах против советской власти. Мышецкий с облегченным сердцем дал такую расписку:

— Я,— сказал князь,— не возражаю против власти, если ее поддерживает народ. Но я не могу лишь согласиться с вашим лозунгом классовой борьбы. К чему вам это? Неужели вам нужны лишние враги внутри России? Нельзя вырезать сословие людей, давшее России великие таланты...

— Вы не спорьте,— сказали ему,— а то снова посадим!

Он побрел к себе на Фурштадтскую, держа под локтем узелок, в котором был завернут его мундир. Этот мундир он пошил себе еще в 1913 году — к юбилею 300-летия дома Романовых, и угораздил же его тогда черт напялить этот роскошный мундир, когда пошел в гости к Кривошеину!.. Там-то его и зацапали!

Валенки же ему оставили — ногам было тепло.

. . . .

В квартиру долго не пускали, разговаривали через цепочку:

— Кто будете? — выглядывал из щели старушечий глаз.

— Это я должен спросить вас, как вы умудрились без ключа и без спросу попасть в мою квартиру? Кто вы будете?..

Пустили. Оказывается, за время его отсидки квартира князя из восьми комнат стала коммунальной. Людей рассовали по комнатам Мышецкого семьями, а владельцу оставили угловую клетушку, где ранее жила прислуга. Князь обалдел от визга и криков.

— Я был юристом,— сказал он,—я знаю, как применять меру наказания для человечества, я судил людей на каторгу, но еще не догадался никого осудить на коммунальное житие...

Мебель его была растащена по разным комнатам. Кожаная обивка кресел была содрана, и вся квартира щеголяла теперь в новой молодецкой обуви красного сафьяна. Из узорчатого шелка соф и диванов удалые квартиранты пошили себе блузки и рубашки. Это бы еще ничего, даже смешно, но пропала библиотека, посвященная истории права в России: восемь тысяч томов, на шести языках — сколько горя... Как это мучительно, словно кровь вышла из тела, сразу постарел!

Сергей Яковлевич обратился в исполком, и там ему после долгой канители дали вместо книг бумажку:

«Вещи бывшего князя Мышецкого, обнаруженные в громадном буржуйском количестве, распределены Губотсобесом среди неимущих классов передового пролетарского движения. Бывшему князю оставлено необходимое для нормального прожития человека: стул, стол и диван. Книжки — частью уничтожены, как явная контра, а другие переданы в клубы солдат и рабочих швейной фабрики. Непроизводительно ничего не было расхищено...».

Заплакав, он выбросил ключ от своей квартиры. Заросший бородой, страшный и ожесточенный, Мышецкий ночевал на вокзалах — среди воров и спекулянтов. В солдатской вшивой шинели, в тюремных валенках ходил на барахолку, промышляя чем мог. Однажды княгиня Барятинская, стыдливо пряча от него кружевные панталончики, сказала на торжище голода и нищенства:

— Что делать, князь? Не подохнуть же нам с вами. Мой кузен уже служит этим бандитам. Ступайте и вы: свет поймет и нестрого осудит... Отойдите теперь, мне неудобно разворачивать белье перед вами, князь... Прощайте!

Мышецкий задумался о путях жизни. Можно вернуться в Уренск, где его, наверное, еще не забыли, и затихнуть до времени. Или броситься очертя голову прямо в Бауский уезд Курляндии, где понаслышке проживала Алиса с сыном, — там на ферме можно решить, что делать дальше... Но пути-дороги привели его в Москву, здесь он добился свидания с Георгием Васильевичем Чичериным, ставшим народ-

ным комиссаром иностранных дел. «Все-таки,— думалось,— дворянин столбовой... заветы прошлого...» Чичерин вряд ли узнал князя со времени последней встречи в Париже и посоветовал обратиться в наркомпрод — к товарищу Цюрупе:

— Поверьте, князь, вас примут, не высекут и не повесят...

В кармане у Мышецкого было всего 900 рублей: это как раз цена трамвайного билета, если только попадешь еще на трамвай!

— Вот садитесь и поезжайте,— отпустил его Чичерин...

Поехал. Два дня ничего не ел. Ни крошки. Князя шатало.

Тифозные вши ползали по воротнику... Народный комиссар продовольствия Цюрупа выслушал Мышецкого о том, что он был поэт, был губернатор, был церемониймейстер и помощник статс-секретаря.

— Благодарим,— ответил,— но нам это сейчас не нужно.

— Может... потом? — спросил Мышецкий, теряя надежду.

— Да и потом навряд ли... А где учились?

— В «Правоведении».

— Тоже не нужно. Не закон судит нас, а — народ!

— Вот еще статистика... имею даже труды...

— О! — сразу загорелся Цюрупа.— А в какой области?

— Государственного хозяйства и областной экономики...

— Вот с этого и надо было начинать, гражданин Мышецкий! Бухгалтером сможете работать по продразверстке? Трудностей много, но надо заставить деревню накормить город, иначе... Вы же сами понимаете: иначе нас захлестнут с четырех сторон!

— Простите... кто нас захлестнет?

— Оккупанты, интервенты! Немцы, англичане, французы, тот же Колчак, тот же Дутов...

— Давайте договоримся так,— сказал Сергей Яковлевич,— я буду бухгалтером при советской власти, вы же, господин Цюрупа, разбирайтесь сами, пожалуйста, и с Колчаком и с Дутовым, которых я чести знать не имел и в лучшие времена своей жизни...

Был выписан мандат. Дали пять ржавых селедок и две буханки хлеба; в мешке лежало 28 000 000 рублей, выданных на дорогу. Разложив паек на ступенях лестницы, Мышецкий первым делом наелся. Вытер пальцы о штаны. Ознакомился с мандатом. Полномочия его захватывали и Уренскую область, где он когда-то губернаторствовал. Но эти края пока были захвачены армией Колчака.

— Ладно,— сказал князь,— без працы не бенды кололацы...

И вскинул на плечи мешок с миллионами.

На вокзале, в гаме и толчее, сразу попал в объятия мужичка. Кургузый тулупчик, на голове меховой треушек. А глаза глядели на Мышецкого — такие добрые, такие печальные.

— Кирилла Михайлович? — удивился Мышецкий.

Да, это был старый дипломат — Кирилл Нарышкин, известный при дворах Европы лучше, чем в России; Сергей Яковлевич недоверчиво оглядывал его тулупчик.

— Что вы здесь? — спросил.— А где же ваша семья?

— Семья — в Париже. А я — вот здесь.

— Неужели вернулись?

— Именно так: вернулся.

— Все бегут из России, а вы...

— Да! А я, если угодно, прибегаю. Я не могу остаться вне России, поймите... И я вернулся, чтобы раствориться в ней. Кто теперь отыщет Кирилла Нарышкина? Никто; я решил пропасть в глубине Отечества, неизвестный и маленький, но зато — р у с с к и й!

Сергей Яковлевич поцеловал его в обе щеки:

— Как это хорошо! Я тоже... никуда. Видите — вши? Это ужасно. Что происходит? Непонятно... Но я, Кирилла Михайлович, вас отлично разумел: только бы дали помереть здесь, на Родине...

Всю ночь мерзли в одном вагоне. На рассвете Кирилл Нарышкин вскинул на плечо котомку, взялся за палку. В окне виднелась пустынная станция, зябко дрожал одинокий фонарь. И тропа, едва пробитая в снегу, уводила куда-то в глухую российскую даль — прямо в жуткую неизбежность глухомани...

Сергей Яковлевич, плача, долго смотрел, как, спотыкаясь и падая, уходил по этой тропе Нарышкин и шел так во мгле рассвета, пока не растворился в ней навсегда... «Прощай, прощай!»

. . . .

Продразверстка! Изъятие у крестьян зерна в пользу революции, фактически ничем не платя за это зерно, ибо деньги обесценены.

Продотрядом командовал товарищ Копрецов, рабочий-металлист, человек жестокий и душевный единовременно. К бывшему князю он относился хорошо, ни разу не обидел подозрением, доверял. Между ним и бухгалтером установились ровные отношения, что помогало в работе... А работа—страшная, волчья, на слезах и крови. Вот придет отряд в село, начинают продармейцы втыкать в землю длинные щупы, разрывают подполы, копают сугробы — ищут зерно.

Не излишки зерна, а просто само зерно:

— Отдай,— говорят,— и не греши перед революцией...

Косо глядели мужики, выли бабы, когда уводили со двора последнюю коровенку. Сергей Яковлевич, замкнув свою душу на замок, подсчитывал, что взято. Выдавал расписки, но мужики швыряли обратно:

— Подотрись ты ими, сука очкастая!

Копрецов устраивал митинги, говорил о голоде среди рабочих, о всемирной революции, которая пламенем перекинется с России на Европу, и тогда везде будет так же хорошо, как в России. Он кричал, что советская власть вынуждена ввести продразверстку как явление временное, на которое нелегко было решиться... Но убедить было трудно: пустой хлев и амбар красноречивее всяких слов.

Сами же продармейцы сидели на голодном пайке. Копрецов был строг — ни себя, ни других не жалел. Раз в неделю даст хлеба маслом помазать, и на том спасибо. Но уже постукивали на задворках деревень кулацкие обрезы, уже летели камни в отряд продармейцев, уже приближался Колчак...

Однажды Копрецов отозвал Мышецкого в сторонку:

— Яковлич, — сказал, — ты бумаги прибереги. Коли нужда явится, уничтожь. Дела плохи... Сам вижу: сколько можно трясти мужика? Он и без того нищ. А мы его с двух титек сосем и третью ищем...— И, сказав так, сунул Мышецкому наган: — Возьми, бухгалтер. Всяко в нашей жизни бывает... А наших пытать стали. На березу — и костер под пятками! Так-то, мил человек... Прочувствуй!

Сергей Яковлевич оружие взял:

— Спасибо,— оценил подарок.— Не кажется ли вам, что мы неверно подходим с одной меркой и к кулаку и к середняку?

— Типы,— буркнул Копрецов,— середняка туда и сюда склонить можно. Он и бедняка сторонится, и на кулака оглядку имеет. А наше дело — хлеб революции! Давай, бухгалтер, не будем спорить...

Не стали спорить. Вечером из-за увалов Урала навалилась душная темнота, заплавали в тенях сугробы. Копрецов двери открыл на улицу — ему из берданки полный заряд в живот врезали. Успел, падая, закинуть дверь на крючок. Закорчился на полу в сенцах...

Собрались продармейцы:

— Видать, в Уфу надоть — тута врача нету...

Положили раненого на розвальни. Шура Петров, бывший студент, сел к лошадям. Мышецкий, положив рядом с собой винтовку, присел сбоку розвальней. Поехали. Морозило... Бежала дорога лесом, прядали ушами лошади, с подталых животов их свисали острые сосульки.

В проезжем селе смотрели на продармейцев как на собак: глазами, сощуренными в узкие щели — от ярой ненависти.

— Эй, куда путь держите, нехристи московские?

— До Уфы бы нам,— отвечал Шура.

— Ну-ну, катайте... Будет вам — и Уфа и лафа!

Стонал Копрецов, задирая к небу жуткое лицо с утонченным от страданий носом. Мышецкий часто снимал ему варежки, дыханием отогревал черные большие руки. Взглядом, полным отчаяния и тоски, Копрецов попросил князя нагнуться к нему — поближе — и шепнул:

— Спасибо... товарищ...

Светало уже. Из-под шинели Мышецкий достал пенсне, нацепил его холодный ободок на переносицу. Стоял вокруг лес и шевелил лапами. Тонко гудели провода. Одичало и пусто замерла природа. Встретился им мужик-порожняк на заиндевелой кобыленке.

— Куды-ыть вас прет лихоманка? — крикнул.— Стой, московские! Дале пути вам нетути: кулачье встало... Вертай взад, покеда целы!

— А — Уфа? — растерянно спросил Шура.

— Колчак в Уфе, там вешают вашего брата...

Шура вынул из соломы винтовку, вставил обойму, продернул стылый затвор, потянул за ногу начальника:

— Товарищ Копрецов, что делать?

Но молчал уже Копрецов, и Мышецкий сложил ему на груди черные, потрескавшиеся от сибирских морозов руки.

— Поворачивай, Шура,— сказал князь,— в отряд... к своим!

Объезжали кулацкие гнезда проселками, по брюхо в снегу, волокли сани на себе — не шли лошади. Спокойно и строго лежал Копрецов в розвальнях. Даже не шевельнется на ухабе — уже застыл, намертво схваченный морозом. Так они и выбирались — к своим.

Ночью продармейцев нагнали кулаки, засвистели пули. Лошади дернули — понесли по обочине. Шура и Мышецкий палили в кричащую тьму, покрытую матом, рвали кони, пока не опрокинулись санки. Куда делся Шура — так и не понял Сергей Яковлевич, но только слабенько щелкнул наган в его руке, и наступила сразу тишина...

Чиркнули спичку, прикрыв ладонями трепетный огонек, и осветили лицо князя — страшное, заросшее бородой и белое.

— В очках,— сказали кулаки,— сразу жида видать! Тяжело помрешь, Мойша, у нас жалости к большакам нету... Пошли, коммунар, мать твою растак, до осинки бы тока-тока выбраться!

Привели в деревенскую избу, посадили на лавку, обыскали.

— Гляди-ка,— удивились,— коммунар-то наш с крестом Божьим большакам служит... Да ты кто таков, паря?

— Бухгалтер продотряда...

Как дали в зубы — так и покатился с лавки. Встал, снова сел.

Из носа, стекая в бороду, густея, струилась кровь. «Ах,— думал он, вспоминая Нарышкина,—может, это и хорошо? Погибнуть вот здесь, чтобы затеряться в неизвестности, раствориться навеки в этих русских лесах, что шумят за окном...» Снова спросили:

— Говори — кто будешь, курва?

— Я уже сказал... И не надо, пожалуйста, выражаться.

— Тогда жди. Придет есаул, он тебе японскую пытку учинит...

Скоро пришел высокий колчаковский офицер, долго отряхивал снег с высоких фетровых валенок. Новенькая портупея поскрипывала на нем, полушубок был чистенький, из шкур телячьих. Отбросив голик, повернулся офицер к Мышецкому и сказал так:

— Ну, добрый вечер, князь. Вот и встретились!

Перед Мышецким стоял... Никoлопов.

— Вот уж не думал я, Вадим Аркадьевич, что вы станете офицером... Да и где? В армии Колчака... Что с вами?

— Вспомните наш старый разговор об алмазах. Этот погон на моем плече — еще одна грань алмаза! Видите, как сверкает? Да и где же

мне быть еще, князь? — Ениколопов скинул полушубок, добротный английский френч ладно облегал его располневшую к старости фигуру.— Адмирал,— продолжил он,— человек вполне демократических убеждений и скоро будет в Москве... А как вы? Может, войдем в белокаменную вместе, ваше сиятельство?

— Я недавно оттуда. Там уже полно демократов, и лишних даже высылают...

— Например... вас? — усмехнулся Ениколопов.

— Например, и меня, согласен...

Ениколопов задернул ситцевую занавеску, делившую избу надвое, перешел на таинственный шепот:

— Уж вам-то стыдно, князь. Стыдно. Ведь я знаю вас за человека передовых убеждений. Как вы оказались в стане большевиков?

— Служить России можно разно. Только бы в России — главное!

— России давно нет, а есть Совдепия,— возразил ему Ениколопов.— Любой дворянин сейчас знает, что Россия осталась только за Уралом да надвигается со всех сторон на Москву истинно русскими добровольческими армиями...

— Это очень печально, что на Москву, сердце всей России, надвигаются русские же армии... Что мне с того? — вздохнул Сергей Яковлевич.— Я могу не оправдывать своего поступка. Но вас, Вадим Аркадьевич, я тоже не оправдываю. Все гораздо сложнее, и я не берусь разобраться в том, чего не понимаю... Но часто мне приходит мысль: а может, так и надо?

— Нет, так не надо,— сказал Ениколопов, снова берясь за полушубок.— Пойдемте, князь, я выведу вас из деревни, ибо другим вашу особу не доверю: слишком много бедствий народу принесли именно вы — продармейцы...

Под звездами, провожая Мышецкого на дорогу, Ениколопов долго говорил о преемственности демократий. «Свою мы не можем создать, не доросли,— убеждал он князя,— таким образом, справедливо призвать на глупую Русь демократию из Англии, САСШ, Франции...»

Ениколопов достал револьвер, выстрелил. Мышецкий судорожно сжался всей спиной, но пуля ушла в глубокий сугроб.

— Все! — показал Ениколопов в сторону деревни.— Я, кажется, вас расстрелял, пусть так думают... Можете идти, князь, куда угодно. Но куда бы вы ни пошли — вы всегда будете потом раскаиваться, что не пошли вместе с Колчаком! Я не один у него уренчанин — с нами и Геннадий Лукич Иконников, он был бы рад вас встретить.

— Кланяйтесь ему от меня!

— Тогда я сказал, я кончил, я ухожу, я прощаюсь...

Сергей Яковлевич скинул треух с головы:

— Я тоже... Я тоже все сказал, кончил, ухожу и прощаюсь...

. . . .

Два тяжких года — самых трудных в истории Советской страны — Сергей Яковлевич прослужил на задворках бывшей империи, по крупице, по зернышку отвоевывая и собирая продовольствие для Красной Армии, отбивавшейся на все четыре фронта. Многое не нравилось Мышецкому в новой системе, не всегда ему встречались такие честные люди, как Копрецов, не могли убедить его речи большевиков-комиссаров, говорящих о будущем светлом рае социализма. Но зато не убедили его и враги, кишевшие вокруг, вроде Ениколопова.

Он остался верен себе, иначе — самой России и народу, который на свой лад он сильно любил, в величии которого он никогда не сомневался. Эта любовь к России, просеянная тонкой мучицей страданий, помогла ему выдержать и не сбежать. Не раз его подозревали в «контре», не раз грозили стенкой, но с угрозами и подозрениями он уже свыкся и научился как мог отражать удары судьбы.

Сергей Яковлевич видел, как некоторые бывшие сановники, из числа лицеистов и правоведов, чтобы спасти свою шкуру, втирались в до-

верие новой власти, больше других вопили на собраниях, носили на груди пышные красные банты. А потом, пробравшись в партию большевиков, сами же и вредили ей — по мере своих способностей. Мышецкий не делал этого, не лез вперед с речами, ограждал себя — сознательно — от общения с такими «попутчиками»: они были ему неприятны, для них он подобрал хорошее веское слово — «рептилии».

Начальники попадались ему разные. Анархизм был еще в моде, у господ анархистов было много заслуг перед революцией, и вот один из них, некий тип, по кличке Мухомор-Черняга, здорово испортил голубую кровь Мышецкого. Один стакан самогонки — ничего человек, два стакана — еще можно разговаривать. Но как третий хватит с мороза, так сразу за наган и — орет благим матом:

— Подáть сюда эту княжью контру!

Продармейцы прятали Мышецкого где-нибудь в укрытии, пока хмель не вышибало из анархической башки. Выбрав трезвую минуту, Сергей Яковлевич в один из весенних дней 1921 года сдал своему начальнику полный отчет, попрощался и сказал:

— Ну, а теперь попрошу от вас «спасибо».

— Ну, спасибо,— хмуро буркнул Мухомор-Черняга.

— Вот и все! — Мышецкий застегнул на себе красноармейскую шинель.— Можете мне верить: это ваше «спасибо» есть единственное, что я заработал за эти годы... Я согласен даже унизиться: можете обыскать меня, но, кроме вашего «спасибо», ничего не сыщется...

Стучали колеса теплушек. В раскрытых дверях вагонов, свесив ноги в солдатских обмотках, катался Сергей Яковлевич по стране, начинавшей оживать после разрухи. Было ему всего сорок шесть лет, но казалось, что жизнь уже перекинулась на старость: нелегко дались уральские да сибирские ночи, просверленные ночными выстрелами. Колчак кончился, и... «Где-то сейчас Ениколопов? А куда бежал Иконников? Где-то они все, мои уренчане?..»

Никто сейчас не узнал бы в сухом, жилистом человеке, подбиравшем на перроне махорочный окурок, бывшего князя, бывшего губернатора и камергера. Он был н и к т о — просто так, человек («бывший»).

Продразверстка была заменена налогом: деревня стала крепнуть, наливались на бахчах арбузы, вжикали на рассветах косы, подсекая росные травы, послышались над новой Россией новые песни. И ехали обозы. Из деревень — в город, кидали бабы ему румяное яблочко:

— Эй, прохожий, кусни-ка.

— Благодарю! — ловил Мышецкий яблоко, раскусывал его сочно...

НЭП! Залоснились вынутые из сундуков шубы — бобровые, засверкали на пальцах перстни — припрятанные. Но это его не касается. Пускай сами разбираются как хотят. Он искал медвежьего угла, где бы можно было пристроиться на скромное жалованье и затихнуть. Такой городок, тихий и ласковый, весь утонувший в яблонях, он и отыскал однажды, входя в него на рассвете. Пели петухи, визжали телеги. Большая свинья, волоча отвислые титьки, перебегала дорогу.

На крыльцо обветшалого особняка вышел человек с челкой на лбу, сам в ярко-малиновой куртке, бренчала по ступеням длинная сабля.

— Эй... ты! — позвал он Мышецкого.

— Меня?

— Да, тебя. Документы...

Сунул документы в карман, не читая, и сказал мрачно:

— Заходи давай, будь — как дома...

ЧК! Без лишних разговоров кинули в общую камеру. Сиди!

Много повидал за эти годы Сергей Яковлевич, немало видел людских страданий, не раз слышал свист пуль. Но такого еще видеть не приходилось. Ни в чем не повинных людей расстреливали пачками, волокли женщин на казнь, и они бились на полу в истерике:

— За что? Я справку пришла получить, я только за справкой!..

Мышецкого на допросе избили до потери сознания. Допрашивал его какой-то грузин лихого вида — весь в красных бантах.

— Вэрны дэнгы! — кричал он. — Тэ, что ты, паразыт, с чэстный трудовой народ грабыл... Вэрны цэнность!

Сергей Яковлевич, облитый водой, лежал на полу, медленно приходил в себя.

— Примитивное мнение о князьях... Не все же были князьями Юсуповыми, я жил только жалованьем, бывали князья и нищими на Руси!

— Кназ? — кричал грузин. — Я сам кназ, мэна вся Грузыа знаэт. Вэрны дэнгы!..

Вечером начальник ЧК, одетый в малиновую куртку, вызвал его к себе. На столе лежала груда свежей, только что пойманной в реке рыбы: окуньки, шестоперы, попался и один налимчик — толстенький такой, жирненький... Мутно зеленела в бутылках самогонка.

— Чисть,— сказал малиновый гад.

— Не стану,— ответил Мышецкий.

— Это почему же ты не станешь, коли я тебе приказываю?

— А потому, что ты — хам... Хам, хам, хам!

Начальник повернулся к своим собутыльникам:

— Орлы,— сказал,— завтра и этого... в расход!

Ночью Сергей Яковлевич крепко спал. А утром приехали московские чекисты и стали, ни слова не сказав, расстреливать местных «чекистов», как бешеных собак. Целые полчаса стучали кольты и браунинги, добивая сволочей, прятавшихся по углам и огородам. Трупы кидали на дворе навалом — без паники и сантиментов. Словно цветок на куче навоза, цвела сверху груды убитых малиновая куртка.

Потом в коридоре раздался чей-то голос:

— Ты кто? За что? Выходи... Мадам, не плачьте, вы свободны... А вы, гражданин? Можете идти тоже... А вы, отец? Идите с Богом...

Медленно приближались шаги к камере Мышецкого, лязгнул запор, вошел высокий, костистый большевик в кепке:

— А вы? — спросил. — Кто? За что?

— Видите ли, товарищ, я — как бывший князь Мышецкий — не могу сказать вам конкретно, за что меня захомутали...

— Тогда посидите,— сказал чекист,— потом разберемся!

И уголочком рта, скупо сжатого, чуть-чуть улыбнулся князю как хороший знакомый. Вскоре он вызвал Мышецкого к себе в кабинет. На том столе, на котором ему предлагали чистить рыбу, теперь навалом, как хлам, лежали дела арестованных местными «чекистами».

— Искал я вот здесь ваше дело, князь. Но разве же тут найдешь? Послушайте, не могли бы вы сами разобраться в делах? А? Заодно и с вами выясним, что и как...

— Если изволите,— согласился Мышецкий.

Московский чекист разлил по кружкам чай, положил два кусочка сахару, и вспомнилась Лиза, Лизонька, которая его разлюбила. Сергей Яковлевич присматривался к горбоносому профилю чекиста:

— А вас,— спросил,— прислал, наверное, Дзержинский?

— Да. Владимир Ильич обеспокоен тем, что враги народа сумели пробраться даже в ЧК; на Украине и вот в таких глухих местах, как здесь, они, будучи созданы слишком рано, принесли тьму зла людям, ни в чем не повинным. Вы даже не знаете, князь, сколько врагов у советской власти!

— Простите, но отчего вы меня постоянно величаете князем?

Чекист вдруг весело рассмеялся:

— Да потому, что... по привычке! Я ведь, Сергей Яковлевич, знал вас князем и губернатором в Уренске... Казимир Хоржевский,— протянул он руку,— неужто не помните? Я был в Совете — вместе с покойным Саввой Кирилловичем... Ну, вспомнили?

— Извините... нет.

— Ну, ничего. Машинистов в депо ведь много было. Могли и запамятовать. Да и я после каторги сильно изменился... Садитесь же, Сергей Яковлевич, выпейте со мной чаю и беритесь за работу...

Охрану с него как-то незаметно сняли. По вечерам он гулял в садике ЧК, ходил за кашей на кухню и ел за одним столом с московскими чекистами. Он слушал их боевые рассказы, они с удовольствием выслушивали его истории — придворно-служебные анекдоты. А ночевал Мышецкий по-прежнему в камере, где сидели спекулянты и самогонщики, которых Хоржевский потом — без паники и сантиментов — всех перестрелял. Целый день, с утра до позднего вечера, как на службе, Сергей Яковлевич разбирал местный архив, расставлял по полкам скорбные «дела». Нашел и свое — показал Казимиру:

— Вот, полюбуйтесь: я — «расстрелян».

Хоржевский ознакомился с документами, кое-что расспросил, и Сергей Яковлевич поинтересовался:

— Вы меня долго ли будете проверять?

— Зачем? Вам советская власть уже однажды доверила. И я вам верю. Да и документы говорят за вас...

— Выходит, вы и на слово мне верите? — удивился Мышецкий.

— А почему бы и нет? — спросил Хоржевский.— Как жить тогда, как управлять страной, если не верить слову человека? Мы же не волки серые! Мы — люди! Мы обязаны верить... Без этого нельзя.

Из тощей папочки, поверх которой кляксой стояло «расстрелян», выгреб большевик все документы, отдал их Мышецкому. Взялся было за перо, но тут же опустил его:

— Знаете, Сергей Яковлевич, не буду я писать вам, что вы были задержаны местным ЧК... Разные есть люди — еще придерутся потом! Да и вам ни к чему это, зачем бумаги пачкать?

Смотрели на князя жесткие, спокойные, но чистые глаза хорошего человека, всё понимающего. Глаза, которым суждено потухнуть в тридцать седьмом году в застенке Ежова — Берии.

. . . .

Но устами Казимира Хоржевского мед не удалось пить.

Жернова классовой борьбы еще вращались, и князь Мышецкий, как «бывший», не раз попадал между ними, жестоко истираемый в порошок.

Не однажды его забирали, проверяли и выпускали. Ни фамильных бриллиантов, ни сбережений, закопанных в лесу, ни таинственных связей с заграницей за Мышецким не замечалось. Но личное знакомство с организаторами «Промпартии», профессорами Рамзиным, Рязанцевым и Каратыгиным, привлекло к нему более пристальное внимание ОГПУ, и на этот раз Мышецкий был препровожден в Москву, где его держали в тюрьме на Таганке полтора года...

Был чудный весенний день, когда Мышецкого провели в кабинет на Лубянке. Сергей Яковлевич чуял окончание следствия; князя принял полный круглолицый человек в вышитой крестиком рубашке, с аккуратными руками природного интеллигента. Смотрел он на Мышецкого из-под стекол пенсне, а на столе у него было полно словарей, начиная от китайского и кончая персидскими наречиями.

Это был Вячеслав Рудольфович Менжинский...

— Вот ваше дело,— сказал Менжинский, кладя руку на пухлую папку.— Здесь всё, что вас может волновать и трогать. Честно скажу: я тоже был растроган, проследив вашу судьбу по бумагам. Здесь всё — с самого начала... Еще со справки тверского предводителя дворянства при вашем поступлении в «Правоведение». И до вырезки из «Биржевых ведомостей», где ядовито сказано, как вы кутили в Париже с кокоткой Ивонной Бурже... Мы знаем вас отныне, гражданин Мышецкий, так, как вы не знаете себя сами! Садитесь, пожалуйста, нам надобно серьезно переговорить...

Мышецкий сел, с испугом провалившись в глубину кожаного кресла, так что высоко вскинулись его худые коленки.

— Вы,— продолжал Менжинский,— не должны обижаться на нас за все те передряги, которые вам доставила советская власть. Идет страшная ломка — в стране, в людях. Даже в природе. Иной раз удар падает и напрасно. Вы же человек удивительно путаный. Если я напомню вам некоторые факты вашей жизни, думаю, вам станет стыдно. Вы не смогли остаться до конца даже либералом! Однако мы не видим причин не доверять вам. Вы не станете нашим другом. Но не станете и нашим врагом. Советская власть учитывает, что ей предстоит жить и работать с такими людьми, как вы, тоже. И за воротник к подвигам мы вас не потянем...

— Не надо,— сказал Мышецкий.— Я не люблю, когда меня тянут.

Менжинский улыбнулся и заметил с явной укоризной:

— Но и вы, сударь, хороши тоже! То мы вас выуживаем в Туле, то вы попадаетесь в Ставрополе... Осядьте же наконец и займитесь полезным делом. И хочу дать вам один совет...

— Я вас слушаю,— вытянулся Мышецкий из глубины кресла.

— Не надо вам, Сергей Яковлевич, хаять советскую власть. Нам известно, что вы не раз выражали недовольство ею. Поймите: власть народа сейчас достаточно сильна, чтобы не бояться наговоров. Но вам, л и ч н о в а м,— подчеркнул Менжинский,— эти выступления могут принести осложнения. Вы же неглупый человек! Думайте о власти Советов что вам угодно — хорошо думайте, плохо думайте. Но не следует вам привлекать к себе внимание наших людей. У нас и без ваших анекдотов много работы! Давайте так и договоримся... Вы согласны?

— Отчего же,— ответил Мышецкий.— Я согласен. Но анекдоты бывают о вашей милости и презабавные!

— Да,— кивнул Менжинский без улыбки.— Эти анекдоты тем более забавны, что я почти каждый день встречаюсь с теми людьми, которые эти анекдоты и придумывают...— После чего спросил Мышецкого совсем о другом: — Скажите, вот у вас семья сейчас в буржуазной Латвии... Может, вы желаете подобру-поздорову выехать от нас за границу? Мы вас держать не станем — выпустим...

— Нет, нет, нет,— горячо заговорил Сергей Яковлевич.— Что угодно, только не изгоняйте. Пусть плохо, пусть так, но только чтобы здесь... Ведь я понимаю: туда — выпустите, обратно вы меня уже никогда не впустите. А я слишком русский человек...

— Изгонять вас,— ответил Менжинский,— мы тоже не собираемся. Живите в стране Советов, но только делайте что-либо. Трудитесь! Вы же умеете работать, мы это знаем... Знаем, как в девятьсот четвертом году вы пропустили через Уренск наплыв партий переселенцев. Нам известно, как ретиво трудились вы на благо монархии при Государственной канцелярии императора...

Случайно перехватив взгляд Мышецкого, устремленный на словари, Менжинский вдруг с нежностью сказал:

— Да, это я для души. Взялся вот за двенадцатый, самый сложный — китайский. Впереди еще два — персидский и турецкий... Хорошая гимнастика для души... А — вы?

— Три языка. Главные. Чуть-чуть — итальянский.

— Вот и ступайте по этой части.

— Кто же меня, «бывшего», возьмет?

— Еще как возьмут! — сказал Менжинский.— Я напишу...

И написал — кратко — на бланке:

«Управлению НАРКОМПРОСА. Предлагаю трудоустроить гражданина С. Я. Мышецкого (беспартийный), лично мне знакомого. За лояльность его по отношению к Советской власти я ручаюсь...»

— Теперь,— засмеялся Менжинский,— вы не подведите поручителя.

— Только вы не подведите,— ответил Мышецкий.— Я сейчас выйду от вас, а через месяц меня снова притянут к Иисусу...

— Сергей Яковлевич,— строго сказал Менжинский,— верьте мне: больше вас никто и никогда не тронет...

Слова Менжинского оказались пророческими.

. . . .

Несколько лет проработал в сельских школах колхозной провинции, после чего подался в Санкт-Петербург, в Питер, в Петроград, ныне носивший имя человека, «который (как говорили люди бывшего света) и устроил всю эту заваруху!»

На улице Восстания (бывшей Знаменской), если идти от проспекта 25 октября (бывшего Невского), стоял по левой стороне большой дом (бывший Павловский институт). В тридцатых годах, как и сейчас, там размещалась школа, и в ней-то Сергей Яковлевич стал учительствовать по мере способностей.

Школа эта считалась чем-то вроде опытного участка. К ученикам было отношение как к подопытным кроликам. Экспериментировали вовсю! В период появления Мышецкого широко проводился в жизнь «Дальтон-план», внедряемый левацкими идиотами. Суть этой методы сводилась к следующему: избирали из класса одного балбеса, одаренность которого выявлялась скоростью, с какой он решал шарады и головоломки. Например, продернуть ключик через веревочку! После чего выставлялись из классов парты, все ученики гоняли лодыря на дворе, а один избранный «гений» должен был отвечать уроки за весь класс. Мало того, педагог становился сам экзаменующимся, отвечая на вопросы одаренных олухов.

Всю эту галиматью проводили в жизнь педологи, старые девы или, наоборот, слишком молодые люди, кричавшие, что Пушкин нам давно не нужен, если уже есть Юрий Либединский с его повестью «Неделя»! Ученикам же «Дальтон-план» очень нравился, ибо детство есть детство, и всегда приятнее гонять лапту на дворе, нежели сидеть в классе и не вертеться. Но каково было учителям?..

Мышецкий был не одинок в своем возмущении. Такие отличные педагоги, как преподаватель литературы Александр Иванович* и географичка Елизавета Ивановна Бронзова, всеми силами, идя на риск, противостояли этому крайнему опыту зарвавшихся педологов. С каким умилением вспоминал Сергей Яковлевич сельскую школу, где колхозные детишки, славные и умные, выслушивали стихи Пушкина и Некрасова, бойко решали в самодельных тетрадках задачки.

А вместо этого здесь, в бывшей столице, где каждый камень пропитан высокой поэзией, собирались галдящие ученики, устраивали суд над Евгением Онегиным, называли Пушкина «отрыжкой буржуазии», несли ахинею, которая непонятно каким образом могла уместиться в детских головах. Если же Мышецкий начинал отстаивать свое право быть педагогом — учить!— ему устраивали обструкцию... Конфликт зашел слишком далеко, и самое обидное, что из числа старых гимназических педагогов, из числа тех, что дрожали за свою шкуру, нашлись некоторые, которые «сверхреволюционно» отстаивали именно дикий «Дальтон-план».

— Вы как педагог,—внушали ему,— должны доверить себя одаренности детей!

— Одаренности или одуренности, мадам?

— А вы предлагаете вернуться к буржуазному методу преподавания? — спрашивали его педологи, явно провоцируя.

* К сожаленню, мне не удалось установить его фамилию (*здесь и далее прим. автора*).

— Послушайте, — возмущался Мышецкий, — а кто вам сказал, что учить детей последовательно, без бахвальства и разумно,— есть буржуазный метод?

— Зато «Дальтон-план» развивает инициативу детей!

— Даже слишком развивает,— не уступал Сергей Яковлевич.—Педагогу остается ничего не делать. Я не верю в левацкие методы обучения, существует классика и в педагогике, как и в искусстве! Мы к ней обязаны вернуться...

Приехало важное начальство, чтобы рассудить, кто прав, кто виноват. Некий товарищ Лучезарный... Мышецкий ахнул, когда увидел в лице инспектора Лучезарного уренского господина Б о б р а. Бобр постарел, но с каким апломбом говорил, как мастито держался! Портфель у него был словно сундук, носил Бобр ныне скромную партийную «сталинку» и парусиновые баретки на резиновой подошве.

На педсовете, на котором обязательно должны были присутствовать и ученики (вот ужас-то!), Бобр учинил разгром Мышецкому:

— Мы знаем вашу реакционную сущность, — намекнул он педсовету, — мы видим, чем вы дышите... В такие великие времена, когда весь наш народ под руководством великого товарища Сталина идет прямо в пожар мировой революции, находятся еще некоторые попутчики, вроде гражданина Мышецкого... А нам бы интересно знать, что делал гражданин Мышецкий до восемнадцатого года?

— Пусть он ответит нам,— сразу оживились ученики.

— Я, учитель, не стану отвечать ученикам,— вспыхнул Мышецкий.

Улучив момент, он перехватил в коридоре Бобра-Лучезарного:

— Не стыдно вам, сударь? — сказал Бобру.— О великих временах не вам бы судить. И не вам, только не вам, кричать...

Бобр побагровел, баретки его скрипели.

— Вот оно, вот оно,— ответил.— Вижу лицо двурушника и несознательного попутчика. Извините, князь Мышецкий, но я вынужден пойти куда следует и доложить о ваших настроениях...

— Эх вы! — покачал головой Мышецкий.— Неужели в гимназии вас ничему не научили? Первый урок в первом классе в Твери — я отлично помню его заветы: не фискаль — вот главное!

— Однако...

— Что «однако»? — Мышецкий был уже калач тертый, шинель поносил изрядно.— Попробуй,— сказал он Бобру,— попробуй, и я скажу, как ты хоругви таскал по Уренску...

Всё! Прощай, школа, прощай, дикий «Дальтон-план». Зато как был рад Сергей Яковлевич, когда вскоре всех педологов разогнал товарищ Киров, и образцово-показательная школа на улице Восстания стала вдруг «трудновоспитуемой». И всех оставили на второй год, чтобы переучивались. Снова вернулись к классике: учитель учит — ученики учатся.

— Чем велик Пушкин? — спрашивали, и попробуй не согласиться: двойку тебе — раз, и всё в порядке...

. . . .

Прошлое уже запорошило в памяти — прошлое отодвинулось.

Осталось насущное, ежедневное. Жить было трудно, денег мало, продукты по карточкам. Сергей Яковлевич вина не пил, жил скромно. На шее у него, перекрученный в веревочку, болтался жиденький галстучек. В руке портфельчик из пожарного брезента. Чувствовал он себя хорошо. Даже очень хорошо для его лет. Он окреп, говорил тихо, всегда был вежлив со всеми. Иногда же прошлое хватало его за ноги, тянуло за собой. Так, не однажды, встречаясь на улице с «бывшими», он получал приглашения, сказанные шепотом:

— Умерла княгиня Барятинская, завтра у Николы отпеванис... приходите, будут только свои.

Иногда приходил. Лежала в гробу, укрытая флером, княгиня Ба-

рятинская, которую Мышецкий помнил еще молодой львицей, а возле гроба бабушки стоял ее внук Алеша Барятинский — комсомолец и курсант Артиллерийского училища.

Жизнь брала свое — печали прошлого опадали с души почти неслышно, как осенние листья. Дереву даже не больно: всему есть срок очищения. Одному был рад Сергей Яковлевич, что мудро поступил в 1918-м — не бросился бежать по льду Финского залива в Териоки, а потом и дальше: в Париж или Буэнос-Айрес. А иные сейчас слали горестные письма из Кейптауна или Алжира — березка, русская березка да печаль родимых полей мучили их в бесплодных скитаниях.

Как-то Мышецкий получил через почту письмо и был поражен:

«Осенив Себя Крестным Знамением, объявляю сим всему Народу Русскому... Российские законы о Престолонаследии не допускают, чтобы Императорский Престол оставался праздным... А посему Я, Старший в Роде Царском, Единственный Законный Правопреемник... Сына же Моего, Князи Владимира Кирилловича, провозглашаю Наследником...»

И подписано: «Царь КИРИЛЛ 1-й».

Сергей Яковлевич был возмущен: почему ему не доверяют? Воображение его сплело целую хитроумную паутину. Ивонна Бурже путалась с Владимировичами, как раз с этим Кириллом, ОГПУ знает о шашнях князя с Ивонной, отсюда и вывод.

Захватив «манифест», он отправился на площадь перед Зимним дворцом, просил следователя принять его безотлагательно.

— Как вам не стыдно! — сказал Мышецкий.— К чему эта неумная провокация? Если вы мне верите — так и верьте. А за «манифесты» мне доставалось еще при Его Величестве. Я им отныне не верю!

Следователь показал ему целую пачку таких «манифестов»:

— Вот! Не вы первый... И не мы вас провоцируем, а действительно сам «царь» Кирилл пишет вам из Парижа, чтобы вы знали — царь уже имеется... Что вас смутило, гражданин?

— Но откуда Кириллу знать, что я проживаю на Софийской улице, дом два, когда Кирилл никогда и не был на этой улице?

Следователь листанул старый справочник «ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГ»:

— Вот и вы, Сергей Яковлевич, церемониймейстер и помощник статс-секретаря, Фурштадтская, четырнадцать, со второго подъезда... Так и подбирают из тех, кто был на виду в прежнее время. Ну, нашли и Софийку, это нетрудно — через справочный стол.

— Вы, пожалуйста, сделайте так,— сказал Сергей Яковлевич, успокоенный,— чтобы царь Кирилл более не писал мне. Я и в старые добрые времена не считал его за джентльмена, а теперь... Право, пусть он больше не пишет!

Софийская улица — всего лишь проулок, что углом выходит с Международного (бывшего Забалканского) проспекта на Обводный канал, а вдоль всего проулка тянется большой коммунальный дом, в нем-то и проживал отныне Сергей Яковлевич в квартире из трех комнат, занимая одну из них по праву социального распределения.

Вошел как-то сосед, рабфаковец Коля, и сказал:

— К тебе, Сергей Яковлевич, старушка какая-то... Выйди.

На пороге уже стояла старуха, чем-то отдаленно похожая на него самого, на бывшего князя Мышецкого. Грязные обрывки фуфайки покрывали ее согбенную фигуру, а седые патлы волос свисали из-под ситцевого платочка.

— Д о д о? — заплакал Сергей Яковлевич.

Додо швырнула на кровать нищенскую котомку:

— Я, милый, я... Сережа, была я там, куда и ворон костей не заносит. Прошу тебя...

— О чем, Додо?

И сестра поклонилась ему со страшной улыбкой:

— Не изгони! — сказала.— Более идти некуда...

Жизнь пошатнулась. Додо пропадала на барахолке, что-то маклачила, что-то организуя, что-то секретничая от брата. Но результат спекулятивных напряжений был один и тот же — всё пропивалось.

Додо — тоже было то старое, что хватало его за ноги, увлекая назад... «А что делать? Ведь и правда: не изгонишь...»

. . . .

После конфликта с Бобром Сергей Яковлевич на некоторое время вернулся к пиле и топору, памятным еще по отсидке в «Крестах», пилил и колол дрова по дворам Ленинграда. Заработок был вполне приличный. Потом он устроился на «Ленфильм»... Кем? Он и сам точно не мог сказать, кем являлся, но все относились к нему с уважением. Например, снимается какой-либо фильм из прошлого...

Сергей Яковлевич иногда вмешивался, говоря:

— В сценарии, товарищи, сказано: дом среднего дворянского достатка... Так? Но вот у вас на стене висит портрет дедушки героини фильма. Так? Какой же это орден? Андрея Первозваниого — такие ордена давали право на третий класс по Табели о рангах. Следовательно, дом уже не может быть среднего достатка... Значит, или дом высшего достатка, или убрать этот портрет!

Или так:

— Что это у вас, товарищи? — говорил Мышецкий.— Дама высшего света сидит в первом ряду театра! Ну разве же станет дама высшего света сидеть в первом ряду? Никогда... Это же неприлично, это— низкий пошиб. Первый ряд занимают всегда биржевики, купцы и вообще все те люди, вкус которых сомнителен...

Отношения с коллективом у Мышецкого были хорошие. Работа ему нравилась, никто не колол ему глаза словечками «бывший» или «попутчик». Да и сами слова эти уже выветрились — появилось новое грозное сочетание: «враг народа». От хорошей жизни Сергей Яковлевич даже завел маленький роман. Не с актрисой, конечно, а с осветительшей. Рубенсовские формы бой-бабы, которая с грохотом биндюжно двигала прожектора, приводили князя в умиление. Но роман был чисто платонический — без черемухи и соловьев, под слепящим светом кинопрожекторов... Советская кинематография делала тогда успехи небывалые, покоряя мир своими боевыми глубокими фильмами, и Мышецкому было приятно ощущать отблеск этих побед на своем скромном челе «консультанта»... Ладно, каждому свое воздастся!

В последний день пятидневки (тогда не было еще недельного счета времени) Сергей Яковлевич гладился, чистился, брился тщательно и выглядел вполне приличным «совслужащим». Свободные дни он посвящал визитам вежливости.

В доме Сабанеевых его принимали как своего, и милая состарившаяся Лиза, любовь его юности, поила его крепким чаем с лимоном. Уклад семейной жизни четы Сабанеевых был прочен, чист, без изъянов. Сергею Яковлевичу было приятно бывать в этом доме со старинной мебелью, с портретами предков, пожухших от времени, где чай сервировался на посуде с инициалами прадедов и прабабушек. Сам же глава дома, адмирал Сабанеев, был вполне доволен судьбой и тем, что в 1918 году связал свою жизнь с советским флотом.

Он уж командовал не дивизионом, а бригадой эскадренных миноносцев, хвалил устои комсомольской дисциплины на флоте, тягу молодежи к технике и знаниям. Сабанеев еще в конце двадцатых годов вступил в партию большевиков, и Мышецкий понимал: этот поступок не имел никакого нажима и не знал секрета потаенных пружин самосохранения — адмирал был человеком честных, прямых взглядов, он делал то, что хотелось делать от чистого сердца.

Но однажды летом Сабанеев вернулся из Кронштадта чем-то сильно озабоченный, и Елизавета Васильевна кинулась к нему с испугом:

— Асафий! Случилось нехорошее... да?

Сабанеев рассказал, что была чистка в партии, и его исключили.
— За что?
В ответ моряк хмуро поведал:
— Меня отнесли к разряду «пассивных». Да, я не пою дифирамбов на собраниях, что Сталин велик и гениален, как Всевышний. Но я не пел хвалу и Его Величеству при старом режиме. Я — моряк, мое дело — миноносцы. Чтобы корабли были всегда готовы к войне. Вот моя задача как адмирала... и — как большевика, если угодно...
— Что же вы намерены делать? — спросил Мышецкий.— Уйдете?
—Ни-ко-гда! Флот есть флот, и его назначение мне хорошо известно: война на море. К этому готовлюсь сам, готовлю и своих ребят на эсминцах... Пусть так: пассивный на собраниях, я буду активным в деле подготовки своей бригады к боям... Если, конечно,—добавил угрюмо,— бригаду у меня не отнимут!
Но иногда Мышецкий покупал букетик ромашек или флакончик одеколону — шел на Рузовскую улицу, где жила Сана, друг его уренской эпопеи. Сана была вторично замужем за пожарным (у нее издавна была какая-то окаянная страсть к пожарным), вместе с нею рос ее сын, Володя Бакшеев, славный малый, работник райкома комсомола и заочник Ленинградского университета.
В этом доме жизнь носила иной уклад — более приниженный к земной плоскости. Сана пекла пышные пироги с треской, супруг ее, Иван Васильевич, ловко вышибал ладонью пробку из поллитровки. И приходили гости: соседи по квартире или сподвижники по героическим тушениям пожаров. Заводили патефон (тогда патефоны входили в моду) и до беспамятства слушали, как «расцветали яблони и груши» или Леонида Утесова: «Раскинулось море широко...»
Вместе с пожарными, раскрасневшись от рюмок, подпевал и Сергей Яковлевич — душевно и надтреснуто:

...и волны бушуют вдали,
Товарищ, плывем мы далеко..

Потом он уходил в комнату к Володе, а добрейший Иван Васильевич, муж Саны, шепотом говорил своим приятелям про него:
— Голова! В губернаторах был... С самим царем вот как мы сейчас — запросто. Теперь кином вертит...
Володя, Санин сын, нравился Мышецкому — было в нем что-то добротное, он создавал свою жизнь руками: кирпичик к кирпичику. И росли знания — рос человек. Мышецкий помогал ему во французском языке, «натаскивая» Володю в разговорах, которые вел радостно.
Но однажды Володя попросил его:
— Сергей Яковлевич, вы уж никому не говорите, пожалуйста, что моя мама держала в Уренске молочную торговлю. Я везде пишусь в анкетах как сын прислуги...
Поздно вечером шел из гостей к себе на Софийку бывший князь Мышецкий, ныне совслужащий. И к этим маленьким людям Сталин уже подобрал определяющее их слово: в и н т и к и! — слово, впрочем, весьма унизительное для человека. Следует отдать справедливость этим «винтикам» — в тридцатые годы они вращались очень быстро: СССР с утра до ночи стоял на лесах.
Не признать успехов советской власти не могли даже бывшие кадеты, вроде Милюкова, даже сын адмирала Колчака выступал в эмиграции за СССР, невольно восхищаясь подвигами советского народа. В белой эмиграции, особенно среди молодежи, громко говорили о возвращении на Родину, упрекая родителей:

Зачем меня девочкой глупой
От страшной, родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли?..

Это явление было добрым знаком всего того положительного, что делалось в нашей стране тогда — под водительством Сталина.
. . . .
Трудно забыть этот день — первое декабря 1934 года: в этот день в коридоре Смольного неким Николаевым, членом ВКП(б), выстрелом из револьвера был умерщвлен человек, которого любили и знали все ленинградцы, вся страна... Киров! Просто — Мироныч...
Я был еще мальчиком, но до сих пор вижу, как будто сегодня, балкон наш в доме № 70 по Международному проспекту, я стою возле окна, а вдоль проспекта, обжигаемые лютым морозом, двигаются к Смольному рабочие «Скорохода» и «Электросилы». Не знал я лишь тогда, что где-то в толпе взволнованных людей, стоявших на панелях, мерзнет и мой герой — Сергей Яковлевич Мышецкий; он тоже был взволнован, заражен общей тревогой народа, а факелы двигались вдоль темного проспекта, уплывая в даль Международного от самого Пулкова, и было что-то жуткое и пророческое в этом колыхании дымного пламени...
Потом до утра сидел Мышецкий на кухне со своим соседом Колей, жгли они папиросы и спички, говорили. Тихо и приглушенно. Говорили о «врагах народа». Коля обрисовывал перед Мышецким страшную картину вредительства: масло есть нельзя — в нем толченое стекло, ездить на поезде опасно — враги народа разбирают рельсы. Всюду враги — всюду, всюду! В каждом человеке надо докопаться до его сущности, и тогда увидишь, что он совсем не то, за кого себя выдает. Все притворяются преданными, а на самом деле...
— Сажать их надо! — сказал Коля под утро.— Пусть останутся только преданные... А про тебя, Сергей Яковлевич, думаю часто: хороший ты мужик, но черт тебя разберет, кто ты такой?
— Коля, — попросил Мышецкий, — не надо... Не надо так. Зачем ожесточать свое сердце? В мире и без того много горя. Посмотри, как ты живешь, Коля?
— А как живу?.. Мы самые счастливые люди на свете!
— Верно. Жена и ты спите в одном углу, на голове у вас лежит счастливая теща, а дети — под кроватью. Надо Россию строить. Строить надо, а не болтать! Вот и Ленин, я ведь знал его за блестящего статистика, он тоже говорил — стройте. А ты... сажать?
— Ты, Сергей Яковлевич, ни хрена в политике не смыслишь!
— Это верно. Я знаю очень мало. Вы, молодые, забьете меня цитатами. Но вот я читал «Завещание» Владимира Ильича, где сказано...
— Это какое же завещание? — спросил Коля.— Уж не контра ли?
— Нет, не контра. Ленин дал характеристику Сталину, чтобы до руководящей работы в партии его не допускать. Ибо он своеволен, капризен, подозрителен и любит загребать себе необъятную власть. И сейчас он — диктатор, только себя любит, себя слушает...
Коля сразу соскочил с плиты, погасил окурок:
— Вот что, Яковлевич, пора спать... И давай так условимся: между нами никакого разговора не было. И ты мне про это завещание никогда не говорил. Знать ничего не знаю.
— Ну, ладно,— согласился Мышецкий.— Я действительно ничего не говорил. Мы ведь только соседи...
Ленин указывал в своем историческом «Завещании», что нетерпимость Сталина, его невежливость, зазнайство — всё это «не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение». Кажется, пророчество великого Ленина уже начинало сбываться: сумма мелочей, составляющих характер Сталина, уже оказывала на общество свое решающее значение.
Я помню от тех времен плакаты, расклеенные по городу: стоит бодрый Ежов и в ежовых рукавицах давит какого-то хилого интеллигента в очках и старомодных ботинках. Судя по морде Ежова, ему это занятие очень приятно, но бедному интеллигенту пришел капут. Бдитель-

ность «рыцаря революции» Феликса Дзержинского обернулась вдруг «ежовыми рукавицами», которые давили правых и виноватых. Из машины государства выскакивали каждую ночь «винтики», западая в щели застенков, и те «винтики», которые бывали порой маховыми колесами,— без них машина двигалась с трудом, едва поскрипывая. Но Сталин голословно объявил:

— Незаменимых людей нет! — И, поверив, ему долго аплодировали.

В эти годы люди научились не ходить друг к другу в гости, озирались и переглядывались: кто тут враг? Кого возьмут в эту ночь?

Однажды Мышецкого вызвали в отдел кадров. Пошел.

И уж Отечества призванье
Гремит нам: «Шествуйте, сыны!»

За столом сидели, помимо начальника, еще двое. Весьма подозрительных типа, которые доверили разговор начальнику, а себе оставили только премудрое исподлобья глядение. Волки, а не люди!

Вот и первый вопрос — весьма знаменательный:

— Гражданин Мышецкий, расскажите нам, как вам удалось пробраться на работу в киностудию и заявить себя хорошим работником?

— Я подал заявление, — ответил Мышецкий, — приложил фотокарточку, заполнил анкету... меня приняли!

Двое усмехнулись: мол, вот дитятко, идиота корчит.

— Не об этом мы вас спрашиваем,— продолжал начальник отдела кадров.— Вы нам скажите, как вам удалось скрыть от народа свое княжеское происхождение и то, что вы верой и правдой служили кровавому режиму Николая Второго — режиму жандармов и сыщиков!

— А я разве что-либо скрывал?

Раздался дружный смех, покачивание головами с упреком: мол, что же ты, гражданин, за дураков нас считаешь? Сергей Яковлевич тут вспомнил Менжинского: чекист-ленинец говорил с ним, не унижая его достоинства, хотя и не снисходя, оставаясь на высоте своего карающего положения. А эти...

— Я всё указал в анкете, ничего не скрывая! — повторил он.

Вот анкету-то они, оказывается, и не смотрели. Погорячились! А когда прочитали, то там все было: и чин, и титул. Это озадачило допытчиков; велели выйти, подождать в коридоре, снова позвали:

— Подавайте заявление... по собственному желанию.

— Можете взять от меня подобное заявление... Я уволен, как говорилось в старину, по «третьему пункту»!

Потом он узнал, что начальника отдела кадров, не в меру ретивого товарища, взяли на следующий день.

— Бог шельму метит,— сказал Мышецкий.— Вот пусть он теперь хлебает шилом патоку...

. . . .

Бухгалтером никуда не брали, об учительстве и думать не приходилось. Теперь анкеты читали внимательно. А скрывать свое прошлое Мышецкий не считал нужным. Каждый человек имеет свою судьбу — каждому свое. Не виноват он, что родился не в бараке...

И тогда снова приобрел он себе гибкую отличную пилу. Каждое утро, опоясавшись ею и ткнув за пояс топор, стал выходить на площадь возле Сенного рынка. Там всегда, похлопывая рукавицами, стояли пильщики, покрикивая на прохожих:

— А вот, кому дрова попилить, поколоть? Это мы завсегда можем... На пол-литра дашь, хозяйка? Тогда — пошли...

Работали организованно — артелью (анкет не заполняли). Рассчитывались чистоганом — без налогов. Вот тут и пригодилась Мышецкому старая практика да хорошее питание с детства. Пилил — любо-дорого, хорошо! И дышала грудь морозом — просторно... Колол же дрова бывший городовой, бляха № 412, затаившийся от гнева народного под чужой фамилией — Копченкин. Да еще был дядя Вася — потомственный питерский алкоголик. Дополнял эту теплую компанию бывший князь Мышецкий, в прошлом тайный советник.

Потому-то, наверное, и не коснулся Мышецкого тридцать седьмой год с его арестами и высылками. Кому он нужен теперь — с пилой да с поллитрой под вечер? Сталин метил в иных — в твердых ленинцев, верных заветам Ленина, бунтующих, в тех, кто выдавался из массы.

А тут что? Мелюзга... мусор... бляха № 412...

Были у Сергея Яковлевича большие нелады дома с сестрой. Додо опускалась все ниже. Навещали ее друзья-барахольщики — испитые, страшные, с хорошим французским прононсом. И начались у нее с братом пьяные свары: стыдно перед соседями, перед дворниками.

Не раз прибегали соседские мальчишки:

— Дядя Сережа, а ваша тетка Авдотья опять пьяная у булочной валяется. Ее сейчас милиционер в отделение поволок...

Плохо, очень плохо. Сергей Яковлевич надевал кепку и шел выручать сестрицу. В доме, где я провел свое детство, как раз напротив молокозавода, в первом этаже (где сейчас молочное кафе) была в те времена широкоизвестная пивная. Там-то и повадилась пьянствовать Додо; я еще помню эту старую грязную бабу и рядом с ней высокого крепкого старика с румянцем на щеках, который не раз тянул ее из пивной: «Пойдем, Додушка, домой... постыдись!»

Мой отец, сам не дурак выпить, как положено «щирому украинцу», отводил меня от окна: рано смотреть такие вещи — лучше читай...

Очевидно, те же радости, которые испытывал я как мальчик-ленинградец, испытывал, наверное, и мой герой — как старый петербуржец. Город хорошел: залили асфальтом Пулковский меридиан вдоль Международного, строился мрачный дом «Союзпушнины» и Фрунзенский универмаг, пробежал с флажком первый троллейбус.

Да, Мышецкому эти перемены в облике города были приятны. Как-никак — хорошо! Особенно внимательно следил он по газетам за Уренском: там теперь работает — на месте сгоревших салганов — громадный мясокомбинат, открыты два техникума, областной музей, на месте Обираловки разбили парк культуры (наконец-то!), а демонстрации проходят по Влахопуловской улице, которая теперь имеет честь называться Сталинским проспектом.

Все закономерно и все можно объяснить в этом мире. Но вот пришла к нему Лиза, Лизонька — уже старая,— и долго плакала: Асафий Николаевич в эту ночь арестован как «враг народа». Что он мог сказать женщине в утешение?.. А в субботу навестил Сану, и Сана долго вытирала руки о чистенький передник, прятала глаза:

— Сергей Яковлевич,— сказала,— Володя вот у меня... да и вы все-таки что ни говори, а... Оно же и нас поймите!

Сергей Яковлевич поцеловал на прощание руку Сане:

— Не надо, Сусанна Петровна, я все понимаю. Может, вы и правы: мне действительно не стоит бывать у вас...

Трещал сильный мороз, сковывая дыхание. Уже темнело, когда артель закончила пилить и колоть во дворе на Серпуховской. Зашли в пивную обогреться. Выпили, и ударила водка в голову. Сергей Яковлевич заговорил: о Малюте Скуратове, об Иване Грозном — без всякого уважения. Городовой и алкоголик прослушали пылкую речь бывшего тайного советника о Бироне и Бенкендорфе.

— Где они? — спросил Мышецкий, запивая спич жигулевским пивом.— Россия-то стоит... Так и с этими — Ежовыми да Берия!

Копченкин (бляха № 412) встал — бестрепетный:

— Вот возьму я, Яковлевич, да и ка́пну на тебя... Не боишься?

Но дядя Вася (славный алкоголик) кулак ему к носу приставил:

— Капни, шкура старорежимная! Вот только капни... я тебе тоже капну! Тебе твою бляху напомнят... Коли́, как колешь, и молчок!

Да-а, нехорошие времена. На площади перед Исаакием колыхался над зданием германского консульства флаг со свастикой.

. . . .

Додо допилась до белой горячки, и он уложил ее в больницу имени Капранова (в конце Международного). Это случилось в разгар мехового аукциона. Ехал обратно на трамвае и видел, проезжая мимо «Союзпушнины», как толпятся возле здания иностранные машины: шел международный торг мехами. А дома Коля сказал с подозрением:

— Вы меня не впутывайте! Тут к вам гость был, иностранец какой-то. Однако по-нашему говорит хоть куда!

— И ничего не оставил?

— Нет, сказал, что сегодня уезжает. В следующем году снова будет — так зайдет... Только вы меня не впутывайте!

И забылось это, только в сердце отзывалось тревогой: а не сын ли это? Ведь ему тридцать — вполне серьезный человек. Он, кажется, в Курляндии! А в мире неспокойно — Гитлер неистовствовал. Целое поколение было воспитано на ненависти к фашизму — на словах Максима Горького, призвавшего бороться и ненавидеть... А тут... Молотов встречает Риббентропа. Многие были сбиты с толку, и Сергей Яковлевич проводил исторические параллели. Примерно так же было и с Наполеоном, которого сначала объявили на Руси антихристом, а потом заключили мир в Тильзите и приказали народу поверить в дружбу. Но русский народ не верил, и наступил 1812 год...

А сейчас — 1939-й... «Когда?» — спрашивал себя Мышецкий. В воздухе явно ощущался запах гари и крови... «К о г д а?»

В один из дней навестил Додо в больнице. Чистенькая и просветленная, сидела сестра на койке, через белую рубашку виднелась исчахшая грудь старухи. И те милые родимые пятнышки на ее груди, которые умиляли в молодости, теперь оказались грязными бородавками.

— Сережа,— улыбнулась Додо беззубо,— как хорошо, что ты пришел... Вчера у меня был Петя, а сегодня ты. Вот и праздник!

Сергей Яковлевич разогнул ей пальцы, вложил в ладонь сестры румяное яблоко с веточкой.

— И что сказал тебе Петя? — спросил он больную.

— Он ругал меня, мой Петя. А сам—такой светлый, при цилиндре. И совсем не состарился. И все куда-то звал меня... «Додушка, говорил, зачем ты здесь, поедем... в Лугу, мельницу я продал, а наш дом там...»

— Позволь, Додо, — обомлел Сергей Яковлевич, — ваш дом ведь был не в Луге, а на Сиверской.

Додо стянула платок на голове, словно собираясь в дальнюю дорогу. Улыбнувшись, кусила яблоко.

— Да? Но тебя я тоже видела в Луге...

— С чего бы это?

— Ты копал там землю... Много земли ты копал там!

Ночью ее нашли на лестнице: Додо висела уже остывшая. Не уследили. Медленно тянулись печальные дроги. Опустив голову, провожал сестру Мышецкий: вот и оборвалась последняя ниточка с прошлым. Было очень холодно, и он не плакал. Из-под снега торчал крест. Это лежал Плеве, из канцелярии которого Сергей Яковлевич и вышел когда-то в чиновный мир. А там, подальше, лежит Воронин — без головы: жертва взрыва на Аптекарском острове...

Додо опустили в промерзлую землю. Сергей Яковлевич помогал могильщикам и думал: «Кто я? Что я? Куда иду? И — зачем?..» Священник загасил ладан в кадиле, перекрестился.

— Батюшка,— попросил его Мышецкий,— скажите мне, одинокому и последнему, что-либо на прощание.

— Читайте книгу Иова, князь: и остался один я, чтобы сообщить тебе... Мир вам, князь!

. . . .

Через год снова был меховой аукцион, и он, этот гость, пришел опять. В добротной шубе, весь благоухающий, со щеткой усиков, сам

противный и гадкий, как сытый поросенок, и бегают глазенки, обшаривая нищенскую обстановку княжеского жилья.

Это был Пауль фон Гувениус, тот, который саранчу в Уренске когда-то давил. Не ожидал его Мышецкий и был поначалу ошарашен визитом гостя, о котором не любил думать и в старые времена.

— На меховом аукционе,— сказал фон Гувениус,— я представляю интересы великой Германии и моего фюрера...

Сергей Яковлевич только что пришел из магазина. Растерянно свалил на стол хлебный батон, кулечек с сахаром, текло на клеенку из-под жирной селедки. Фон Гувениус оценил на глаз скудость княжеского ужина и был настолько глуп, что заметил это вслух:

— Я думал, — сказал он, — вы при ваших блестящих способностях достигли при большевиках больших чинов?

Сергей Яковлевич ответил ему по-немецки:

— Но я же не представляю Россию в той степени, в какой фюрер поручает вам представлять интересы великой Германии...

Однако фон Гувениус, лоснясь воротником шубы, продолжал говорить по-русски, и Сергей Яковлевич был удивлен отчасти:

— Вы раньше, Пауль Иванович, едва-едва могли разговаривать по-русски. А теперь, живя в Германии, вдали от России, вы говорите отлично... Откуда у вас это?

— Видите ли, князь,— отвечал ему фон Гувениус, польщенный,— изучение России и всего русского вменено мне в обязанность перед фюрером. У великой Германии будущего есть свои, о с о б ы е, интересы в России, и эти две великие страны в недалеком времени будут связаны к р о в н о!

Потом фон Гувениус заговорил о другом: об Алисе Готлибовне, которая долго страдала, переживая разрыв, пока не вышла замуж:

— Очень почтенный человек, один испанский комиссионер, и теперь она проживает с ним постоянно в Марокко...

— А мой сын? — спросил Мышецкий.

— Ваш сын по-прежнему владеет имением в Бауском уезде Латвии, и правительство Ульманиса оказывает ему полное доверие как местному патриоту. Бурхард, или Афанасий (как вам угодно, князь), окончил военную школу в Потсдаме и ныне состоит офицером запаса...

— В Латвии? — спросил Мышецкий.

— Как вы могли подумать? Конечно же, в Германии!

— Он же русский,— смутился Сергей Яковлевич.— Мог бы быть и умнее. В его-то годы... Русский! При чем здесь Германия?

И тогда фон Гувениус сказал ему так:

— Вы, князь, плохо знаете нашего фюрера.

— Я его совсем не знаю... Что он мне?

— А он, наш великий друг и учитель, всегда с большим уважением отзывается о многострадальном русском народе...

— У него свой народ страдает изрядно! — ответил Мышецкий.— И вы, Пауль Иванович, все-таки плохо изучили русский язык...

Фон Гувениус понял эту фразу дословно, не вдумываясь в нее:

— Разве у меня нечистый выговор? — напрягся он во внимании.

— Вы сказали: «кровные» интересы Германии,— продолжил Мышецкий.— Боюсь, как бы они не обернулись кровавыми.

— Ну-у,— протянул фон Гувениус, обидясь,— вы, князь, всегда отличались неуместным германофобством. Однако вот ваш великий вождь Сталин тяготеет как раз к германскому миру. Новый порядок в России — так, мы его признали, но вы должны будете признать и новый порядок в Европе...

Фон Гувениус вдруг встал и взялся за ручку дверей:

— Почему это у вас? — спросил он.— Разве вы не сдали?

— Что сдать? — растерялся Мышецкий.

— Как — что? Вот эту ручку от дверей...

— Зачем?

— Она же медная... Германия закупает у вас цветные металлы, н... Куда же смотрят пионерские организации, это их обязанность — собирать цветной металлолом... Неужели вам не объявляли?

В комнате Мышецкого запахло «новым порядком в Европе».

Только было он собрался выставлять прочь «саранчу» фон Гувениуса, как вдруг — пшик! — погас свет в квартире. Загалдели из коридора соседки:

— Пробки, язви их... Эй, мужики! Давай с лестницей...

— Обычно,— сказал Мышецкий,— этим занимаюсь я...

Маленький, сытый и вредный, фон Гувениус пропал в темноте.

Вскоре, перешагнув границы, Красная Армия начала «освобождение» прибалтийских народов. Для Мышецкого присоединение Латвии к СССР означало возможность повидать сына. Все-таки что ни говори, а это — его поросль, пусть его зовут Бурхардом, но для него-то он по-прежнему — Афанасий, выращенный мощною грудью русской Саны.

Но тут Гитлер бросил клич ко всем прибалтийским немцам, и немцы покорно, как стадо, отплыли на кораблях в Германию. Вместе с ними покинул Прибалтику и сын Сергея Яковлевича. А там, на берлинском плацу, бывших русских дворян сбили в железные колонны вермахта. «Хайль Гитлер!» — кричали все эти люди в касках, все эти Фелькерзамы, Фитингофы, Будберги, Ливены и Гротгусы.

Вместе с ними кричал и Бурхард-Адольф фон Мышецков.

Из этих людей была создана страшная дивизия «Викинг», и о том, каковы были эти молодчики, надо спросить у Отто Скорцени, который с помощью прибалтийских немцев совершал свои кровавые репрессии и расправы... И оборвалась самая последняя ниточка с прошлым!

Но пока все тихо. И воздают хвалу на концах Европы: на западе — Гитлеру, фюреру; на востоке — Сталину, вождю всех народов. Это были роковые для нас годы...

. . . .

Долго звонил кто-то с лестницы. На пороге стоял человек, изможденный и старый, в ватнике и с мешком на плече.

— Меня... выпустили,— сказал Сабанеев.— В о й н а...

Сергей Яковлевич угощал адмирала чем мог. Говорил:

— А вот где Елизавета Васильевна — не знаю. Может, она уже эвакуировалась? Что будете делать ныне, Асафий Николаевич?

Адмирал-миноносник ломал в жестких пальцах хлеб, рвал и тискал хлебную мякоть на обескровленных деснах. И текли его слезы.

— Сейчас не время обид,— говорил Сабанеев, рыдая над хлебом.— Может, так и надо: лес рубят — щепки летят, я не знаю... Но судить и рядить не имею права. Сейчас все силы — на войну! Всё для победы, и это не пустые слова. Я верю...

— Во что? — спросил Мышецкий.— Вы?

— Да. Я. И я верю... в нашу победу верю, в победу русского духа.— И улыбнулся вдруг, как ребенок: — Это же Россия, батенька вы мой! Мы же — р у с с к и е... Ходили на нас, похаживали. Да только не мне вспоминать историю. Бог с ней, надо идти... Вот не знаю лишь, где Лиза? Сунул ключ — не лезет: уже другой замок...

— Куда вы сейчас, Асафий Николаевич?

— На вокзал. И — в Кронштадт. На миноносцы! Меня ждут...

Вдоль Обводного канала, заросшего осенней травкой, шли старики. Один — на миноносцы, другой — провожал. И печально распрощались они навсегда, чтобы никогда больше не встретиться. Война...

В 1941 году Сергею Яковлевичу исполнилось 66 лет; он был еще крепкий старик, без прихотей и капризов, прост в еде и привычках. Жизнь наложила на него отпечаток стойкости и самообладания. В булочной на углу, как раз напротив Фрунзенского универмага, он покупал себе хлеб. Сюда же заходили и солдаты. Один из них, уже немолодой, по виду рабочий-металлист, держа на перевязи раненую руку, выпросил себе у продавщиц батон без карточек, потом охотно рассказывал, присев на корточки:

— Мы ему кричим: «Стой, куда палишь? Мы же все братья, тоже рабочие... Где солидарность?» А он не слушает... Дружка — наповал, меня вот — в руку. И как это понимать — не знаю...

Так началась война: с веры в солидарность рабочих всего мира. И тут же эта вера была взорвана фугасками, вздернута на виселицу палачами гестапо. Многое было тогда не понять, многое не вязалось с песнями, которые пели на демонстрациях. Да и всеведущая мудрость гениального Сталина плохо вязалась с тем, что происходило.

— Драпаем,— говорили солдаты на трамвайной остановке.— Дай бог ноги длинные... У меня винторез, да ни одного патрона. А он, подлец, автомат на пузо поставил и поливает божий день как в копеечку... Где самолеты? Где «три танкиста, три веселых друга»?

Сергей Яковлевич пришел в жакт. Там сидела грозная, с противогазом через плечо, домоуправиха — тетя Даша.

— Милостивая сударыня,— сказал Мышецкий с поклоном,— сейчас, насколько я извещен через соседей, идет регистрация всех годных на рытье окопов. А меня почему-то не записали... Как понимать?

— Да вы же в летах, дядя Сережа... Ну, вот на крышу сползайте, бочки с водой проверьте, и будет с вас!

— Нет, милая Дарья Федоровна, вы уж не откажите мне в такой любезности: запишите и меня... Да, пожалуйста!

Россия, вскормленная эпосом прошлого, грозно входила в легендарный эпос будущего. Именно сейчас, когда встал вопрос: «Быть или не быть русскому народу?»—именно сейчас на верху правления вдруг вспомнили, что русский народ имеет историю и до 1918 года! Да еще какую историю! И в сводках Кремля раздались забытые слова: «иго, рабство, неволя, полон», против чего и встали как один.

Имена Суворова, Кутузова, Ушакова не казались тогда древними — их дух был рядом, и по радио в ленинградских квартирах звучал из мрака столетий вещий голос великого князя Святослава:

— Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми, бо мертвые сраму не имут...

С лопатой на плече Сергей Яковлевич (худой, небритый, в резиновых спортсменках) влился в толпы народа и думал сейчас: «Г о м е р... где ты, Гомер?»

. . . .

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы — гордость моя!

Шел на вас тевтон-фашист с бритым затылком и низким лобиком. Безглазый, как робот, он стрелял, рассыпая по рощам Петергофа патроны и вылизанные консервные банки. Шел по трупам, ступая кованым железом по теплому телу, обнаженному на срам и поругание.

В начале июля — 26 километров в день... «Форвертс!»

В конце июля — с е м ь, в августе — т р и... «Шалишь!»

Вот и Луга, разбуженный и обстрелянный дачный мир. Мир детских колыбелей и улочек свиданий—теперь он засыпан, словно пухом, листовками врага — гнусными. Вот как они издевались над нами:

> «Если вы думаете, что сможете защитить Ленинград, то вы глубоко ошибаетесь. Сопротивляясь войскам нашего фюрера, вы сами погибнете под развалинами Ленинграда, под ураганом наших бомб и снарядов. Мы сровняем ваш Ленинград с землей, а Кронштадт — с водою... Такова воля фюрера!»

Сергей Яковлевич читал эти листовки и понимал, что пришел момент его лебединой песни. Это, как говорилось в старину, будет его «акмэ»,— выше этого подъема духа ему уже никогда не подняться. И он больше ничего не скажет. Он будет только копать родимую русскую землю. Пусть так, и так надо... «Дайте старику лопату!»

От берегов древней Балтики до камышовых зарослей дивного озера Ильмень (какая ласка в этом слове — Ильмень!) протянулся гигантский вал. Великая Ленинградская Стена! И пусть падут тысячи — миллионы встанут снова. Таков закон великих подвигов — закон всех великих народов. Когда все едины — от мала и до велика...

Ладони Мышецкого растрескались, текла кровь. Сам он уже с трудом вылезал из глубин противотанковых рвов — ему помогали женщины. Потом хлебал из котелка жидкую пшенную кашицу и был счастлив. Теплые дожди мочили седую голову. Где-то нашел брошенную фуражку красноармейца, напялил ее на уши. Длинные редкие усы свисали по углам скорбно сжатого рта с бледными старческими губами. Подошли матросы, увешанные гранатами, как в восемнадцатом, сами в тельняшках, клеши—хоть куда, и сказали Мышецкому по-доброму:

— А ты, папаша, будто старорежимный генерал...

Мышецкий «стрельнул» у них табачку и ответил честно:

— Нет, сынки, генералом я не был. А вот...— Тут он раскурил цигарку от костерка и заключил: — А вот губернатором бывать доводилось, правда!

И в ответ ему грянул здоровый хохот матросов:

— Ох уж эти старики! Ну до чего они заводные... Ляпнут так ляпнут... что трава потом без суперфосфатов нигде не растет!

Сергей Яковлевич обскоблил свою лопату от грязи:

— Ладно,— сказал миролюбиво,— будь по-вашему: не был я генералом, не был и губернатором, все это мне приснилось. А был я всю свою жизнь слесарем Патрикеевым... Ну как? Похож?..

Ушли последние эшелоны, висли на тамбурах и крышах беженцы и окопники. Мигнул за лесом последний вагон, и опустели разом лужские перроны. Окружение!.. Лесами и болотами выбирались отставшие в сторону города. Таились по ночам подальше от дорог, где уже грохотали танки врага. Чудом каким-то, обессиленные и босые, миновали Гатчину. Корова выставила голову из кустов, замычала на Мышецкого: му-у-у... Сергей Яковлевич присел на кочку, неумело выдоил на траву молоко, чтобы облегчить страдания животного. Потом взял хворостину и несильно похлестал корову по мосластым острым бокам:
ли роковые для нас годы...

— Пошла, пошла... Ну, Дуняшка, беги и радуйся!

Так, погоняя корову перед собой, выбрался Мышецкий на окраины Ленинграда, где среди надолб и дотов вырастала новая оборона. Расставшись с Дунькой, пошел от самого Пулкова — прямо-прямо, вдоль меридиана, никуда не заворачивая, прямо — в баню... Мыться!

Началась блокада. Сергей Яковлевич получал по карточке иждивенца 300 граммов хлеба. Перекинув через плечо сумку противогаза, лез вечерами на чердак. Дежурил, глядя с высоты на багровые крыши города. И были уже слышны по ночам шумы близких сражений. Солдаты садились на трамвай и ехали, вдоль меридиана, прямо на фронт— прямо в бой, чтобы скрестить штыки. И больше они не кричали: «Эй, геноссе, не стреляй, я тоже рабочий!» Нет, словам не было веры. Верили только завету Максима Горького: раздавите гадину!

А сентябрь выпал на редкость хорошим... В отцветающей зелени парков стоял вечный город. Дымно светились мраморные колоннады дворцов. Неслышно катила воды Нева. Что-то удивительно праздничное и нерушимое таилось во всем облике Ленинграда. И хотелось присесть на гранитных ступенях, дать воде обмыть свои усталые ноги. А загадочные сфинксы смотрели в даль веков, не в силах разгадать ошибок времени и людей...

В булочной дали Мышецкому по карточке 250 граммов хлеба, он жадно вцепился зубами в пахучую мякоть.

— Для петербуржца,— сказал продавщице,— этого, конечно, мало, но я теперь ленинградец... Я выдержу: мне хватит!

«Па»,— услышал однажды утром Мышецкий, еще лежа в кровати. Это тихонькое «па» было выстрелом далекой пушки. Потом раздался вой снаряда, и кровать вздрогнула под ним от взрыва. Он быстро встал, чтобы помочь людям... «Мое акмэ!»

А по ночам на дымном чердаке, где трещали охваченные огнем стропила, где корчилось железо крыши от жара, Сергей Яковлевич, задыхаясь, хватал бомбы за хвост, они с шипением брызгали на него напалмом, совал эти бомбы в бочки с водой. И вода булькала, ядовито пузырясь, а на днище бочек долго светились глаза бомб...

Осень, глубокая осень земель ижорских...

Во тьме, когда таинственно колышется картофельная ботва, немцы пускают ракеты. Дробно стучат пулеметы, отпугивая смельчаков. Сергей Яковлевич ползал среди жирных гряд, пальцами ковырял почву, сочные картофелины скатывались в мешок. Лежала девушка, уже мертвая, он пересыпал из подола ее к себе картошку. Под утро выполз с полей на окраины, мешок было не оторвать от земли — тяжел.

Его задержали:

— Дедушка, нельзя одному... Ссыпь на госпиталь!

Мышецкий оставил себе две картошины, испек их в золе солдатского костра. Угостили его тут махоркой, дали ему шинель, чтобы выспаться. А когда стемнело, он снова уполз во тьму огородов...

И снова оставил себе две картошины, такие вкусные!

Так он и промышлял, пока не ударили морозы, пока не выпал снежок. Застыла сочная русская земля. Кровавя руки, ковырялся Мышецкий в твердых комьях. И лежали мертвецы — среди колхозных гряд, и глаза их, широко открытые, глядели в небо, где плавали ракеты да с шорохом разрубали тьму пулеметные трассы...

«Гомер, где ты?» Эпос еще не сложен, Гомера нет.

. . . .

По соседству с Фрунзенским универмагом и сейчас доживает старый дом, и никто из ленинградцев, пробегая мимо него, не знает, что здесь в грозные для страны дни собирались люди, чтобы обсудить «будущее управление Санкт-Петербургом»...

Генерал Петрищев, с которым Мышецкий сидел когда-то в «Крестах», сделал Сергею Яковлевичу доброе предложение:

— Князь, приглашаем вас на фрикассе из ангорской кошки. А пинчера моего мы уже съели... Итак, мы вас ждем, будут только свои!

От Софийки до этого дома — два шага. Ели кошку с тарелок старинного сервиза завода Гарднера. Лепестки роз и амуры на фарфоре, а на донышке тарелки лежит обнаженное диво с веером; сверху же — румяный кусочек кошки, поджаренный на жмыховом масле.

Вот поели они и стали рассуждать, как «свои» люди:

— Ну, еще день-два, большевики не устоят. Однако немцам не справиться без нас. Они это уже поняли, и вот, пожалуйста: статский советник Беляев управляет у них Дновским округом, в Порхове Субботин ими посажен... Всё — русские!

Никогда не думал Сергей Яковлевич, что у кошки может быть такое нежное мясо — почти курочка! И вожделенно переживал он слегка притушенную голодовку, раскис от пищи и тепла.

— Еще бы гарнир, господа,— сказал Мышецкий раздумчиво.

— А вам, князь,— ответили ему,— вполне подойдет портфель финансов, вы же там по статистике что-то шалили...

— Господа,— улыбнулся Мышецкий,— вы шутите? Никак не возьму в толк ваши странные дискуссии о портфелях.

— Мы говорим сейчас со всей исторической ответственностью, как истинные сыны России,— пояснили ему.— Мы, последние в нашей касте, собрались здесь, чтобы не дать много власти немцам — этим извечным врагам России, этим извечным поедателям русского хлеба. Власть должна быть поделена — между ними и нами...

Сергей Яковлевич только сейчас осознал, что кошка не курочка, она шибко отдает поганым привкусом. Запить погань было нечем.

— Господа,— возразил он спокойно,— пора признать за неоспоримое всю никчемность подобных разговоров. Стыдно и позорно в час, когда народ так страдает, делить какие-то портфели. Вы не были на окопах, а я — да, я был, и меня трудно переубедить. Нравится вам это или не нравится, но истина лежит сейчас в народе. И народ отнесется к вам, как к немцам, — одинаково!

— Князь! — заметил Петрищев.— Но большевики, мне кажется, не освобождали вас от присяги, данной вами Его Величеству?

— Нет, они меня не освободили от присяги царю.

— Когда вы ее давали?

— По выпуске из «Правоведения».

— Тогда ваша честь, князь, ваша репутация...

— Ах, оставьте! — сказал Мышецкий, мучительно переживая за людскую глупость.— Не вы ли, генерал, сидели со мною в восемнадцатом? От присяги Его Величеству государю-императору я не освобожден — сие так, справедливо. Но я по выходе из тюрьмы дал расписку в том, что никогда не буду вступать в заговоры противу советской власти... И от этой расписки не освобожден также!

— Но это же — клочок бумаги, князь. Плюньте, порвите.

— Все в этом мире, господа, писано на бумаге. И все можно порвать. Но моя присяга императору порвана самой историей...

— Неправда! — ответили.— Ее никто не рвал. Пусть придет германская армия, и мы отыщем ее в архивах...

— Дело в том,— ответил Мышецкий, смеясь,— что германская армия никогда сюда не придет. И никогда им не копаться в наших архивах. А вы — глупцы, господа! Вы рассуждаете как рамолики, свихнувшиеся от голода и страха... Стыдно, судари мои, до слез мне стыдно! Я пришел только на кошку... Пригласили — спасибо!

— Выходит, князь, вы не верите в могущество германской армии?

— Нет, я верю в ее могущество — армия сильная, но народ-то наш сильнее этой армии... А вы, господа, выходит, не верите в его могущество? Да постыдитесь...

— Они придут завтра.— сказал Петрищев.— Точка!

— Чепуха,— ответил Мышецкий.— Точка будет поставлена в Берлине... Я так чувствую, я так в и ж у!

— Князь, к чему эта пропаганда, вычитанная вами будто прямо из паршивого «Блокнота агитатора»?

— При чем здесь «Блокнот агитатора»? Просто я вспоминаю сейчас гимназию, у нас был хороший историк. Походы русских на Берлин хорошо запали мне в голову...

— Но здесь же не гимназия! И времена не те!

— Верно: времена не те, и от этого борьба будет жесточе...

Заговорщики развели руки над фарфором Гарднера, переглядываясь:

— Ну, князь, от кого угодно... только бы не от вас!

Мышецкий встал, слезы брызнули от обиды:

— Уж не подозреваете ли вы меня... Нет! Я больше вас, господа, сидел в тюрьмах. Я более вас знаю крайности советского режима... Я был на продразверстке, когда вы жили золотом с «торгсинов»! Я хлебал свое горе полной ложкой. Вас не ставили к стенке, а меня они ставили. Я прошел трудный и скорбный путь, но я не потерял веры в народ русский и люблю его по-прежнему — всей любовью, на какую способен человек. И ежели, господа, этот народ, любимый мною, поверил в идеи Ленина, то для меня вопрос ясен: если не с Лениным, то — с народом! Вот мое кредо, вот мое акмэ!

Он надел кепку, завязал шею шарфиком — его не задерживали.

— Разойдитесь! — сказал на прощание.— Вы не имеете права на подобные сборища. А за кошку — спасибо, хотя... Я бы не мог, как вы,

господа, убить и поджарить свою любимую кошку, с которой играл когда-то, когда она была еще котенком... Прощайте же!

Вот примерно какая сцена произошла однажды в этом незаметном доме, притулившемся возле Фрунзенского универмага. Сергей Яковлевич ошибся в том, что сборище было явкой дураков-рамоликов,—нет, это был заговор со всеми его ответвлениями. И немецкое командование и впрямь готовило «Санкт-Петербургское губернаторство».

Но, верное своим принципам, оно самолично назначило людей из числа «бывших» на главные посты. Губернатором Петербурга был назначен некий А. М. Круглов*, завербованный германской разведкой еще в 1916 году. Кандидатом в вице-губернаторы наметили князя Мышецкого, как администратора старого закала, женатого когда-то на немецкой баронессе, а теперь к городу Ленина рвался его сынок — Бурхард-Адольф (Сергеевич) фон Мышецков...

В середине ноября Мышецкий получил 150 граммов хлеба, а через неделю ему отрезали в булочной 125 граммов. Не только петербуржцу, но и ленинградцу, самому стойкому,— только ноги протянуть. И вдруг — о, чудо! — нашел подброшенную к его порогу коробку. А в ней: мясо, печенье, сухое молоко, шоколад, гематоген. Не ведал бедный старик, что это сын подкармливал своего папеньку как будущего «вице-губернатора»... Сын стоял под стенами города!

Но рядом, за тонкой стенкой коммунальной квартиры, умирало от голода семейство соседа Коли: жена и двое детей, а старуха теща уже померла. И Сергей Яковлевич, разжевав на зубах плитку гематогена, отдал всю нечаянную находку детишкам:

— Я уже старый,— сказал он,— а вам жить и жить... Помогай вам Бог, дети!

. . . .

Там, среди обугленных сараев Бадаевских складов, земля впитала сожженный сахар. Тянулись через город саночки, качались тени людей, завернутые в одеяла. Мужчины в женских платках, старики в голубых дамских трико, но никто уже над ними не смеялся. Голод погасил смех... И громко рыдало, прислонясь к стене, странное живое существо — не мужчина, не женщина,— ворох косынок и тряпок, из которого рвалось стоном, оглашая город — вымерший;

— О-о-о... О-о-о... А-а-а!

— Что с вами? — спросил Мышецкий у этого существа.

— Я потерял карточку на хлеб. А месяц еще начинается... Месяц только начинается, а я уже потерял... карточку! О, горе мое...

Сергей Яковлевич наковырял в мешок просахаренной земли, отвез к себе. Варил землю в кастрюльке, ломал на дрова кухонные столы. Получался горький настой земли. И пил эту черную воду... Смерть уже вытянулась во весь безобразный рост. Провалила щеки, затянула взоры ленинградцев мутной пленкой полузабытья. Воды не стало — город горел. Не было сил выносить покойников, и квартиры, полные добра, нажитого трудом поколений, стояли — растворенные. Входи любой! Живи, бери что хочешь. А мы лежим вот здесь, на своих кроватях, и ты нас не бойся. Мы — хозяева этих квартир, мы — ленинградцы, погибшие на своем незаметном посту. «Мы не сдались!»

Я и сейчас слышу их голоса:

— Нет, мы только отступили в небытие, тысячи падут, но тысячи и встанут... Похороните нас потом, люди, весною... Весной, мы это знаем по себе, весной наш Ленинград еще прекраснее!..

Я заверяю: он был прекрасен и сейчас, и это — не кощунство.

Стыли, опустив дуги, засыпанные снегом трамваи. Дома, взорванные бомбами, обнажали интимные тайны человеческого уюта. В узлы

* Круглов должен был стать лишь временным губернатором, после чего, как имеющий духовное звание, он согласился занять при оккупантах пост СПб, митрополита. Был расстрелян в 1943 году.

на которых ждали и умирали. В пламени пожаров, под звездами, торбыли завязаны кровати, на которых любили, кормили грудью детей, жественный и величественный, жил, не умирая, вечный город...

Прижимая к груди теплую бутыль с настоем сладкой земли, шел Сергей Яковлевич на рынок — это страшное торжище красоты и гибели. Тени, тени, тени... Хлёба, хлеба, хлеба! Искали его повсюду — душистого, тяжелого, словно камень. Хлеба, наполовину испеченного из жмыхов, бумаги и дуранды. Из отходов, которые раньше безжалостно сжигали в топках паровозов. Из-под ватников и косынок сверкало, отпугивая взоры, чистое золото, — «Хлёба!» Пробуженное голодом, золото вдруг всплыло наружу, как накипь прошлого, на блокадных рынках — рынках гибели.

Стояла при входе старуха, похожая на арапку, и, растворив иссохшие ладони, держала в них табакерку с бриллиантовым вензелем забытой всеми императрицы Екатерины Великой.

— И что вы хотите, мадам? — спросил Мышецкий.

— Хлебца, сударь... сто граммов,— ответила старуха.— Вы не думайте обо мне плохо — здесь бриллианты чистой воды. Мой прадед первым взошел на стены Очакова при Потемкине... вот это его табакерка — единственное, что осталось у меня!

И стояли с распухшими фиолетовыми лицами какие-то закутанные мрачные фигуры. В фиолетовых от холода руках они держали студень со странным фиолетовым жиром, застывшим по краям тарелок... Мимо, мимо этого студня! Сергей Яковлевич с трудом обменял бутыль настоя бадаевской земли на плитку столярного клея. Дома он сварил его и долго хлебал ложкой — горячим... «Так хорошо, Господи!»

На дворе лежала сброшенная врагом на парашюте громадная, в тонну весом, бомба. И молодая женщина в ватнике, скинув с головы солдатскую шапку, стучала, стучала, стучала... Молотком она сбивала с фугаса зажимные кольца. Тук-тук — стучал молоток. Тук-тук — стучало метрономом радио. Тук-тук — стучало в висках...

В эти дни вскрывали полы на хлебозаводе, уже выколачивали на складах мешки, в хлеб шла целлюлоза и обойная пыль. Тук-тук — трудилась женщина на дворе, и на нее смотрели черными впадинами глухие молчаливые окна... К вечеру она добилась своего: сковырнула кольца, вывернула из бомбы трубочку запала, сунула ее в карман гимнастерки и ушла, покачиваясь. Дома ее ждали 400 граммов хлеба и голодные глаза умирающей дочери. Тук-тук-тук — стучала она в двери, но ей никто не открыл. И тогда женщина, победившая бомбу, поняла, что уже никто никогда ей не откроет...

...Помню, я спал, и мне снилась продуктовая карточка. Большая — в газетный лист. И чьи-то добрые руки резали талон за талоном, и сыпался на стол хлеб. Но даже во сне это не были буханки — это были комки хлеба, черные и сырые, каждый точно в 125 граммов весом. Не больше и не меньше!

И я еще ни разу не был на Пискаревском кладбище.

Миша Дудин, ты написал, говорят, прекрасные стихи на памятнике всем павшим в блокаду Ленинграда.

Прости, я не читал их... Я — не могу! Я не забыл...

. . . .

Два красноармейца с полами шинелей, завороченными за пояса, выросли вдруг из вихрей метели и — закричали:

— Не стреляй, шпана лиговская! Мы же — свои...

Эти двое потом долго шли от Пулкова бодрым солдатским шагом, пока из мрака не выступил силуэт Фрунзенского универмага, зияли в мраморных стенах дыры прямых попаданий, серебристо высвечивали осколки разбитых витрин.

— Здесь,— сказал один,— вот и эта улица...

На Софийской, совершенно вымершей, два солдата долго искали нужную квартиру. Жикал в руке фонарик, скользя по номерам. Лестница не имела ступеней: обессиленные жильцы выплескивали нечистоты прямо на лестницу, и образовался ледяной каток. Вот по этому-то катку, цепляясь за перила, двое вползли на четвертый этаж.

Долго барабанили — нет ответа. Рванули двери — открыты.

Вошли. Жик-жик-жик — фонариком. Комната... Лежат поперек кроватей, вскинув застывшие ручонки в варежках, дети. Мертвы. А возле погасшего камелька сидит мать. Тоже мертвая.

— Не здесь,— сказали пришельцы с передовой, вступая в другую комнату.— Вот он... вот он!

Пахло, пахло... Стояла на остывшей печурке сковорода, а на ней— подгорелые комки лошадиного навоза. И лежал старик, завернувшись в пальто. Руки его, бессильно брошенные, были испачканы в навозе, и возле рта было тоже черно... Ел! Недавно он ел...

Пришельцы постояли молча. Один из них взялся за пульс:

— Нет,— сказал,— он еще жив... Князь Мышецкий!

Руки Мышецкого заерзали вокруг. Шаря, что-то выискивая.

— Что он ищет? —спросил один.

— Карточку, конечно... успокойте его!

Заворотили ему пальто. Вздернули старику рубашку. Обнажилась желтая сухая спина. Глубоко вошел шприц в это тело, мутная вакцина, оживляющая человека, побежала по крови, отгоняя призрак смерти. Потом влили в рот Мышецкому коньяк, и он открыл глаза — уже смотревшие из другого мира.

Перед ним стоял его сын — по батюшке Сергеевич, но, скорее, Бурхард-Адольф... И его товарищ по черному делу — барон Бильдерлинг, капитан вермахта, отныне (но не навсегда) лужский помещик.

Стягивали с себя шинели, располагались как дома. Как в казарме. Ломали стол — топили печурку. А сковородку с навозом выкинули в коридор как погань. Она задребезжала в пустой квартире — страшно. У них в мешках было все — от обойм с ракетницами до обильной жратвы, завернутой в целлофан и жесть.

Пленка смерти исчезла с глаз Сергея Яковлевича, зрачки посвежели, и он, глядя на родного пришельца, думал о себе: ведь это он сам, только еще молодой и красивый, и все это — бред, это уже не он, а некто иной... И это и есть — смерть!

— Я ведь его никогда не знал,— сказал сын Бильдерлингу по-немецки.— Не случись революции, он бы сейчас занимал высокие посты в империи... В сорок лет был уже тайным советником!

Мышецкий все понял, но даже не шевельнулся.

«А к м э!» Дорога ему предстоит дальняя. Очень дальняя...

. . . .

Он оставил их, сытых и разморенных, спать. А сам скатился по лестнице во двор... Думал о хлебе. Только о хлебе! В кулаке его, крепко сжатом, покоилась отныне его судьба — карточка.

Напротив бань, возле часовой мастерской, которая глядела на улицу циферблатом без стрелок, стыли возле дверей булочной люди. И он пошел к ним с одним словом — таким понятным:

— Привезли?

— Нет... нет... нет... нет,— отзывалось по ряду как эхо.

Тогда он свернул на Малодетскосельский проспект. Там, в старинном доме № 30, тоже была булочная, как и поныне. Спросил о хлебе.

— Да... да... да... да,— ответила ему очередь, ликуя.

Скоро хвост ее загнулся дугой вдоль пустых прилавков. Мерцала коптилка, освещая лицо продавщицы, распухшее от голода, и мелькали ее пальцы, вырезая талоны из карточек. Хватит ли на всех? Но вдоль полок выстроились целых четыре буханки — хватит на всю улицу, хватит, хватит... всем хватит!

Сергей Яковлевич протянул свою карточку:

— И на завтра,— попросил,— вырежьте... умоляю!

— Нельзя, гражданин. Только на сегодня.

— Умоляю. Мне так далеко идти... так далеко я собрался!
— Нельзя...
И качались чаши весов, отмеряя его судьбу. «Точно!»
Рывок голодной руки, и хлеб исчез под полою. Грелся.
Всё! Теперь он готов... Хлеб с ним. Дорога дальняя...

И уж Отечества призванье
Гремит нам: «Шествуйте, сыны!»

И начиналась дорога — как юность...

. . . .

По Рузовской — на Загородный, вдоль Введенского канала, на льду которого лежали безвестные мертвецы. И выбрел на Фонтанку. Вот и полукруг бывшего министерства, где его пестовал Плеве, где поучал его Дурново... «Мимо!»

Качались на мосту чугунные цепи — в изморози. Тихо, тихо.

И редко встретится прохожий, едва шагающий вдоль стен. Время от времени пролетит снаряд над головою. Где-то разорвет крышу, вопьется внутрь, буравя этаж за этажом, и разнесет несколько квартир, сея смерть защитникам русской цитадели... «Мимо!»

Четыре коня, вставшие дыбом на мосту, не стоят на прежнем месте, горделивые,— война упрятала их под землю. Они еще встанут, и человек, во всей красе своей и мощи, усмирит дикую силу. Так было— так будет. Иначе и нельзя... За Невским проспектом, возле цирка, где трубил, умирая от голода, какой-то зверь, он решил съесть весь хлеб. И съел...

Мелькнул за поворотом шинелью военный.

— Товарищ...— позвал его Мышецкий, но голос был так слаб, так прозрачно он растворился в морозном воздухе, что военный даже не обернулся на этот зов...

Больше нет хлеба — пора заворачивать на Литейный.

Но сугробы на перекрестках так высоки, так вязнет в них тело, что пришлось тащиться прямо: вдоль Фонтанки — в сторону Летнего сада. Рыцарский замок Павла Первого, розовея мрамором, высился из-за дерев. Чудились от кордегардий, заколоченных наспех досками, кова́ные шаги... Ботфорты... Павел, Павел... «Мимо!»

И вдруг, словно озарение юности, выросла перед ним длинная стена дома. Дома, о котором он даже забыл в эти годы. Вот отсюда, из этих стрельчатых окон, глядел когда-то он юным отроком на увядание Летнего сада. И звучала музыка из раковин, и плыли по воздуху зонтики нарядных дам, и долго не мог он заснуть в такие вечера, ворочаясь в постели своего дортуара...

Вот оно! Средь снежных сугробов стояло Училище Правоведения, отсюда он вышел в мир, сюда и пришел нечаянно... «Боже, какой дальний путь!» И круг жизни замкнулся.

Хлопая большими валенками, с автоматом под мышкой, шагал вдоль стен солдат в полушубке — совсем молоденький.

— Сынок,— сказал ему Мышецкий,— пусти старика...
— Посторонним нельзя, дедушка.
— Согреться мне... Я скоро уйду совсем...

Они стояли возле самых дверей, а из трубы шел дым: там тепло, там люди, там и умереть бы... Просился он — пусти!

— Что с тобой делать? — пожалел его солдат.— Ну, так и быть, зайди. Только мне лейтенант шею намылит.

И помог открыть тяжелую, промерзлую дверь...

Часовой был молод, он приехал на защиту Ленинграда из далекой Хакасии, ему еще снились табуны лошадей и монисто в косах девушки. Там, в Хакасии, хорошо, а вот тут... «Нет, тут тоже хорошо!»

И летели с воем, распарывая тишину, снаряды... «Мимо!»

Глухо ворча мотором, выкатился грузовик с тремя солдатами.

Блеснули автоматы в их толстых варежках.
— Куда, ребята? — крикнул часовой.
— На Софийку...
— А чего там?
— Гады объявились... Сейчас брать будем!
— Ну-ну, берите...

Холодно часовому, метет от Летнего сада, в прорези деревьев видно безлюдье Марсова поля — поля военной славы, поля парадов и знамен побед русских... Там Суворов — со шпагой!

Скоро часового сменили. Радуясь, что можно согреться, вошел солдат в высокий вестибюль, где стреляла жаркими искрами печурка. Зубами он стянул заиндевелые варежки, сунул к огню большие красные руки. Руки человека — усмирителя диких коней...

Отогрелся и — спросил:
— А старичок-то... и-де? Чего-то его не видать.
— Вынесли уже. На двор его вынесли...

Задумался солдат. Подошел молодой лейтенант — дежурный.
— Ты больше посторонних не пускай... Слышишь?

. . . .

Жизнь его закончилась хорошо. Даже очень хорошо...

Сейчас он лежал во дворе, посреди сугробов, и руки его были вскинуты от локтей, а пальцы растопырены.

Ему никто не закрывал глаза, и он продолжал смотреть ими.

Высоко и далеко — в последний раз.

Вот так он будет смотреть еще до утра, встретит рассвет над городом, а потом приедут и его заберут. И куда-нибудь отвезут.

Но это уже не важно — это не главное в жизни человека.

Важно то, что он остался здесь. И никуда не ушел.

«Зачем уходить? Совсем не надо... Лучше раствориться, быть маленьким и незаметным, но быть здесь... среди своих!»

Летели над впадиной двора снаряды. Он уже не слышал их завываний. Они ему не грозят... «Мимо!» Как всегда — мимо.

Мороз ударил к ночи. Иней запал в зрачки, пусто глядящие.

И отсветы далеких пожаров плясали в них.

А над ним стоял неумирающий город.

Город его юности и старости; вечный, как сама Россия...

...И остался один я, чтобы возвестить тебе.

Знайте же об этом, сидящие сейчас у огня.

И никогда ничего не бойтесь.

А мне про вас уже давно ведомо: все сбудется, как вы хотите.

— Верьте, люди... только верьте в людей!

Прощайте. Я сказал.

Подготовка текста и публикация Антонины ПИКУЛЬ.

ВЛАДИМИР СОРОЧКИН

СЕБЯ НА СЛОМЕ ОБРЕСТИ

Всадник

Холодно в комнате. Лампа коптит.
Слышится топот тяжелых копыт.
В голом просторе, по гулкой земле
Скачет невидимый всадник во мгле.

Только по звуку, идущему вспять,
Можно дорогу его отыскать.
Выйду, пытаясь вглядеться во тьму,
С трепетом в сердце навстречу ему.

Черное поле. Сухая стерня.
Мертвое небо. Глухая стена.
Но на мгновенье — горячей волной
Бешеный всадник пройдет
предо мной.

Вот он — с тоскою летя напролом,
Грузным обломком торчит
над седлом,
И, задыхаясь, ударами шпор
Гонит коня в неоглядный простор.

Лязгом становится, хрипом,
струной,
Бьющей наотмашь в погоне
ночной, —
Рыщет во мраке за дальним ручьем
И пустоту рассекает мечом.

✦✦✦

Тризна

Всё решилось, но зверь не бежал на ловца,
Прихотливо куражились бесы,
И под натиском воинов, серых с лица,
Обнажались последние бреши.

И коробилась сталь, и кипела смола,
И — забытый людьми и богами —
Новый день был страшнее, чем эта земля,
И безумней, чем небо над нами.

Царство падало — с хрустом и ревом, и тать
Рушил идолов, стены и шпили.
И я понял, что я не смогу удержать
Ничего, кроме праха и пыли.

И среди трескотни, за последней стеной,
Подчинившейся новому флагу,
Озирался вокруг победитель хмельной,
Положив свою шею на плаху.

И до срока, пока не остыла зола,
Я заучивал цепкие знаки,
Как на черном костре догорали тела
И песком заносило бараки.

С Россией

I.

Русь, уходящая в пучину,
С себя сдирает всякий раз
Уже ненужную личину,
Чтоб выйти в новой напоказ.

И все, что взглядом не окинешь
И не удержишь, — стороной
Ползет, скрываясь, будто Китеж
В трясине, в иле под волной.

Победу празднует болото,
Разлив зловонное дерьмо,
Но — невозможно свергнуть что-то,
Когда все рухнуло само.

Готовя сгнившие постромки,
Чтоб управлять ее судьбой, —
Не тронь! — тяжелые обломки
Тебя раздавят под собой.

Не тронь! — бессвязно понукая,
С нее не снимешь забытье:
Она поднимется нагая,
И страшен будет лик ее.

II.

Россия бродит... Тем не мене
В ее заложено кости —
Как безрассудное — стремленье
Себя на сломе обрести.

И вновь — безвременье, и круто
Замешан хлеб, прогоркла рожь...
От века к веку: травля, смута,
Раскол, усобица и рознь.

Все прахом шло: секли, крушили,
В полях жирело воронье,
Казалось: больше нет России,
И мгла пожрала путь ее.

Казалось: новые раздоры
Смогли толкнуть ее на край,
И коль пусты ее просторы,
То — чем угодно засевай.

Но, возрождаясь нашей речью
И духом нашим, испокон —
Она сама себе предтеча,
Она сама себе закон.

И как не следовать за нею,
Когда она, теряя путь,
Со всею кротостью своею
Стремится в бездну заглянуть...

✦✦✦

Жажда

Из мглы он выскользнул, но снова
Темь округлилась на зрачке:
Длиннее ночи — нету слова
В его протяжном языке.

Он так лелеял муку мрака,
Принадлежа ей наповал,
И, как последняя собака,
Ее границы поливал...

СОРОЧКИН Владимир Евгеньевич родился в 1961 году в Брянске. Окончил технологический институт. Работает в Карачевском дорожном ремонтно-строительном управлении. Печатался в журналах «Москва», «Пересвет», коллективном сборнике «Напев». Живет в Брянске.

И — тщетно — если он захочет
Быть там, где вольно дышит мир:
Ему пустыня напророчит
Совсем иной ориентир,

Сознанье вычистит до пляса
С разбитой напрочь головой
И смрад отравленного мяса
Прикроет спутанной травой...

Тогда не лучше ли укромно
К земле растерзанной припасть
И ждать, пока твоя утроба
Навыверт вывалится в пасть,

Стирать оставшуюся память
И отрезвлять себя бедой,
Чтоб вновь в душе не перебавить
Соленый привкус кровяной.

...Он лижет черный холод влаги,
Давясь стеблями чебреца,
И два огня горят в овраге,
Стекая с волчьего лица.

Помойка

Идут старьевщики на дело,
У них к работе аппетит,
И вот уже кирка взлетела,
И заступ весело стучит.

Туда, где место не забыто,
Летят в зловоние и гарь
Останки роскоши и быта
И прочий мелкий инвентарь...

А там уже и доброхоты
Перемещаются вдоль гряд,
И продолжаются работы,
И руки рухлядь шевелят.

И вот проглянет из-под корки,
В бумажном мусоре хрустя,
Всю жизнь служившее кокотке
Перо из птичьего хвоста;

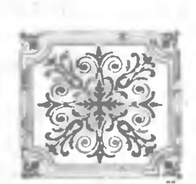
То треснет емкость горловиной,
Сверкнет раздробленный костяк, —
Еще в нем дух остался винный,
Но привкус истины — иссяк;

А здесь проглядывает пего,
Попав в печальный переплет,
Мундир великого стратега,
Пробитый молью наизлет.

Все погребается меж праха,
Перевозимого в отвал, —
И от величия до краха
Уже не виден интервал,

Уже иное в обороте,
И снова дыма пелена,
И у старьевщиков в работе
Не разгибается спина...

Смотри: там ссорятся пииты
Над кучей лавровых венцов...
Бог весть чем головы забиты
У сих пророков и певцов.



ПРОЗА

ЭДУАРД ЛИМОНОВ

РАССКАЗЫ

МУССОЛИНИ И ДРУГИЕ ФАШИСТЫ...

Я доедал рис с польской колбасой, когда появился Муссолини. «Миланцы!» — крикнул Муссолини. Седая трехдневная щетина, рожа боксера, черная рубашка. Он держался за массивную ограду балкона руками. — «Я явился сказать вам, миланцы, — Муссолини мощно сжал ограду и передвинул ее на себя, — что вся Италия смотрит на вас!»

У меня закололо кожу на плечах и шее, там, где у зверя находится щетина, долженствующая вставать от волнения, и я перестал жевать. Муссолини глядел на меня, как будто вся Италия глядела. Бросив вилку, я вскочил и пробежался по комнате. Но мощные ручищи Муссолини подтянули меня вместе с оградой к себе, и мне пришлось усесться на пол. Заколыхали фесками с кистями лидеры на балконе. Встрепенулись флаги, поплыли пушки и танки... Молодые, веселые фашисты затопили площадь.

Тотчас вмешался комментатор. Они никогда не оставят вас одного со старой лентой. В демократии вам постоянно объясняют, что плохо, что хорошо, чтоб вы не перепутали. Комментатор заговорил об экспансионистской агрессивности итальянского фашизма, но фашисты были такие молодые и веселые, я забыл, когда видел в последний раз так много веселых, счастливых и сильных людей на одной площади. Чтобы испортить впечатление, комментатор стал разливаться о Липари-айлендс, куда уже в те ранние годы Муссолини ссылал своих врагов и где их якобы кормили касторовым маслом, от поедания которого человек ссыхается, как египетская мумия. Но мумий не показали, очевидно, документальных кадров не сохранилось, и даже эта лента, без сомнения, соору-

---

Эдуард ЛИМОНОВ родился 23 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. Детство и юность провел на окраине промышленного Харькова. В пятнадцать лет написал первые стихи. В 1965 г. обстоятельства привели его в среду литературно-художественной богемы Харькова, в 1967 г. он переезжает в Москву, пишет стихи, вошедшие позднее в его сборник «Русское» (США, 1979). В 1974 году вынужден покинуть Россию. В 1975 году поселяется в Нью-Йорке. В 1976 году пишет свой первый роман «Это я — Эдичка». Автор книг «Подросток Савенко», «Дневник неудачника», «Палач», «У нас была великая эпоха» и многих других. В настоящее время живет в Париже.

женная в пропагандных целях, демонстрировала исключительно сильные руки, веселые рожи, быстрые движения... Все, чего американцы добились: соединив вместе множество парадов, — подчеркнули тщеславие фашизма.

В дверь постучали три раза. Я открыл.

— У тебя есть сигареты, Эдди?

Сосед Кэн был во вполне приличном состоянии. Борода пострижена. Новые очки. Запой прошел, и теперь он будет работать на выгрузке фруктов для соседнего супермаркета А-энд-П, зарабатывать доллары, дабы отдать долги, набравшиеся за время запоя.

— Входи, — предложил я.

— No, thanks [1], у меня женщина. — Он улыбнулся. Длинный, черный человек.

Если бы мне, одиннадцатилетнему, в свое время предсказали подобную судьбу: «слушай, мальчик, через пару десятилетий ты будешь жить на Верхнем Бродвее, в Нью-Йорке, единственным белым мужчиной в отеле с черными, будешь курить марихуану и жить с черным Кэном и злейшим твоим врагом будет помощник менеджера мексиканец Пэрэс», я бы долго и грустно смеялся глупой шутке. В мои одиннадцать я глядел каждый день из окна родительской комнаты на одинокое дерево, растущее рядом с телеграфным столбом у обочины пыльной захолустной дороги, называемой Поперечная улица, и с ужасом думал, что мне предстоит лицезреть это дерево всю жизнь... Но вышло иначе. Уже в одиннадцать со мною стало что-то происходить, и потом в пятнадцать, и когда я забыл думать об этом дереве на Салтовском поселке, видимом из дома 22 по Поперечной улице, то вдруг, очнувшись, понял, что дерево исчезло и я давным-давно живу в мире ином, в третьей или в четвертой по счету жизни. В мире какого-нибудь Эрих-Мария Ремарка, я читал подростком его «Три товарища», как читают «Остров сокровищ», с почтительным восхищением чужой экзотикой... Ах, пыльное деревце у края украинского шляха, превращенного в робкую дорогу, а позже в робкую улицу... Живо ли ты сейчас? Я ведь даже не знаю, какой ты было породы. С большим трудом вспоминаю серенький ствол и пыльные листья. Небольшое, высаженное нами, жителями дома 22. Помню нашу команду садоводов: батя-капитан в галифе с кантом МВД и старых сапогах, я в глупых штанах-шароварах, называемых «лыжными», дядя Саша Чепига — электромонтер, слегка выпивши, сын дяди Саши Витька — хмурый мальчик четырех лет. Задевая корнями стенки ямы, дядя Саша держал саженец, а мой отец, встав на колени, бросал землю руками...

— Сигарэт... — Кэн помахал у меня перед глазами черной рукой с чрезвычайно длинными пальцами. — Ты куда исчез?

Я дал ему три сигареты. Для женщины.

— Множество спасиб, — сказал он. — Ты что, завел собаку, Эдди?

— Нет. Почему?

— А кого ты кормишь с полу.., — он заржал, указывая на оставленную на полу тарелку с остатками риса и колбасы.

— Себя. — Я присоединился к его смеху. Когда живешь вот так вот, один, то не замечаешь странности своих некоторых привычек, но вот сосед Кэн видит твою клетку с порога, и оказывается, ты ешь, как собака.

— Телевижэн динэр [2], — оправдался я.

Муссолини отсутствовал минут пять-семь и вновь появился, уже старым, в большом не по росту кожаном пальто. Гитлер послал Отто Скорцени вытащить Муссолини из лап врагов. Полковник Скорцени выполнил приказ. Гитлер, чуть сгорбленный и усталый, похлопал вышедшего из авиона Муссолини с этакой поощрительной гримасой: мол, «вэлком хоум, олд силли бой» [3]... Если бы у меня был такой друг... Ах, если бы у меня был такой друг...

Лента была не о Муссолини, но об Италии. Посему они еще полчаса демонстрировали доблестные войска союзников, высаживающиеся в Сицилии, итальянских блядей, продающих себя американским солдатам за шоколад, нейлон и пенициллин. Сопровождалась свободная торговля нью-орлеанским джазом «Тудуп-тудуп-туп...». В самом конце фильма показали десяток трупов, лежащих вповалку. Активный народ плевал в трупы и пинал трупы ботинками. Выбрав среди трупов Бенито и его подругу Клару Петаччи, «партизаны» подвесили их за ноги. Комментатор злорадно сообщил, что таким вот был бесславный конец диктатора-фашиста. Зазвучала победная американская музыка. Народ, как всегда беспринципный, радостно завопил.

Душа моя была на стороне Бенито. К народу душа моя никак не лежала. Угодливый, восторженный, этот же народ вопил меньше часа назад, в начале фильма, под миланским балконом в восторге и обожании от лицезрения своего Цезаря. Теперь, когда Цезарь висел куском мяса, как туша дикого кабана в мясном магазине, мертвый и безопасный, шакалы имели храбрость приблизиться к нему. Я встал с пола, налил из галлоновой бутыли калифорнийского шабли и выпил за упокой души диктатора. Это был мой молчаливый, мирный, одинокий социальный протест.

---
[1] Нет, спасибо (англ.).
[2] Телевизионный обед (англ.).
[3] Добро пожаловать, глупышка старичок (англ.).

Я поселился в «Эмбасси» в апреле. Хозяин «Винслоу» — Коч (в России его фамилия произносилась бы как Кац или Кох) решил продать «Винслоу», один из сорока двух больших билдингов, принадлежащих ему в Манхэттане. (Прошу не путать этого Коча с мэром Нью-Йорка Эдвардом Кочем.) Нам, обитателям «Винслоу», выдали стандартные бумажки с просьбой освободить помещение. Давалось нам два месяца сроку. Наши обитатели решили протестовать, созвали общее собрание, постановили нанять адвоката из «Сивил Либерти'с Юниона», наивные чудаки; я же, подивившись их наивной глупости, пошел искать другой отель. Какой бесплатный адвокат из «Сивил Либерти'с Юнион» защитит их, бедняков, от могущественной фирмы «Шольц, Розэнгрант энд Лемпкэ», представляющей интересы магната Коча? Дебилы.

Почему я решил жить в «Эмбасси», белый, среди черных? Я не решал, произошло это совершенно случайно. По ошибке. За день до моего визита у них была полицейская облава, потому холл выглядел пусто — прилично и вполне о'кэй. Как запущенный холл дешевого отеля. Одинокий чистенький черный разговаривал в дальнем углу по телефону. Менеджер был белый, вполне приветливый рослый тип в очках по фамилии Кэмпбэлл, — то есть лагерный колокол. Комната, предложенная мне, — 1026-я, двумя окнами выходила не на Бродвей, но и не во двор. Из окон можно было видеть Колумбус авеню, ибо все здания между были ниже рослого классического одиннадцатиэтажного «Эмбасси». Старая, пусть и растрескавшаяся, но ванная, довершила работу соблазнения. Я соблазнился. Стоило удовольствие 160 долларов в месяц! Баснословно дешево, но для меня это было очень, очень дорого. Камера «Винслоу» с видом на Мэдисон стоила мне 130. Однако до «Эмбасси» я уже обошел два десятка отелей: город выходил из депрессии, пока еще робко, но цены уже росли. Я оставил залог. Сказав, что переберусь на следующий день.

Случилось так, что прибыл я на следующий день с вещами не утром, как накануне, но к вечеру. Вечерний «Эмбасси» предстал передо мной совершенно иным. Когда мы подъехали в автомобиле — Кэндалл, парень из Социалистической рабочей партии, за рулем, Кирилл рядом, я и алкоголик Ян Злобин, — заваленные вещами на заднем сиденье, у входа в отель колыхалась, хохоча, целая толпа черных. Ну черные, и черные... Мы взяли по паре чемоданов и сумок каждый, оставив Кирилла в машине. У Кирилла слабая спина.

Мы протолкались через черных и вошли в холл. Но и в холле отеля мы не увидели ни единого белого лица. Отсутствие белых лиц меня насторожило, однако я промолчал. Нужно было быть «кул» [4], все вокруг меня старались быть «кул», ну и я тоже счел нужным следовать общим нравам. Уже подвыпивший Ян или не старался быть «кул», или ничего с собой не мог поделать, потому он высказался громогласно. «Куда тебя хрен принес к неграм, Лимонов. Одни вонючие негры. Ну и отельчик ты выбрал. Гарлем...»

---
[4] Хладнокровным (англ.).

— Заткнись, — попросил я равнодушно.

— Мне-то... Тебе с ними жить. Пришьют они тебя тут. — Ян засмеялся.

Я промолчал. Сказать ему, что сегодня мне самому отель этот не нравится, я не захотел. Объяснять ему, что вчера он выглядел иначе, я не стал. И Кэндалл молчал себе, рыжий, и улыбался. Мне показалось, что он боится отеля, обыкновенно он был разговорчив, но как может признаться член троцкистской партии, что он боится угнетенных черных братьев, которых защищает его партия? Не может...

Когда мы, заклинив самым большим чемоданом дверь лифта, вытаскивали мои пожитки, из колена коридора вдруг вышла свиноподобная, в засаленном черном имипремеабле, весом в добрые двести килограммов, но белая женщина, я заметил, что лица моей команды мгновенно просветлели. Белая. Значит, они тут водятся. Живут все же. Женщина терпеливо подождала, пока мы вытащим чемоданы и сумки, но когда мы двинулись к 1026-му, беззаботно оставив самый тяжелый чемодан у лифта, свиноподобная прокричала нам вслед: «Эй, ребята! В этом отеле вещи не оставляют. Через минуту чемодана не будет!»

— Ну и убежище ты, Лимон, нашел..., — прохрипел Ян. У Яна неприятная натура начитанного люмпен-пролетария. Он моралист. Плюс он еще и депрессивный истерик.

— Заткнись, — попросил я. — Ты сам вызвался мне помочь, да? Так не расшатывай мораль присутствующих... Давайте еще нажмем, завершим переселение и выпьем. В «Винслоу» чемодан свистнут через пять минут. Вот все отличие...

Ян среагировал, как павловская крыса, на слово «выпьем». Он уже выпил и хотел выпить еще. Потому он заткнулся.

Вещей оказалось больше, чем я себе представлял. В камере «Винслоу» они лежали себе, аккуратненько спрессованные и сжатые, на своих местах. Под кроватью, на полках, в чемоданах. Висели на стенах. По случаю переезда они раздулись, выпрямились, выросли. Набрался полный большой автомобиль Кэндалла. Лифт оказался один, на все крылья отеля, потому его постоянно кто-нибудь захватывал.

Операция перемещения пожитков бедняка все же заняла несколько часов. Наконец последний чехол с одеждой был свален на кровать, и они уставились на меня тремя парами глаз. Согласно вывезенной из СССР традиции я должен был поставить им водку и закуску. Они ведь работали для меня...

Им пришлось подождать, пока я повешу на стену портрет Мао. И только после этого я поджарил им несколько фунтов польской колбасы на электроплитке, привезенной из «Винслоу», и мы сели пить водку. Через полчаса Злобин разругался со всеми, обозвал Кирилла евреем, сообщил Кэндаллу, что Ленин называл Троцкого «политической проституткой» и «Иудушкой». Я хотел было выгнать его, дабы он не нарушал гармонии, но от усталости воля моя расслабилась, и я поленился. Жил он выше по Бродвею, на 93-й, ушел позже всех, вернее, уполз, ругая меня за «связи с евреями» и за то, что я переселился в «гетто для черных».

Едва он вошел пьяный (красные пятна на впалых щеках) в черную массу ехавших с одиннадцатого этажа вниз, и двери старого лифта сдвинулись, я ушел в мое новое жилище по кроваво-красному старому ковру коридора. Включил телевизор и лег спать. Думать о том, куда я переселился, я не хотел. Я устал.

Теоретически понятно, что жизнь продолжалась и в Аушвице, но для того, чтобы убедиться, можете ли вы лично выжить в Аушвице, вам всегда будет недоставать опыта. Никогда не размышлял я на странную тему: «Смогу ли я жить в отеле среди черных, единственным белым мужчиной?» Оказалось, что могу жить и чувствую себя много свободнее, чем в «Винслоу». В том отеле жили рядом десяток эмигрантов из СССР, и хотел я или не хотел, они меня настигали, затрагивали, ловили в лифте, кричали «Привет!» у входа. Я не хотел делить их общую, как здесь говорят, «мизэри» [5], но сами физиономии их, даже издалека, портили мне настроение. В «Эмбасси» «мои черные», как я стал их называть, не охали, но кричали, хохотали, обменивали плоть и наркотики на доллары, и в основном были веселы. Время от времени кто-нибудь рыдал или орал, но преобладали хохот и музыка. Небольшая синяя дверь в холле отеля вела в бар, основной вход в него был с Бродвея.

Разумеется, они попытались попробовать на мне свои черные трюки. Любое человеческое общество проделывает это с новичком, — пробует тебя на зуб. Заключенные в тюряге, солдаты в казарме, рабочий коллектив. Но я не клюнул. Я не только имел позади солидный советский опыт заводов и психдомов, но был уже битый нью-йоркский волк, потаскался по вэлфэр-центрам, поработал на поганых работках, потому я их черные трюки запугивания и вымогательства игнорировал. Когда, прижав меня пузом к стене коридора, воняя в меня потом и пивом, здоровенный черный Пуздро (так у нас на Салтовском поселке называли толстяков. Пузан, то есть пузатый) приказал мне: «Дай мне 10 долларов, белый парень!» — я расхохотался и выбросил раскрытую ладонь ему в брюхо: «Ты дай мне червонец, парень! А ну-ка, живо! Мне нужнее!» Он поглядел на меня пристально и присоединился к моему хохоту. Он понял, сука, что я его не боюсь. А я понял, что он не из самых храбрых в этом отеле. Позднее оказалось, что его кличка эФ-мэн, сокращенное от Фэт-мэн [6]. Такую пренебрежительную кличку серьезному человеку не дадут...

Черные еще умеют смотреть на тебя, как на животное, не разучились еще. На твои движения и на изменения мышц твоего лица. Малейший страх в тебе, какой ты ни будь актер, мой дорогой «вайти» [7], будет им виден мгновенно. И малейшее твое замешательство, заискивание, твое «шесть-пять», как называл это чувство мой друг вор Толик Толмачев, будет зафиксировано. Если они поймут, что в тебе «шесть-пять играет», то тебя заклюют просьбами-приказами, то у тебя отнимут все деньги, сам отдашь, всю хорошую одежду, и даже самые квелые подростки будут приходить к тебе под дверь попугать «беленького»... Под дверь, которая выбивается мгновенно ударом сильной черной ноги. Если ты слаб, то тебя не станут бить — бьют сильных. Слабых, мой дорогой «вайти», заклевывают до смерти. «Дай ему под жопу, Джо...», «Отдай твою майку, вайту...», «Он хочет пососать мой... Га-га-га...» ...Да-да, именно так, а что вы думали. И пососете. Со своими черными они проделывают то же самое, так что здесь дело не в цвете кожи, но в цвете печени. Зеленая она от страха или нет... Такая жизнь происходит во многих углах нашей планеты ежедневно. Добрый старый естественный отбор, а-ля Дарвин. Иногда лишь усугубленный расовым фактором.

Когда-то отель был очень неплохим. Высокие потолки, сильная, как хороший арийский череп, коробка здания. Однако за годы местной нью-йоркской депрессии город обнищал и пришел в упадок. Здания не ремонтировались. Потому в хорошем месте Бродвея, недалеко от Линкольн-Центра и в двух шагах от прославленной «Анзонии», где некогда жили большие музыканты (сами братья Гершвины), в трех кварталах от дома «Дакота», где уже поселился, не зная своего будущего, Джон Леннон, существовал такой вот «Эмбасси». Спал полдня и веселился ночью. Разодетые сводники с бриллиантами на толстых пальцах прогуливали свои жиры в его холле. Разложив на подоконниках образчики героина и всяческих нужных населению травок в пластиковых крошечных пакетиках, прыгали возле товара торговцы наркотиками. Хромой человек по кличке «Баретта», всегда в безукоризненно белом костюме, выгуливал черного пуделька с бриллиантовым ошейником (поддельным!)... Спешили с работы увесистые черные проститутки. Менеджер Кэмпбэлл откупоривал за конторкой двадцать какую-то бутылку пива за день...

Белье нам меняли раз в месяц, если мы настаивали. Если не настаивали, не меняли. В любом случае, что — они за 160 долларов в месяц обязаны были

[5] Нищету (англ.)

[6] Толстян (англ.).
[7] Беленький (англ.).

менять нам белье ежедневно? Белье было серое от старости. Рваное покрывало из когда-то алого репса покрывало мою кровать. К покрывалу не следовало принюхиваться, ибо в различных его местах можно было обнаружить различные прошлые запахи: один угол попахивал откровенно дерьмом, другой — блевотиной, еще один — чем-то удивительно живучим, гадковато-едким... Во все мое пребывание в «Эмбасси» запах так и не исчез. Ненависть к обществу, загнавшему меня на дно жизни, была во мне столь сильна, что я принимал знаки мерзости, — вонючее покрывало в частности, — гордо, как знак отличия. Как еврей — свою желтую звезду. И если я не хотел, я им не укрывался, сбрасывал его на пол. Я был владельцем двух болотного цвета, с черными буквами «US ARMY»[8], одеял.

И стал я жить в «Эмбасси». Из прежних знакомых заходил ко мне теперь только Ян, а единственным близким другом моим стал в тот период телевизор «Адвэнчурэр». Я вспоминаю его пыльное пластиковое серое тельце, как тело друга. Трещину на лбу над экраном-лицом, резкие морщины трещин под подбородком. Он разделял со мной тяжкие алкогольные запои и ужасы одиночества. В его обществе я улыбался, кричал, плакал, прыгал, танцевал (да-да...) танго, вальсы и рок-н-роллы... Одетый, полуодетый, голый, а что, вы думаете, делают одинокие типы в сингл-румах[9]? Именно то, что делал я: пестуют свое безумие. Все пестуют его по-разному, в зависимости от интеллекта и темперамента. Выпив галлон вина в одиночестве, я произносил пылкие речи на бессвязном русско-английском деформированном языке: ругательства смешивались в них со стонами. «Адвэнчурэр» благожелательно внимал мне — мой маленький дешевый друг, приобретенный уже в побитом судьбой состоянии за двадцатку, и развлекал меня, как мог. Показывал мне рожу сенатора, чтоб я мог в нее плюнуть. Демонстрировал мерзких теток, чтобы я мог представить, как я сдираю с них шелковые тряпки и бью их ногами по тяжелым задницам... Что вы хотите, я ненавидел общество в ту весну...

Я рассказал Яну Злобину о документальном фильме, о Муссолини на балконе, о счастливых лицах фашистов. Так же, как я, Злобин мало что знал о Муссолини. В нашем Советском Союзе мы только и знали, что дуче, как и Гитлер, «болел» манией величия, что он был сумасшедшим. И то, что итальянские дивизии плохо воевали против наших. Ну и, конечно, само слово «фашист» было в Союзе дико отрицательным. Ян сказал, что чувствует себя фашистом, однако Муссолини вылез из своего дерьма, а мы в дерьме и никогда из дерьма не вылезем. Что сейчас другие времена и таким, как мы с ним, со страстями, — «не светит». Что сейчас «светит» всякой бесталанной и бесстрастной погани, тем, кто в школе хорошо учился и слушал родителей. Я сказал, что пойду в «Барнс энд Ноблс» (Кэндалл уверил меня, что это лучший книжный магазин в Нью-Йорке) и куплю книгу о Муссолини. Что его рожа и мощные руки меня заинтересовали. Что он не сумасшедший.

— От нас что-то скрывают, Ян, — сказал я. — И в Союзе скрывали, и здесь. Я хочу знать, что.

— Книги дороги, — заметил Ян. — Твой Муссолини будет тебе стоить десять, а то и пятнадцать долларов. У тебя что, есть лишние доллары? Лучше бы купил себе туфли.

Я сказал, что знания не имеют цены. Что они необходимый инвэстмэнт[10], и я очень жалею, что концентрировался в свое время на знании русской и мировой поэзии, более или менее неплохо знаю старую историю, но вот с новой, двадцатого века историей, у меня слабо.

В «Барнс энд Ноблс» они удивились — заросший тип, едва говорящий на их языке, ищет книгу о Муссолини. Однако парень в галстучке, с прыщами возле ушей, прошел со мною в отдел истории и осмотрел полки.

В отделе истории книг о Муссолини не оказалось. Было множество книг о Второй мировой войне, с ярчайшими фото, были отдельные книги о танках, о вообще вооружении, о военных флотах разных стран, в том числе итальянском,

[8] Армия США (англ.).
[9] Однокомнатный номер (англ.).
[10] Капиталовложение (англ.).

но ни единой биографии человека в черной рубашке с мощными руками и щетиной, как у дикого кабана. «Вы итальянец?» — спросил парень в галстучке. «Да», — согласился я. «У нас есть итальянский отдел. Может быть, в нем вы найдете биографию Муссолини?» — предположил парень благожелательно. Но исказил окончание фамилии таким образом, что я понял: спрос на кулинарные книги и идиотические книжонки типа «Чего хочет женщина?» не оставляет ему времени для произнесения соответствующим образом фамилий великих исторических лиц. В итальянский отдел я не пошел, не хрен мне там было делать.

Через пару дней, упрямый, я отыскал и приобрел неподалеку от 14-й стрит уцененное, 99 центов, произведение некоего Б. Смифа, изданное лишь за год до этого в Лондоне. Называлось оно коротко — «Дуче», и было в нем 400 страниц. Я был уверен, что книги мне хватит на несколько месяцев. Уже с полгода я изучал «Реминисценции Кубинской гражданской войны» Че Гевары и «Философию» Энди Уорхола. Прибавив к этим двум книгам «Дуче», получаем портрет чтеца. С определенными интересами человек, не правда ли? «Философия» Энди Уорхола, казалось бы, мало гармонировала с Че Геварой и Муссолини, однако при более внимательном размышлении придется прийти к выводу, что деклассированный советский парень, живущий в отеле с черными, видел в Уорхоле «Сильного чеха». Выбравшегося из эмигрантского гетто чеха, сумевшего благодаря своему таланту и могучей энергии сделаться эдаким Дуче вначале поп-арта, а затем и всего современного искусства.

В отель я попал к вечеру. Книга под мышкой, прошел по коридору. Оно (человек или собака, так и осталось неузнанным мною) вновь нагадило в коридоре. Запах был мерзкий. Я подозревал, что у собаки старого китайца понос. Я также подозревал, что китаец — бывший мелкий гангстер, тихо живущий, уйдя от дел. Обыкновенно китайцы обитают кучей, кагалом. Очевидно, у желтого старого человека были достаточно серьезные причины, заставившие его отказаться от общества себе подобных желтых людей. В нашем отеле в свое время спрятался и жил себе тихо известный советский разведчик полковник Абель. Здесь же его и арестовали. Так что китаец (если мои подозрения оправданны) не первый, прячущийся в «Эмбасси». Кэмпбэлл присутствовал при аресте Абеля ФБР. Он уже был менеджером, Кэмпбэлл. В те годы «Эмбасси» еще не оккупировали черные, но он уже был средней руки запущенный отель.

Я взял словарь, лег на пол и раскрыл книгу. На старом ложе «Эмбасси» было удобно спать, лежа на спине и на боках. Но читать лежа на животе было крайне неудобно. Потому что проваливался в матрас живот и спина прогибалась в ту сторону, куда она, как известно, плохо прогибается. В джинсах и черном свитере, я лежал на вытертом красном макете, перекатываясь, когда нужно, от «Дуче» к словарю... Через полтора часа я уже знал, что мать Муссолини — Роза была очень религиозная мамма, а паппа Аллесандро, кузнец, был полусоциалист-полуанархист и читал семье за столом куски из «Капитала». Помимо этого, паппа любил дам и не забывал об алкоголе. Аллесандро повлиял на сына, как ни один другой человек...

Три удара в дверь.

— Кэн?

— Гэт аут[11], Эдди. Пожар в 1037-м.

Я вскочил и вышел к нему. В коридоре пахло гарью и висели, ясно видимые, как паутины, нити дыма в углах. У 1037-го собралась кучка наших. Розали и Базука, одетые на выход, мощнейшие зады затянуты в искусственный шелк, он лучше всего липнет к телу; в абсолютно идентичных накидках из голубого искусственного меха на плечах, каблуки рвут ковер, губы накрашены. Целая банда тинэйджеров[12] с девятого этажа, этим постоянно не фига делать, еще десяток черных рож, среди них эФ-мэн, и даже наш китаец. Старый китаец считался у нас белым, хотя, с другой стороны, его поганая рожа была скорее зеленого цвета. Поганым считал его Кэн, он мне сообщил, что китаец «поганый»,

[11] Выходи (англ.)
[12] Подростков (англ.).

и я, не вдумываясь в тонкости, принял точку зрения Кэна и черного большинства — за что-то они его не любили. Но выжить не могли. Впрочем, китайцев не смогли выжить даже монголы...

Наши стояли и смотрели под дверь 1037-го. Из-под двери подымался дым, густой и черный. Появился Кэмпбэлл, затемненные очки старого неудачника, джинсы, клетчатая рубашка, бывшие блондинистые, а теперь серые буклины надо лбом. Связка ключей в руке. За ним жирный мексиканский Пэрэс, замменеджера, или младший менеджер, энтузиаст, нес огнетушитель. Наши радостно закричали.

Кэмпбэлл отпер дверь. Из комнаты в коридор ввалился сразу десяток кубических метров вонючего дыма. Как будто горел склад автомобильных покрышек. Отважные менеджеры прошли в дым. Кашляя, выскочили из дыма.

— Пойду позвоню пожарным, — сказал, разворачиваясь, эФ-мэн.

— Стой где стоишь, — закричал Кэмпбэлл. — Меня оштрафовали твои пожарные за предыдущий пожар. Справимся сами. Всего лишь тлеет матрас.

— эФ-мэн прав, — сказал мне тихо Кэн. Но так как все мы или почти все постоянно были в долгу у Кэмпбэлла, часто должны были за много месяцев назад, даже самые умные умники заткнулись. Кэмпбэлл и Пэрэс, намочив платки и набросив их на лица, ушли в дым. Кто-то из них разбил стекло в окне, и дым потянуло из коридора. Выскочив подышать, отплевавшись и отхаркавшись, они вернулись из второго похода со злополучным матрасом. Из черной дыры в брюхе матраса вздымались черный и серый дымы. Матрас был скорым пробегом вынесен на одну из лестниц, ближайшую, и обильно залит водой. Мы, толкаясь, разумеется, протиснулись и на лестницу. Включая Розали и Базуку.

— Чего приперлись, — сказал нам Кэмпбэлл. — Вам что, делать нечего? Рты раскрыли... А вы, красотки, валите на улицу, вас уже клиенты ищут. — Кэмпбэлл шлепнул Базуку по заднице.

Смущенные, мы стали расходиться. Нам действительно нечего было делать, а пожар — крупное развлечение. И бесплатное. Кэн, я, банда тинэйджеров и эФ-мэн — ни у кого из нас не было денег. Мы были народные массы отеля. У народа нет денег. Деньги есть у серьезных людей. В «Эмбасси» серьезные люди были видны по одежде. Серьезные люди были сутенеры или (часто в одном и том же лице) наркобизнесмены. Не драг-пушеры[13], прыгающие целый день в холле с пакетиками, но дилеры[14] — те, кто снабжает пушеров пакетиками. Серьезные люди с такими, как я, Кэн или эФ-мэн, даже не разговаривали. О чем?.. За все время моего пребывания в отеле один раз ночью в лифте со мной заговорил сутенер. Протирая платком бриллиант на кольце. И в эту ночь я был одет в мои лучшие тряпки. «Если тебе нужны отличные девочки — приходи в 532-й».

Кэн спустился в холл, я вернулся в компанию Муссолини.

В 1901 году Бенито, так же, как и я в этом возрасте, писал стихи, пытаясь их опубликовать. Расчувствовавшись, я вспомнил, как покойный Витька Проуторов и Сашка Тищенко понесли мое произведение в газету «Ленинська Змина», а я остался на противоположной стороне Сумской улицы — в парке Шевченко среди весенней зелени, — потел, переживая. Стихотворение, написанное мной к празднику Первомая (я был готов продать свой талант), комсомольская газета отвергла. Деликатно посоветовав моим приятелям: «Пусть ваш друг вначале научится писать стихи» и вручив им лист бумаги с титулом книги, если я не ошибаюсь, Матусовского «Как научиться писать стихи». Мое горькое поражение мы запили портвейном в кустах парка Шевченко. Но я хотя бы жил в городе с миллионным населением, в Харькове, а Муссолини — в деревне Предаппио... Летом 1902 года, в возрасте 19 лет, Муссолини сбежал в Швейцарию. Почему? Никаких убедительных сведений о причине побега не сохранилось. Б. Смиф высказал несколько упреков в адрес юноши Бенито, якобы бросившего семью без поддержки, в момент когда паппу Аллесандро посадили в тюрьму, и даже не постеснявшегося выманить у матери деньги на билет. Историки, вынужден был заметить я, немедленно становятся глупыми, если речь

[13] Продавцы наркотиков (англ.).
[14] Дельцы (англ.).

идет не о профессорском знании, но об опыте «подлой» жизни. Мне казалось естественным, что молодой человек бежит из Предаппио в Швейцарию. Смиф же искал причину. Да без причины, остолоп. Инстинктивно. Весной 1961 г. я, продав свой вело Борьке Чурилову за 50 рублей, уехал в Новороссийск. Один.

В Швейцарии Бенито взяли чернорабочим на строительство шоколадной фабрики. Сука историк укорил его, что долго на своем первом рабочем месте он не удержался. Тебя бы в чернорабочие, достойный Смиф, профессор Оксфорда, я посмотрел бы, как долго бы ты удержался. Живой ум и пылкое сердце всегда стремятся вырваться из капкана трудоустройства. На своей первой работе — чернорабочий бригады монтажников-высотников — я проработал с октября 1960 г. по февраль 1961-го. Мы сооружали далеко на окраине Харькова новый цех танкового завода. В степной грязи и жуткой стуже. Я выдерживал стужу лучше, нежели общество грубых людей... Я застрял на странице 17-й потому, что на ней обнаружилось сразу целое множество неизвестных мне слов, приходилось вгрызаться в словарь, и кое-каких слов в нем не оказалось...

От борьбы со словами меня отвлек запах. Дыма. Взглянув на дверь, я обнаружил, что ленивые толстые нити серого дыма просачиваются из-под нее в комнату. Распахнув дверь, я оказался лицом к плотной стене дыма. В дыму, было слышно, хлопали двери. Пожар. Новый, еще один.

Я проявил хладнокровие, для меня не удивительное, так как мне случалось уже замечать, что лицом к лицу с опасностью я становлюсь холоден и рассудителен. Я захлопнул дверь. Вынул из-под кровати чемодан с дневниками и рукописями (я хранил их в чемодане не на случай пожара, но использовав оный как архив). Взглянул на часы. Был час ночи. Я надел кожаное пальто. Намочил грязную рубашку, валявшуюся в ванной. Снял с двери, где он висел среди прочих одежд, прикрытый тряпкой, белый костюм. Накрыв голову рубашкой, я вдохнул глубоко и вышел в дым. Закрыл дверь на ключ. И, держась рукой за стену, побежал.

Я даже не пытался разглядеть что-либо в дыму. Я знал, что дверь на пожарную лестницу в этой части здания была четвертой после двери Кэна... Я выскочил на пожарную лестницу во вполне приличном состоянии. Не наглотавшись дыма, лишь с мокрой головы текли по спине и груди липкие струи. На лестнице не горел свет, но возможно было дышать. Спускаясь, я вспомнил о Кэне. Что если он спит? Перед тем, как заснуть, он обыкновенно долго кашляет. Мне его кашель хорошо слышен, ибо наши комнаты разделяет окрашенная в цвет стен бывшая дверь, некогда связывавшая две их в приличный номер. Он не кашлял — следовательно, его нет в номере. Да он и никогда не ложится в постель в столь раннее время. Разве что пьяный... Через несколько маршей воздух совсем очистился.

Внизу, в холле, хохотали, собравшись с чемоданчиками, сумками и пластиковыми мешками в руках, такие же погорельцы, как я, и сочувствующие. Черный человек, насколько я могу судить исходя из личного опыта, употребляет смех не только в качестве демонстрации своей радости, но и для демонстрации многих других эмоций. Смущения, например, или же замешательства. Я знаю теперь, что черные смеются даже от страха. Холл стонал от хохота. Плакал лишь грудной младенец на руках мамы-подростка.

У телефонов-автоматов в глубине хохотали, сгибаясь и держась за животы, телефонирующие типы, у конторки спинами к Кэмпбэллу хохотали, словно у бара, три сутенера, почему-то собравшиеся вместе, хохотали торговцы наркотиками, поспешно собирая с подоконников образчики товара... Ведь ожидались пожарные, а с ними, конечно же, прибудет и полиция... «Га-гага-ха, горим!» Баретта, держа пуделька на поводке, ошейник ослепительно сиял гранеными стеклами, поздоровался с приятелем: «Горим, брат! Горим!»

В тот период жизни мне удалось отрезать себя от прошлого. Я был обитатель «Эмбасси», а не русский парень — сын советского офицера, внук русских крестьян. Позднее, через годы, я воссоединил себя с моими корнями, вспомнил, что я русский, что папа мой проходил всю жизнь в эмвэдэшных галифе с синим кантом и все такое прочее, но в течение нескольких лет я был только я. Мне нечего было терять, как и моим соседям: горел отель, и хорошо бы сгоре-

ла с отелем вся эта такая жизнь. Весь Нью-Йорк хорошо бы сгорел. Когда у тебя ничего нет, ты хочешь, чтобы все сгорело, может быть, тебе даже что-нибудь достанется в пожаре. И потому, увидев Кэна, я бросился к нему, веселый, с чемоданом и белым костюмом в руке, мокрой головой... «Гага-га-га, горим, брат!»

Он хлестанул своей ладонью о мою, мы шлепнули еще раз ладонями. «Горим, брат, горим!» Кэн уже выпил, видно было по его сочным губам. «Ну и видок у тебя, Эдди!» — сообщил он мне хохоча.

— Знаю, — признал я и захохотал. — Потому что горим, брат, горим!

Мастодонтами, в слоновьих ботах с заклепками, в касках, ввалились пожарные, таща за собой кишки и все их дьяволово оборудование. Толпа пожарных. Часть их стала подниматься по трем лестницам, один отряд захватил лифт, выгрузив оттуда кучу протестующих, черт знает куда собравшихся — не на горящий ли десятый этаж? — разряженную группу девок и парией... Отель надрывался от хохота.

К двум часам утра первые группы наших стали робко просачиваться на свой этаж. Вопреки строгому запрету пожарных. Три комнаты зияли выгоревшими черными дырами вместо дверей, коридор был залит водой, пожарные выволакивали из коридора на лестницы обгоревшую, мокрую, еще дымящуюся мебель. Наши с Кэном комнаты оказались нетронутыми пожаром, ибо находились хотя и недалеко от 1037-го, но в другом колене коридора. Это в 1037-м, затушенный, остался тлеть под макетом невидимый очажок огня и раздулся до размеров большого пожара. Осторожно появившись из разных лестниц, мы сбились в толпу. Все наши, то есть те же подростки с девятого этажа, Кэн, я, китаец, эФ-мэн, девки, вся семья человека по кличке Кассиус. (Если жена и трое детей сидели под дверью 1051-го, всякому в отеле ясно было, что Кассиус напился, выгнал семью и трахает свою тринадцатилетнюю дочь. Происходило это раз в неделю. Ни жена Кассиуса, ни он сам, ни его дочь не делали из баиального инцеста трагедии.) ...Мы наблюдали и комментировали.

Время от времени кто-нибудь из пожарных, раздраженный нашим хохотом и замечаниями, отрываясь от выброса мебели или разрушения топориком остатков двери, огрызался: «Исчезните отсюда, черти, валите вниз!»

— Мы здесь живем, — кричали ему наши. — Идти нам некуда. Мы принадлежим к здесь, спасибо дяде Сэму... Га-га-га...

Огонь был уничтожен якобы повсюду, когда обнаружилось, что продолжает пузыриться почему-то краска на стене коридора, не затронутой пожаром. Пожарные решили проверить изнутри комнату, которой принадлежала пузырящаяся стена, и так как менеджера поблизости не было, без церемоний врезали по замку топориком. И ворвались. Мирно и не спеша горела панель 1043-го и спал себе на кровати одетый жилец.

Когда он вышел, мокрый, протирая глаза, — смесь черного с китайцем или корейцем, черная рожа, но узкие глаза и прямые волосы, — вышел, качаясь и моргая, мы все, не сговариваясь, зааплодировали.

— Что происходит? — спросил человек, хватая протянутую ему бутылку в бумажном пакете. — Что случилось? — Он отхлебнул из бутылки, закашлял и, очевидно проснувшись наконец, сказал: — Сдается мне, уж не пожар ли?..

Подростки завопили и запрыгали от восторга.

— Ему кажется, что это похоже на пожар, а? — эФ-мэн обвел всех нас взглядом, как бы приглашая в свидетели...

Явился Кэмпбэлл, злой оттого, очевидно, что всем было ясно, что это он виноват во втором пожаре, и разогнал нас. Обсуждая происшедшее, качая головами, мы разошлись. Я лег спать, потому как переживания и беготня меня утомили. Все остальные вовсе не легли спать, но веселились до рассвета. Пожар не сумел заставить их изменить инстинкту даже на одну ночь.

Влево от моего окна стена изгибается в один из двух внутренних дворов отеля, образованный тремя его крыльями. Тихо во дворе. Одиннадцать часов утра — самый тихий час в «Эмбасси». Не переговариваются из окна в окно, спят обитатели. Устали. Накричались, натанцевались, наглотались алкоголя и

на... Только проснется вдруг нервно особенно поздно засидевшийся вчера в баре и, обнаружив рядом роскошный черный зад подруги, пригладится, и, разбуженная, закричит обладательница зада, засмеется, задышит тяжело... Окна обыкновению открыты, старый отель фыркает радиаторами, хорошо отапливается. — потому стоны пары реверберируются двором-колоколом, всем слышны... А то прилетят и заорут над двором, заклюют нечистоты на дне его неправдоподобные, казалось бы, в каменном городе чайки. Отстонет пара в тяжелом алкогольном сексе, улетят чайки, и опять тихо... Спит отель, омываемый тяжелым прибоем Бродвея...

Я уже не спал, я читал, оставшись в кровати.

Смиф был суров к Муссолини, как директор школы к плохому подростку. «Плохой конец» — труп Бенито, подвешенный за ноги на Пьяззале Лорето в Милане, — казался оксфордскому профессору достаточным основанием для произнесения поучений девятнадцатилетнему итальянцу, бродяжничающему по Швейцарии. «Подобно Гитлеру в Вене, он не любил тяжелых работ, кроме этого ему не хватало силы воли или же качеств, необходимых для регулярного заработка».

«Для регулярного заработка ему не хватало глупости», — воскликнул я и выбрался из постели. Нужно было собираться в бюро по трудоустройству на 14-й улице, куда меня вызвали письмом. Я знал, что мой инспектор проведет со мной беседу, убеждая меня найти работу, угрожая лишить меня пособия, и нужно выглядеть жалким и как можно более глупым. Я пошел в ванную комнату и прорепетировал нужное выражение лица — раскрыл рот. Готовясь к походу, я не брился уже несколько дней, жиденькая татаро-монгольская щетина под носом и на кончике подбородка выглядела грязью. Сам себе я был противен, следовательно, буду противен и инспектору. Явиться в бюро по трудоустройству в моем нормальном виде (чистые джинсы, пиджак фиолетового бархата) еще не значит, что инспектор лишит меня пособия, это решает комиссия; но он может настучать рапорт в комиссию, и через полгода чертова машина может выбросить меня из числа облагодетельствованных. Не следует смущать инспектора — бедняк должен выглядеть как бедняк. Если Муссолини попрошайничал в Швейцарии и «употреблял насилие, чтобы добыть себе питание» (основываясь неизвестно на чем, утверждает Смиф), то в нынешние времена этот метод не годится. Если бедняк схватит богатство за горло у фонтана Линкольн-центра, бедняк отправится в тюрьму. В благополучных государствах, чтобы выжить, бедные люди научились хитрить. Мы прикидываемся дураками... Уже одетый, я вернулся к кровати и заглянул в книгу: «Он часто посещал ночлежки, но находил невыносимыми контакты с другими нищими. Однажды ночью он нашел убежище в ящике под «Гранд Понт» в Лозанне. Едва ли несколько недель прошло после того, как он покинул Италию, но он уже был арестован за бродяжничество. Полицейский рапорт замечает, что он «болен и мало склонен к работе». Приключившееся в Швейцарии с Муссолини показалось мне настолько актуальным, так захватило меня, что я взял книгу с собой.

Между Историей с большой буквы и жизнью обитателей ночлежек или отелей типа «Эмбасси» (я вошел в лифт «Эмбасси») нет обыкновенно никаких точек соприкосновения. История с большой буквы движется первыми учениками, приличными членами общества — парламентариями, профессорами, министрами и генералами. Она совершается в результате заседаний, постановлений, голосований, в хорошо освещенных залах дворцов. В массовые сцены допускаются почетные караулы в военных костюмах прошлых веков, стенографистки, посыльные, лакеи в белых перчатках. Посему плохо скрытое презрение сквозило в повествовании оксфордского Смифа (пополам с гадливостью и недоумением), когда он вынужден был констатировать, что вот иногда «История с большой буквы» забредает под «Гранд Понт» в Лозанне или в ночлежки. Смиф потерялся и, не зная, как себя вести, осудил юного итальянца по кодексу морали даже не профессорской, но буржуазной: «не обладал любовью к постоянному труду... подобно Гитлеру в Вене...»

Пересекая Бродвей, направляясь к остановке автобуса, я злорадно представлял себе оксфордского Смифа (или другую суку со страстью к Истории с большой буквы), насильственно поселенного в «Эмбасси». Дабы он понял,

что существуют иные нравы, иные нормы. Я представил себе, как эФ-мэн, сделав страшные глаза, подкатится к профессору и скажет: «Дай мне десять долларов, парнишка, если хочешь дожить до утра!» Позеленев, Смиф будет рыться в карманах в поисках десятки. Получив деньги, эФ-мэн дождется профессора в холле утром и, поддав его пузом, как тугим мешком, придвинет к стене. Дыша свининой и пивом в профессорский нос, прогундосит: «Дай мне еще червонец, паренек, если хочешь дожить до вечера...» — и прижмет профессора пузом. Только если в душе у тебя, профессор, есть настоящая решимость ударить ножом в брюхо эФ-мэна, если она светится в глазах твоих ярко, ты сможешь остановить процесс своего заклевывания. эФ-мэн — трус, однажды в моем присутствии его избили тинэйджеры с девятого этажа, но ты-то этого не знаешь. Он всего лишь толстый шакал и вымогатель, но он знает, как надуть щеки, выпятить губы, как следует понизить голос, дабы напугать белого человека. Понять, что эФ-мэн трус — в Оксфорде этому не учат. Для тебя он будет Циклоп Полифем. А я знаю, что у него слабые бока и возможно, если не противно, защекотать его до истерики...

В центре на 14-й воняло, как в ночлежке. Ясно, что клиентов запускали в девять и выгоняли в шесть, но за это время они успевали загадить воздух.

Бледный, шелушащиеся (от кожной болезни) морщинистые щеки, инспектор заметил книгу на моих коленях. Привстал заинтересованный, протянул руку:

— Можно? Муссолини... Ты читаешь это?

— Медленно. Для практики английского... Очень медленно. — Я подумал, что совершил ошибку, взяв книгу с собой. Одной из причин для получения пособия служило мне незнание английского. Основной причиной.

Инспектор помахал книгой коллеге за соседним столом:

— Посмотри на это, Джерри. Полюбуйся. Они теперь пропагандируют фашистов. Долбаный издательский бизнес. За грош они продадут родную мать... Их не трогает, какое влияние могут иметь подобные книги...

Я хотел было успокоить инспектора, сказать ему, что даже уцененная до 99 центов книга «Дуче», очевидно, не заинтересовала его соотечественников, ибо, пройдя мимо магазина, где я ее купил, я увидел, что цена на «Дуче» снижена до 79 центов, но я промолчал.

— Нравится тебе книга? — спросил инспектор.

— Я не знаю еще. Он был бродягой в Швейцарии. Ночевал в ночлежках. Интересно.

— Он был один из самых крупных сукиных сынов в современной Истории, — воскликнул инспектор и, вдруг схватившись за стол, объехал угол. Оказался рядом со мной, едва ли не упираясь в меня коленями.

— Может быть, — сказал я, стараясь звучать равнодушно. — Однако в Италии, где я прожил четыре месяца, простые люди говорили мне, что он построил дома для рабочих, дал людям хлеб и работу... — Я хотел сказать, если Муссолини сукин сын для моего инспектора, не обязательно он сукин сын для всех.

Инспектор уехал на стуле на свое нормальное место.

— Я говорю тебе, Джерри, однажды мы будем иметь здесь, в Соединенных Штатах, своего Муссолини или Гитлера. Черни у нас скопилось достаточно. Они лишь ждут сигнала. Суровый экономический кризис, и они выльются из отелей на улицы... — Он покосился на меня, как бы подозревая и меня в намерении вылиться из отеля на улицы в момент прихода экономического кризиса. Шлепнул моей книгой о стол рядом со мной.

— Ты ищешь работу?

— Разумеется, — сказал я вяло. — Но вы же знаете, в Нью-Йорке депрессия. Работы нет, тем более... — я хотел добавить обычное: «для не знающего английского», но не добавил, оборвал фразу.

— Я знаю, я знаю...

Собеседование вернулось в формальное русло. Он обязан был вызывать Мр. Савенко раз в шесть месяцев. Дабы оставить в моем досье запись о собеседовании. Он даже не мог развести передо мной демагогию, что он и другие американские налогоплательщики нас содержат. Нам они давали деньги, которые недоплачивали нашим же братьям — беднякам, «Нью-Йорк Таймс» только что

опубликовала статью «Вэлфэровские деньги», где объяснила, что, платя работающим идиотам из национальных меньшинств по 2,50 в час, Америка содержит таких, как я, да еще и имеет прибыль.

Двадцать минут мы дружно сочиняли фальшивую бумагу. Я называл ему имена организаций, в которых я якобы побывал за последние недели, ища работу. Он безостановочно писал, наклонившись над моим «делом», не переспрашивал меня, может быть, даже добавил несколько организаций по своей собственной инициативе.

На скамье меж двух потоков Бродвея сидел полупьяный и злой Ян, дожидаясь меня. С бутылкой водки «Абсолют». Он приходил теперь в мой отель выпить со мной и встретиться с Розали. До этого он находил проституток на улице. Я рассказал ему о простом трюке со стуком в дверь и просовыванием банкноты.

Мы поднялись. В коридоре, у лифта, стоял почему-то комод. Мы подняли его и понесли. У меня в 1026-м стоял точно такой же, но имущество мое недавно увеличилось. Я получил «в подарок» несколько ящиков рубашек, пиджаков и брюк. Проще говоря, наследник старика (я подрабатывал грузчиком) намеревался вышвырнуть тряпки на тротуар, я лишь спас их от мусорного трака. Если меня вдруг одолевало желание замаскироваться, я напяливал тяжелый черный костюм, могучий плащ и шпионом совершал по Бродвею круг почета. До 42-й и обратно.

— Тяжелый, б..., весь заплыл от краски, как бронированный, — выругался Ян, когда мы внесли комод в мою комнату. — Ты что, теперь и спишь с Муссолини, на хрена тягаешь с собой книгу?! — В голосе его звучало раздражение. Он был такой истерик, что лишние полкило веса, книга, положенная мной на комод, раздражила его.

— Ходил на собеседование в Эмплоймэнт-секцию. Обычно приходится ждать минимум час, делать не фига. К тому же в юности дуче нахожу множество эпизодов, сходных с эпизодами моей юности.

— Б..., какой важный... Он находит... — Я чувствовал, что Ян меня за что-то уважает. Отчасти, несомненно, по причине того, что я русский (Ян гордо называл себя антисемитом). Отчасти за то, что я жил себе единственным белым в отеле с черными. Отчасти за несколько статей, которые я успел напечатать в «Русском Деле», пока меня не уволили. А может быть, потому, что я не был мрачен и истеричен, подобно ему?

— Слушай, а ты не находишь случайно, что фашизм придет еще раз?

— Трудный вопрос задали вы мне, товарищ...

— Ты не кривляйся, Эдюня, я тебя серьезно спрашиваю. Здесь никого нет, ты, я и телевизор «Адвенчурэр»... Что ты думаешь насчет будущего фашизма? Я вот тебе признаюсь первый открыто, что считаю себя фашистом. Ментально то есть, а не членом чего-либо. Я за то, чтоб сильные люди правили миром, а не вся эта погань, только потому, что они удобно родились в нужном месте и посещали нужные университеты. Я за то, чтоб фашизм пришел опять.

— Знаешь анекдот про слона? У клетки со слоном стоит посетитель и читает табличку: «В день слон съедает 50 кг моркови, 50 кг капусты, 200 кг сена...» Подходит сторож зоопарка. Посетитель спрашивает сторожа: «А что, дед, правда слон все это может съесть? Так много?» — «Съесть-то он съест, — смеется сторож, — да хто же ему дасть...»

Ян, сбросив ботинки, потер ступней о ступню. Носки на нем были рваные. Не по причине нищеты, но от небрежности:

— И что ты этой басней хотел сказать? Я тебя не понял...

— То, что ты можешь сколько угодно считать себя фашистом, если тебе это льстит, но что ты можешь сделать? Система работает на подавление тебя, а не твоих мыслей. Ты эффективно подавлен: живешь еще с тремя бедняками на девяностых улицах в полуразвалившейся квартире, получаешь, как и твой покорный слуга (я ткнул себя в грудь), пособие, подторговываешь пластинками, у тебя есть деньги на водку, иногда — на Розали... Ясно, что ты можешь сожрать много, как слон из анекдота. Тебе тридцать, ты можешь потребить

много баб и хорошего шампанского, и в тебе достаточно свирепости и истеричности, чтобы выпустить кровь из большого количества богатых обитателей Парк-Авеню и Пятой, но кто тебе дасть, Ян? Посмотри на себя в зеркало. Полупьян, челочка прилипла ко лбу, такими в телесериях изображают невысокого класса злодеев, районного, так сказать, масштаба... садящимися на электрический стул. — В качестве свидетеля я указал Яну на телевизор «Андвенчурэр».

— На себя погляди, — пробурчал он, но я знал, что он не захочет обидеться. Он ходил ко мне именно в надежде на такие разговоры, он специально заводил их, такие разговоры. Водку он мог пить и с тремя холостяками-соседями. Мне разговоры с ним также были нужны. И не только потому, что он единственный продолжал посещать меня и не боялся «Эмбасси». Он еще был для меня крайним примером, как бы живым экземпляром человека, каким и я могу сделаться, но каким не следует быть. Злобин был неприятный тип, без шарма, поганый и опасный, как кусок старого оконного стекла, да... однако у него были жадные, свирепые грезы волка, а не домашнего животного.

— Тоже ничего хорошего, — согласился я. — В глубочайшем дерьме. Однако я менее злобен, чем ты. И у меня иногда просыпается чувство юмора, смягчающее меня. Посему я могу общаться и с тобой, и балетными пэдэ, — я кивнул в сторону окна. Там на Колумбус-авеню видны были окна квартиры Лешки Кранца и Володи, танцора и балетного критика... — А ты, злой человек, с балетными пэдэ общаться не можешь.

Я достиг цели, он — загоготал. Ибо сидеть с ним и его бутылкой и слушать его рассказы о том, как сегодня утром ему опять хотелось напасть на богатую шлюху, живущую в доме напротив, на 93-й улице, как он пошел за ней, и так как уже тепло и она вышла в одном платье, то он мог видеть, какой формы у нее трусы, — эта перспектива мне не улыбалась. Я достал из крошечного холодильника редиску, колбасу, хлеб.

— Посолиднее ничего нет?

— Куриный суп.

— Щи уже не варишь? — ехидно осведомился он. Я читал ему пару глав из моей книги, еще когда я жил в «Винслоу». Первая глава начиналась с того, что я варю щи.

— Эпоха щей закончилась. Я живу теперь в эпоху куриных супов.

— И то верно, если все время жрать щи, желудок можно продырявить. С язвой жить хреново. Я вот мучаюсь...

— У тебя не язва, ты сам язва, — сказал я.

— Я не притворяюсь, — обиделся он.

— Сорри. Неудачная штука. Ты знаешь, я иногда думаю, что я мог бы быть таким, как ты, но...

— Таким, как я, в каком смысле? Быть в моем положении никому не желаю, но свои реакции никому не отдам... — Ян загоготал.

Я сел на кровать, так как единственный стул занял он.

— Пэдэ Володя, — я вновь кивнул на окно, призывая его в свидетели, — называет меня «человеком из подполья», но он не знает тебя, тебя бы он называл Монстром...

— Какой из них Володя? Друг Барышникова? Который сменил фамилию Шмакофф на Макоф? Я видел его пару раз. Коротыш жопатый, да? Еврей?

— Верно... Слышал бы он твою характеристику.

— Что вижу, то и называю.

— Он неплохой мужик. Всегда меня кормит, когда к ним захожу. Несколько раз то пятерку, то двадцатку совал... Капризный он, конечно, и вздорный бывает, но кто без недостатков, пусть швырнет в него камень...

— Хрена ему двадцатка. Он за книгу об этом гаденыше Барышникове небось жирнейшие башли получил.

— Фашист Ян, — сказал я, — ты ненавидишь всякого, кто преуспел, и больше всего — своего брата эмигранта, да?

— Ты сам его терпеть не можешь, танцора-жополиза. Ты столько раз об этом говорил.

Он был прав. Он помнил. Я говорил.

Из окна вдруг мощно подуло, так что одна из створок, до сих пор закрытая, приоткрылась. Воздух, крепко-весенний, принесло из самого Централ-Парка. Свежими листьями запахло, мокрыми тучами, растоптанной почкой.

— Ни хрена нам, Эдюня, хорошего не видать, — сказал Ян и усмехнулся. Ни хрена.

— Не распускай чернуху... Весна идет... Познакомься лучше с польской девкой, сколько можно у Розали двадцатки оставлять. В Культурном центре на 46-й появилось много польских девок.

— Розали хороша тем, что как ты ей скажешь, так она за двадцатку и станет. А девка, тем более польская стерва, прежде чем отдаться своему мазохизму, будет долго выделываться... Мне эти выкрутасы ни к чему — я мужик серьезный. Петушьи церемонии эти — распускание перьев, надувание гребня, походы в рестораны, — прежде чем она соизволит раздвинуть ноги, — мне не нужны.

— Что ты хочешь, все так устроено... Нужно соблюдать условности... Вначале внесешь капитал, потом последует прибыль.

— Я никогда не соблюдал. Но там, — он показал рукою в сторону окон (я понял, что он имеет в виду не Централ-парк и не квартиру моих пэдэ на Колумбус, но нашу бывшую родину), — там у меня была сила, магнетизм, — он гордо обвел мою комнату взглядом. — Там я на них, как змей на кроликов, глядел. А если руку на задницу соизволивал класть, — так она сразу чувствовала, что хозяин пришел, и вся под ноги швырялась. Сразу мазохизм свой с первой встречи открывала. Топчи меня, ходи по мне, ешь меня... Здесь я потерял силу... — Он помолчал: — Понимаешь, здесь они чувствуют, что я никто, что сила во мне не течет. Я не о сексуальной только силе говорю, ты понимаешь, но об этой, общебиологической, которой сексуальная только составная часть. Там я был Большое Мужское Животное. Здесь я никто в их обществе, среди их самцов, а девка, она ведь животное сверхчувствительное, она чувствует в глазу неуверенность, в руке трепыхание. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Я понимал. Он был в ударе, он сумел объяснить то, что я чувствовал сам. Когда ты не хозяин, то в прикосновении твоем — робость. Чтоб тверда рука была, ты должен победить другого самца или самцов. А здесь ни он, ни я — никого победить не можем.

— Давай свой суп, — сказал он.

Когда мы выпили всю водку, заедая горячим (я разогревал его три раза) супом, он сказал мне:

— Фашист, Эдюля, — это мужчина. Понимаешь? — Он встал и, пройдя в туалет, не закрывая двери, стал шумно уринировать. — Понял, в чем дело? — спросил он из туалета. — Коммунизм или капитализм построены из всеобщей немужественности, на средних ощущениях, и только фашизм построен на мужественности. Настоящий мужчина — всегда фашист.

Во взгляде Яна сияло такое презрение к этому миру, такой фанатизм человека, только что открывшего для себя новую могущественную религию, что я решил проводить его из отеля. Человек с таким взглядом должен был неминуемо нарваться на неприятности.

В лифте находился одинокий черный в джинсовой жилетке на голой груди. Ян было рванулся выразить ему свое презрение, но я туго обнял его за шею, якобы проявляя пьяные чувства. «Друг ты мой, Супермэн!» — закричал я. Парень в жилетке скалился, довольный. Пьяные белые люди вызвали в нем чувство превосходства. Не отпуская Яна из крепкого объятия, я провел его мимо нашего бара и вывел в ночь. Повел его вверх по Бродвею.

Вечер был теплый. Дрожали цветные неоны на старом бродвейском асфальте. Музыка и визги девушек доносились из баров. Сотней доменных печей могуче дышал округ нас Нью-Йорк — литейный цех завода «Звезды и Полосы».

Перейдя с ним 89-ю, я оставил его. Похлопал его по плечу, предполагая, что четыре улицы до его 93-й он прошагает без приключений сам. Повернув-

шись физиономией в даун-таун[15], я ждал зеленого огня, дабы пуститься вниз по Бродвею, но пересечь 89-ю в обратном направлении мне не удалось. Я услышал голос Яна, крики: «мазэр-факер! факер!» [16], шарканье ног по асфальту. И вновь «мазэр-факер!» Я сделал то, что сделал бы каждый на моем месте. Я повернулся и побежал на голос приятеля.

В полублоке у стены здания с темными окнами Ян Злобин танцевал боевой танец перед жирным типом провинциального вида, совсем не аппер-бродвейским, но скорее глубинно нью-джерсийским.

У Злобина в руке был нож. Я знал, что он носит нож. Я сам часто ходил с ножом, а то и с двумя. Выяснять, кто из них прав, кто виноват, было поздно. Уговаривать их разойтись — бессмысленно. Не услышат даже... И я поступил так, как учили меня поступать на Салтовском поселке, двадцать лет назад. Среди выставленного к краю тротуара мусора я увидел доски. Должно быть, отработавшие свой век магазинные полки. Я схватил доску и, подбежав сбоку, ударил ею нью-джерсийского типа. Тип поймал удар плечом и куском уха и вцепился в доску, пытаясь вырвать ее из моих рук. В этот момент Ян прилип к нему, и рука с ножом прикоснулась к боку типа несколько раз. Тип заорал. Коротко, потом трелью. «Бежим!» — закричал я и, бросив доску, побежал с Бродвея на 90-ю улицу. И понесся по ней по направлению к Хадсон-ривер. Ян побежал за мной.

За нами не бежал никто. На Вест-Энд Авеню мы остановили такси и поехали на 42-ю, к Таймз Сквэр. Фамилия таксиста на карточке оказалась греческая. В такси Ян стал смеяться. Тихо, потом сильнее. Вполне трезвым смехом довольного человека.

— Чему ты смеешься, — разозлился я. — Может быть, ты убил его.

— Не убил. Порезал свинью, факт. Но жить будет. Я его не в живот, но в легкое. Зато мне теперь хорошо... Спасибо, Эдюня, за помощь доской. Ты прыткий, я не ожидал...

Таким, как Злобин, не говорят о гуманизме. Такие, как я.

— Ты, я вижу, задался целью сесть в тюрягу.

— Какая тюряга, Эдюня... Зато я себя мужиком чувствую. Попробуй мою руку... — Он сунул свою ладонь в мою.

Спокойная сухая рука. Твердая. В моменты его депрессий или истерик, я запомнил, рука у него бывала влажной.

— Факт, рука у тебя другая. Слушай, а кто первый начал?

— Без разницы, Эдюня... Я посмотрел на него. Он посмотрел на меня. Может, он тоже искал кровопускания... Теперь мне нужен хороший оргазм... — Злобин захохотал.

Я простился с ним у Таймз Сквэр. В час ночи Андреа кончала работу в ресторане на Ист 54-й улицы. Я не договаривался с нею встретиться, но я подумал, раз уж все так получилось...

Андреа была самой некрасивой официанткой во «Фрайарс Инн» (переводится как нечто вроде «Монашеское убежище»). И самой молоденькой. Ей было 19 лет, и на щеках ее, покрытых серым пушком, помещалось несколько прыщей. Андреа отчаянно пыталась избавиться от прыщей и потому никогда никому не отказывала в сексе. Доктор сказал ей, что прыщи у нее от сексуальной недостаточности. Сказав это, доктор завалил ее на докторскую кушетку. Пять лет назад.

— Эдуард, — воскликнула она, выйдя из туалета, куда ушла краситься, маскировать прыщи еще задолго до моего появления. — Я уже думала, что тебя убили в твоем отеле. Я звонила тебе на этой неделе каждый день, и всякий раз отвечали, что такого нет.

— Кэмпбэлл в отпуске. Пэрэс один и менеджер и телефонист — в одном лице. Ему лень работать, переключать клеммы, вот он и нашел выход: нет такого, и все. Плюс он меня лично не выносит. В любом случае, в отель звонят мало, наши аборигены не жалуют телефонную связь, им нужно видеть лицо

[15] То есть в сторону от центра, буквально — нижний город (англ.).
[16] Грубые английские ругательства (англ.).

человека, его реакцию. Друзья, если желают переговорить, приходят, а не звонят. Как в Харькове...

Маржэри, слушавшая наш разговор, блондинка с соблазнительно круглым задом, захохотала. Я бы с большим удовольствием... Маржэри, но у нее был постоянный бойфренд, мальчик, в которого она (так утверждала Андреа) была влюблена. Вернее, в его очень хорошие половые способности. Все эти бесстыжие женские подробности официантки сообщали друг другу, подавая посетителям стэйки, фрэнч фрайс и салаты. У Маржэри какая-то особая анатомия, посему ей нужен мужчина с особыми половыми параметрами. Подумать только... огромный город: небоскребы, железо, бетон, мани, борьба за мани, а жизнь кругложопой красивенькой Маржэри управляется не небоскребами и не железом, и не бетоном, и не федеральным правительством, но этим, слипшимся в джинсах ее бойфренда мясным цилиндром... Это ее религия и идеология, этой самой Маржэри. Почему девки такие бесстыже-откровенные? Даже Ян Злобин не рассказывает мне о достоинствах проститутки Розали...

Андреа хотела есть, и мы пересекли Третью Авеню и вошли в «Пи Джей Кларкс». В баре было полно людей, в ресторане — мало. Была ее очередь угощать меня. Я взял стэйк тартар. Она взяла себе чье-то жареное крыло... Почему вообще нужно есть, проработав день среди еды? За моей спиной старые, остановившиеся часы пробили вдруг сюрреалистические семь часов. Была же половина второго ночи. Андреа, глаза ее замаслились, схватила меня под столом за руку, и положила ее себе на живот. Под платье. Живот был голый. Я погладил живот...

Когда мы выходили из «Пи Джей Кларкс» в третьем часу, в баре еще оставалось предостаточное количество народу. Предположить, что все эти приличные люди сидят, как и я, на пособии, я не мог. Если им следует быть на службе в девять утра, я им не завидовал.

В холле «Эмбасси», куда мы попали спустя десять минут, выйдя из такси, было шумно и накурено. Дверь из холла в бар была открыта, и оттуда доносилась мелодия, исполняемая на пьяно. На живом инструменте, никакая не запись. Жизнь плескалась в «Эмбасси» глубокая, не хуже, чем в «Пи Джей Кларкс». Из лифта вышла навстречу нам с Андреа компания, похожая на цирковую труппу.

Не спали мы долго. Андреа особенно крепко пахла. Засыпая, положив на меня липкую крупную ногу, она прошептала: «Что случилось с моим мужчиной? Ты был сегодня тако-о-ой хороший...» Я не рассказал ей о теории Яна Злобина. Я положил руку на задницу официантки и отметил, что согласно этой теории Андреа подвигалась благодарно под моей ладонью, влилась в ладонь поудобнее и уснула...

Когда мы проснулись, шел дождь. Тихий, весенний дождь. Было больше двенадцати, потому Андреа, даже не приняв душ, спешно убежала. Три раза в неделю она посещала уроки современного балета. На мой взгляд, ее тяжелый зад и ляжки располагали только к одному виду балета — к балету в постели, но разве кто-нибудь кого-нибудь на этой земле переубедил? Она тратила большую часть зарабатываемых во «Фрайарс Инн» денег на эти уроки...

Протирая ящики комода, принесенного вчера с Яном, я нашел под старой газетой, устилавшей дно одного из них, листья, вырванные из книги. Вглядевшись в мелкий шрифт, обнаружил текст статей уголовного кодекса штата Нью-Йорк. «Нападение с применением смертоносного оружия...» — все возможные виды, даже нападение с молотком. Следовали цифры сроков, дополнения и исключения. Несколько статей были обведены красным карандашом. Ясно, что обитатели «Эмбасси» стремились к знаниям: желали знать свои права и обязанности. Тип, покинувший номер 1063-й, у которого мы нашли комод, покинул его не добровольно, — его арестовала полиция.

Заполнив комод новой начинкой (среди прочих бумаг — треть рукописи «Дневника неудачника»), я лег у окна и раскрыл «Дуче». Вчера я оставил юношу Муссолини в Швейцарии. «Кажется, однако, — ехидно прокомментировал Смиф, — что он был куда менее беден, чем он будет претендовать позднее. Ин-

сьма и фотографии показывают его очень хорошо одетым и далеким от исхудания».

Зазвонил телефон: «1026-й? Спустись-ка вниз».

Пэрэс звучал плохо. Пэрэс скажет мне, чтобы я заплатил за проживание. У меня оставалось семнадцать долларов на десять дней. Мне придется отдать их Пэрэсу. Бросить кость собаке, чтобы не давать ей мяса.

Неизвестное злоумышленное животное успело нагадить, очевидно, лишь за пару минут до моего выхода в коридор, потому в коридоре удушливо воняло свежим дерьмом. У лифта стоял черный старик с собакой, перманентно прижимая кнопку пальцем. Приглядевшись, я увидел, что ухо и часть щеки старика представляли сплошную кроваво-гнойную язву. Я не видел гнойного старика до этого. Возможно, он поселился в номере арестованного.

Над конторкой менеджера был натянут желтый пластик. С потолка холла на пластик тяжело и часто сваливались капли воды. Каким образом вода сумела протечь через все одиннадцать этажей отеля? Пэрэс сидел под пластиком злой, и очень. Я выложил семнадцать долларов.

— Ты что, смеешься надо мной? — сказал Пэрэс, брезгливо приподняв мои доллары одной рукой. — Ты должен нам за полтора месяца, следовательно, 240 плюс таксы.

Я был уверен, что он возьмет деньги, немного повыкобениваясь.

— Кэмпбэлл согласился подождать, — сказал я. — Следующий чек весь отдам вам. Я плачу лучше других, разве нет? эФ-мэн должен еще за прошлый год, за 1976-й...

— Дерьмо! — сказал Пэрэс. — Тебе не стыдно? Фэт-мэн имеет два грамма мозга. Черных вообще ничто не колышет... А ты книжки имеешь...

— Не будь расистом, — сказал я.

Он показал головой. Придвинул к себе мои доллары.

— Квитанцию... — сказал я.

— Рубашки по двадцать долларов носишь... пиджак из бархата... — сказал Пэрэс, грустно оглядев меня. И стал писать квитанцию, качая головой.

Поднявшись к себе, я вернулся к Муссолини. Страничка уголовного кодекса штата Нью-Йорк, послужившая мне закладкой, лежала под фразой «он был куда менее беден, чем он будет претендовать позднее. Письма и фотографии показывают его очень хорошо одетым и далеким от исхудания».

ЮБИЛЕЙ ДЯДИ ИЗИ

Теперь я знаю, как они становятся Мэйерами Ланскими или Лемке Бухгалтерами. Я увидел своими глазами. Я присутствовал на одном из эпизодов «крестного отца», прокрученном передо мною жизнью.

Я застрял той весной в Лос-Анджелесе. Я и Виктор сидели в русском ресторане «Мишка» на Сансэт бульваре, пили водку, и он сказал мне: «Я еду на юбилей к дяде Изе. Поехали со мной. Не пожалеешь. Уверен, что тебе будет интересно. — И, увидев скептическую гримасу на моем лице, выдал мне справку: — Дядя Изя — мультимиллионер и мафиози. Доказать это наверное никакой суд не сможет, но факт, что он, приехав пять лет назад из Кишинева, сделал огромные деньги в строительном бизнесе, говорит сам за себя. Всем известно, кому принадлежит в Штатах строительный бизнес...».

По непонятным мне причинам адвокат Виктор опекал меня и считал почему-то своей обязанностью меня развлекать. Ловкий, циничный, или желающий казаться таковым, злой, Виктор гордился своей профессией. Неизвестные мне деловые операции связывали его с хорошо откормленными типами в расстегнутых до пупа рубашках и с золотыми цепями вокруг красных шей, время от времени подходивших к нашему столу, чтобы с ним поздороваться. «Поехали, — продолжил он соблазнение, — посмотришь, как евреи выделываются. Он себе целый замок построил над обрывом, этот старый козел! Бассейн, по дому снизу доверху по всем пяти этажам лифт ходит... Слуги, растения..., — И, стряхнув пепел с «Мальборо», Виктор хрипловатым голосом пропел несколько строчек воровской русской песни:

Там девочки танцуют голые,
Там дамы в соболях,
Лакеи носят вина,
А воры носят фрак!

Мы встали и направились к выходу через весь шумный ресторан «Мишка». На сцену как раз вышла полупьяная певица Галина, и публика, состоявшая в основном из евреев-эмигрантов, шумно захлопала. У исполнительницы русских и цыганских песен был хороший голос; высокая и красивая, она пользовалась популярностью. Начинался еще один вечер в «Мишке». «Ха, сейчас ты увидишь еще более густую смесь...» — сказал Виктор, когда мы оказались за дверью. И Виктор поморщился. Непонятно было, нравится ли ему густая смесь, или он ее осуждает. Или ей завидует.

Его мощный серый «крайслер» доставил нас вверх, на холмы, выше лос-анджелесского смога, туда, где живут богатые. Когда мы въехали на черный асфальт частной дороги, лишь по одной стороне которой, на низвергающемся в долину краю обрыва, возвышались жилища тех, кто сделал свои деньги, пошел дождь. Тихий и мягкий, но тропически густой, он быстро закрасил переднее стекло, и Виктор включил щетки. Примитивные роботы, заменяющие труд клошара с тряпкой в черных руках, сгибаясь худыми коленями саранчи, монотонно исполняли свои упражнения. Снова и снова.

Мы прибыли далеко не первыми. Прыщавый толстоногий юноша в джинсовых шортах, с красным флажком в руках, рассеянно заметался, пытаясь отыскать для нас место парковки. Уже несколько десятков автомобилей скатывалось вниз вдоль дороги, уткнувшись мордами в тщательно забетонированный срез скалы или в полутропические мексиканские кустарники. Мы отдали «крайслер» юноше. Виктор взял с заднего сиденья сверток — подарок, и мы пошли к замку дяди Изи. Короткий дождь прекратился. Остро пахло мокрым лимоном в жарком банном воздухе. Только два этажа возвышались, облицованные розовым мрамором или подделкой под мрамор, над уровнем дороги. «Похоже на мавзолей или баню...», — шепнул я Виктору. Мы взошли по ступеням. У широко раскрытых высоких двустворчатых дверей в дом стояла крупная дама с живым потрескавшимся лицом, обильно украшенным золотом. Золотые массивные серьги с зелеными камнями (изумруды, предположил я), а в полутьме ее рта приветливо мелькнуло еще несколько золотых пятен.

— Поздравляю, Роза, с новорожденным! — сказал Виктор, поцеловав даму в щеки и потом в губы. — Вот привез вам писателя...

Дама Роза улыбнулась нам всем лицом: тяжелым подбородком, подведенными синими глазами, жирной губной помадой стареющей еврейской красавицы. В свое время она была, без сомнения, «гуд бэд джуиш герл» [1], строптивая и любвеобильная, но, отгуляв свое, утомившись, вышла замуж за бизнесмена Изю, нарожала ему детей и сейчас иронически, но прилежно выполняет роль хозяйки дома, матери и жены.

— Здравствуйте, писатель! — сказала она. — У нас сегодня будет целый стол писателей и журналистов. — Она назвала фамилии редактора русской газеты, издающейся в Лос-Анджелесе, редактора русского журнала, издающегося в Израиле, и еще пару фамилий, совсем мне неизвестных. — Спускайтесь вниз, «сам» должен быть в большой гостиной или у бассейна.

Через открытые двери зала, в котором мы находились, я смог разглядеть еще по меньшей мере два зала, обильно заставленных шкафами с посудой и хрусталем, устланных коврами и сверкающих свеженатертым паркетом. Юноша в белой паре, с галстуком и почему-то в ермолке, приколотой к волосам, открыл перед нами тяжелую дверь лифта. Мы поехали вниз, Виктор прижимал к бедру подарок.

Из лифта мы вышли на террасу, уставленную рослыми пальмами в кадках. По середине террасы голубел обширный бассейн, а в нем покачивалась надувная резиновая шлюпка. Вокруг бассейна, у пальм, стояли группами гости. Терраса вся висела над туманной долиной, на дне которой, неразличимый сейчас, должен был находиться, по моим расчетам, Лос-Анджелес. От бездны тер-

[1] Славная жидовочка (англ.).

расу ограничивал металлический забор с перилами, достигающий уровня груди взрослого человека.

— «Сам», вон, видишь, в белом шелковом пиджаке! — Виктор указал мне на группу коренастых мужчин, возглавляемую круглолицым, обильно-загорелым типом в очках с затемненными стеклами. Дядя Изя держал в руке рюмку с ярко-желтым напитком и показывал другой рукой в пол террасы. Вдруг топнул по полу ногой. Другие тоже топнули. Мы приблизились к группе.

— Поздравляю дядю Изю с наступающим юбилеем, — сказал Виктор и от бедра понес руку по направлению к дядиизиному небольшому, но широкому животу, выступающему из расстегнутого пиджака. Живот был затянут в белую трикотажную рубашку поло. — Скромный подарок.

Дядя Изя взял сверток. Поглядел на Виктора, потом на меня, стоящего рядом с Виктором. «Спасибо, Витюша, сладкий», — произнес он наконец и передал сверток оказавшемуся рядом усатому и мускулистому молодому человеку. И хлопнул Виктора по плечу.

— Вот, привез вам Лимонова, — подтолкнул меня Виктор.

— Поздравляю. Желаю вам успехов, — сказал я.

— Спасибо... спасибо... — Дядя Изя некоторое время разглядывал меня плохо видимыми мне под затемненными стеклами глазами. — Как же, слышал о вас, читал, — неожиданно объявил он. И, приветливо исказив физиономию, протянул мне руку.

Мы обменялись рукопожатием, а Виктор прокомментировал вслух:

— Дядя Изя любит читать и хорошо знает русскую литературу.

— Возьмите себе выпить, хлопцы, — Дядя Изя, взяв нас за плечи, повернул нас лицами к дому. — Вон видите, на нижнем этаже — бар. А еще один на третьем. — И он подтолкнул нас в сторону дома.

Мы ушли с террасы в указанную хозяином дверь и обнаружили там хорошо оборудованный бар со стойкой, высокими стульями, диванами и несколькими столами. Бар мог спокойно потягаться с баром небольшого отеля. Несколько барменов, один в белой куртке, распоряжались за стойкой.

— Эдик! — на меня выпрямился от одного из столов худой, с крутой шапкой крупно завитой листвы волос, некто. Шапка с сединой. — Да ты помнишь ли меня? — засомневался он первым. — Я — Мишка, Мишка Козловский, кинооператор. Помнишь, я приходил к тебе в Москве? Ты тогда жил на улице Марии Ульяновой. Я приносил тебе перешивать брюки из израильских посылок...

Тут я его вспомнил. Вместе с еще одним типом, кинорежиссером, они сняли неплохой фильм об одном из важнейших событий гражданской войны в России — о путче левых эсеров. Теперь он жил здесь и работал в Голливуде. Говорили, что успешно. Я присел рядом с ним и его компанией, состоящей из нескольких уже подвыпивших мужчин, двое из них были американцы с банальнейшими именами — Джон и Стив, и такими же, как имена, банальнейшими физиономиями, и девушки Анны — широкозадой, с голубыми глазами и крупной грудью. Так как все гости дяди Изи, кроме меня, были, по утверждению Виктора, евреями, то нет нужды упоминать, что и Анна была еврейской девушкой. Мишка Козловский называл ее «моя актриса». Была ли она актрисой в Голливуде или в Мишкиной жизни? То, что с Мишкой ее связывали неделовые отношения, нетрудно было догадаться — время от времени они вдруг непроизвольно касались друг друга таким постельным образом и в таких местах, что сомнения быть не могло — они были любовники.

— Димочка и Жозик тоже здесь, ты их видел? — счел нужным спросить Мишка. Димочка и Жозик, догадался я, должно быть, его сын и жена.

Мы взяли выпить. Виктор заговорил с Мишкой. В бар вошли, распространяя обильный запах сразу нескольких крепких духов, несколько женщин зрелого возраста. Крупнотелесые, они с достоинством несли обильную плоть свою на высоких каблуках, шелестели юбками, позвякивали браслетами и бусами и поскрипывали туфлями и новыми сумками. Вслед за женщинами, гордясь ими и солидно посапывая, шли владельцы раздушенных и обвешанных украшениями самок — еврейские самцы. Джон и Стив с испуганным восхищением поглядели на мощных тяжелобедрых самок. Виктор — компания оказалась ему знакомой — представил женщин: «Лида, Дора, Рива...» — и потом мужчин: «Эдуард, Юрий, Эдуард, Дэвик, Эдуард, Жорик». Они предпочитают называть друг друга уменьшительными именами. В некрологах в русской газете преспокойно пишут: «Скорбим о смерти Жорика такого-то, безвременно ушедшего от нас на шестьдесят восьмом году жизни».

Компания, покачивая золотыми цепями и серьгами, жонглируя золотыми портсигарами, сияя золотыми авторучками и зубами, отошла к бару. «Рыжий с красным лицом, Дэйвик, — владелец фабрики оптики. Очки, подзорные трубы, бинокли... — зашептал мне в ухо Виктор. — Жорик, со шрамом, темный, — в мясном бизнесе... У него несколько мясных магазинов...» Я не успел узнать, какого рода полезной деятельностью занимается Юрик, потому что на колени ко мне вдруг опустилась широкозадая Анна и, не обращая внимания на задергавшийся внезапно глаз своего кинооператора, начала гладить мне шею. «Извините, я хотел бы воспользоваться местным туалетом», — сказал я грубо и стряхнул широкозадую Анну с колен. У меня не было ни малейшего желания ввязываться в их местные интриги. Мишка повеселел, а широкозадая моментально сделалась моим врагом. Я прочел это в ее глазах.

Виктор протиснулся за мной из бара. Мы возвратились на террасу, где голоса толпы уже слились в монотонный тяжелый гуд, как будто большие, по паре метров длиной, жуки Хичкока стадом висели над бассейном, пожужживая крыльями. В момент нашего появления на террасе хозяин снимал пиджак с помощью того же усатого молодца, каковой унес в свое время подарок Виктора. Усатый удалился с пиджаком. Обнажились рубашка-поло и крупные тяжелые волосатые руки.

— Здоров ты, как бык, дядя Изя! — восхищенно сообщил Виктор, без стеснения разглядывая крупный торс нашего хозяина. Очевидно, Виктор занимал особое положение и пользовался привилегиями, потому что стоящие рядом с дядей Изей мужчины вопросительно притихли, услышав сравнение дяди Изи с быком.

— И ты, Витюшка, будешь всегда здоров, если бросишь курить мерзкие сигаретки и меньше шляться по бабам, — ласково сказал хозяин и, поймав моего приятеля твердой рукой за шею, заставил его согнуться в поясе. Продержав в согнутом состоянии некоторое время, отпустил. Гости угодливо рассмеялись.

Виктор тоже смеялся, но когда мы, выбравшись из центра внимания, отошли к забору и заглянули в по-прежнему туманную и зеленую бездну, Виктор потер шею и пробурчал: «Теперь он здоров, старый козел. Пять лет назад он был в таком дерьме, что собирался покончить с собой и уже написал завещание. Они помогли ему. Дали заем и воткнули в строительный бизнес. Меня бы кто воткнул...» — Он опять потер шею.

— Они? Ты имеешь в виду мафиози?

— А кто, по-твоему? — раздраженно ответил он вопросом на вопрос. — Кто?

— Но почему именно его, Виктор?

— Почему? Потому что старый козел был большим строительным боссом в Союзе, начальником стройтреста Молдавской республики. У него гигантский опыт жулика...

— Мало ли кто кем был там. Здесь другой мир, другие законы.

Виктор покачал головой:

— Невинный Лимонов. Сколько тебе пришлось испытать на своей шкуре и там и тут, и ты все не можешь усвоить, что везде одна банда. Он там был в банде, и здесь его приняли в банду. Тебя, или даже меня, никогда не примут...

— У Изи что, были связи с «ними», когда он еще был в Союзе?

— Связи... — он рассмеялся. — «Они» кто, ты думаешь? Романтические юноши с автоматами? Такие же жопатые и брюхатые отцы семейств, как и на старом континенте. Только посмелее, гниды. — Отвернувшись от бездны к толпе, вдруг скороговоркой выдавил: — К нам направляется старшая дочка хозяина Ритка. Страшна, но рекомендую. Замуж за тебя Изя ее не выдаст, потому что ты русский «хазерюка», но поиметь ее и поиметь определенные блага вполне можешь. Она это любит.

— Я улетаю в Нью-Йорк послезавтра, а оттуда в Париж, домой, — заметил я. — Ты забыл?

— Останься, — не смутился он. — Что ты будешь делать все лето в своем

Париже? Нищету разводить. Они же тебе гроши платят за книги. Поживешь тут, Изя снабдит... — Он хмыкнул.

Я хотел было спросить его, почему он сам не последует своему совету, но не успел. В голубом платье, в белых туфлях стояла перед нами дочка хозяина.

— Познакомься, Ритуля, — Виктор подтолкнул меня, — Эдуард Лимонов, порнографический писатель... Почище Генри Миллера будет.

Я пожал чуть влажную руку женщины:

— Очень приятно. — Моя мама научила меня в нежном детстве этой формуле, я ее и употребляю бездумно. Виктору я решил сделать выговор:

— Если я тебя буду представлять как «лойер порнографер» [2], тебе будет приятно?

Дочка хозяина рассмеялась.

— Ты что, не пишешь о сексе? Ты что, не описываешь подробности сексуальных актов? — Виктор звучал обиженно.

— Только когда это требуется для характеристики определенного персонажа, — объяснил я сухо. — Никогда в целях возбуждения читателя.

— Ну да, конечно, — пробормотал он, — в целях характеристики... Ритка, вот тебе кавалер будет, хочешь писателя?

— Вы к нам проездом? — Дочка хозяина обвела меня взглядом всего, от белых туфель до ежа надо лбом. Так без стеснения оглядывают либо предмет неодушевленный, либо животное. То есть она меня оглядела с совершенным безразличием к тому, как я это ее оглядывание восприму.

— Проездом.

— Он может и задержаться, если для тебя, — сказал Виктор. — Ну что?

— Ничего. — Резкие черты загорелого лица изобразили тяжелую улыбку. Крупные, как у мамы Розы, серьги в ушах покачнулись всем золотом и каратами камней. — Хороший мальчик.

— Мальчику под сорок, — легко обиделся я. Она явно не приняла меня всерьез, потому я тотчас же воспринял ее всерьез и вгляделся в ее лицо внимательнее. Глаза у дочки хозяина были тяжелые.

— Все равно мальчик. — Она переступила с ноги на ногу. Крепко и сильно стукнув каблуками, так что тяжесть тела отдалась явственно в покрытии террасы. Страшной я бы ее не назвал. Нос был крупноват и две резкие складки спускались от носа к верхней губе. Это придавало ее лицу животное выражение. Лет тридцать было дочке хозяина. Судя по лицу и глазам и подрагиванию на каблуках крепкого тела, она занимается сексом, как некоторые женщины неудержимо едят сладкое, — с плотоядной ненавистью к объекту желания. Как жрут шоколад, уничтожая. Подумать о ней нежно не было никакой возможности, ибо она не была нежной женщиной, но именно женщиной крутой, сильной и грубой, — дочкой хозяина.

— Поднимись с ним в спальню, он тебя оттрепет за здорово живешь, этот мальчик, — сказал Виктор, защищая мою честь, хотя я его об этом и не просил.

— Не будь хамом, Вить, — она раздраженно взмахнула жирными синими ресницами и повернулась, чтобы уйти. Решила улыбнуться мне: — Имейте хорошее время в нашем доме... — Ушла, колыхая голубым задом.

— С неграми спит, стерва! — сказал ей вслед Виктор.

— Она что тебе, не дала когда-то, что ты меня так усиленно сватал?

— Да на кой она мне, — начал он и расхохотался. — Ты прав, не дала. У нас с ней биологическая несовместимость. Но я не из-за этого тебя с ней уложить хотел. Но чтоб ты благами попользовался, пожил у дяди Изи в хозяйстве, отожрался...

— Я всегда считал, что мафиози не терпят любовников своих дочерей. В фильмах их всегда убирают или пытаются убрать...

— То в фильмах. Фильмы — дерьмо... Их такие же, как я, евреи производят. Вон Мишка Козловский, — творец. Голливуд, кто, ты думаешь, основал? Мы, евреи! Традиционно еврейский гешефт. Вчера — Цукор, сегодня — Спилберг...

— Мой первый русский издатель, еврей из Бруклина, хотел, чтоб я продал им киноправа на книгу. Я высмеял его, что, мол, какой же смысл им покупать киноправа на русский текст. Он мне, сердясь, долго доказывал, что многие продюсеры в Голливуде преспокойно читают по-русски, потому как они евреи из России. Прав я ему, конечно, не продал.

[2] Закоренелого порнографиста (англ.).

— Ну и дурак, не послушался мудрого еврея. Может быть, давно бы уже фильм был сделан. Богатым бы был.

Из бара уже знакомые мне Лида, Дора и Рива, хохоча, вытащили Дэйвика и, раскачав на счет «раз, два, три!», швырнули его в бассейн. Пышная дама в розовом платье, поместив недопитый джин с тоником в кадку с пальмой, с истошным «А-ааааа-х!» пробежала мимо нас к бассейну и бросилась в него. Сама.

— Рано начали бросаться, — заметил мой приятель, взглянув на часы. — До обеда даже еще не дотянули. В прошлом году все-таки продержались весь обед и только с наступлением темноты стали сигать в бассейн. Между прочим, бассейн на сваях — запатентованное изобретение нашего хозяина. Он один умеет такие воздвигать над бездной. Вода ведь масса тяжелая, и при здешних калифорнийских землетрясениях такое сооруженьице должно обладать необыкновенной устойчивостью.

На террасе появилась с колокольчиком в руках жена хозяина:

— Товарищи! Товарищи! Минуточку внимания. Прошу всех к столам, товарищи. Каждый найдет свою фамилию в тарелке.

— Га-га-га, — почти зарыдал Виктор. — Пойдем, товарищ Лимонов, найдем наши фамилии в тарелках. Гниды, так и не отучились от советских привычек. Так и будут товарищами до конца дней своих... Товарищ Лева Школьников, передайте вашему товарищу Додику Шестинскому, что если он не уберет свой ресторан с Вилшир бульвара, мы пришьем вашего товарища, — спародировал он, кого-то. — И пришили...

— Кого пришили?

— Кого надо. — Он внезапно сделался серьезным.—Я забыл, что ты писатель. Тебе скажи, ты завтра в романе используешь. С вами осторожно следует себя вести.

Я пожал плечами:

— Ты путаешь писателей с журналистами.

В банкетном зале, он находился на один этаж выше уровня террасы, обнаружилось, что меня определили за один стол с интеллектуалами. Редактор местной русской газеты, редактор израильского журнала, поэт Борисович, кино-Козловский... Остальных интеллектуалов я не знал. Столы были больше, на десяток человек каждый. Все уже были на местах, когда я занял свой стул. Мне показалось, что интеллектуалы нехорошо поглядели на меня. Виктор «нашел свою фамилию в тарелке» другого стола.

Оказалось, что у вечера есть ведущий. Чернявый, с побитым оспой лицом молодой человек в бабочке вышел на эстраду. Да-да, там была эстрада, в банкетном зале дяди Изи, как в клубе, и на ней стояло пианино, возвышался микрофон. Чернявый вышел и сказал, что слово для стихотворного приветствия предоставляется поэту Борисовичу. Борисович — румяный человек небольшого роста, с бабочкой, как и ведущий, но с ярко-красной бабочкой, в белых брызгах, профессионально, не спеша выбрался из-за стола и прошел к микрофону.

— Стихотворение-экспромт по поводу Пятьдесят Первого юбилея нашего всеми уважаемого дяди Изи Соломицера, — объявил он. — Написано сегодня в 10 часов 40 минут утра. — Он выдержал паузу.

Сегодня в этом просторном и шикарном зале
Мы собрались, товарищи, как прошлый год мы отмечали,
Отметить дяди Изи юбилей,
Который служит вечным солнцем для своих друзей..

Если бывают у еврея горе вдруг, беда,
В Лос-Анджелесе, городе-герое,
Он знает, с горем и бедой пойти куда
И где ему всегда обед накроют.

Куда, я спрашиваю вас, пойдет несчастный
В момент тревожный и в момент опасный?
В чей дом бежим мы, если нас ударит кризис?
Конечно, в дом на сваях дяди...

Борисович остановился, давая залу прокричать всеми двадцатью столами и двумя сотнями глоток: «Изи — с!» «Дяди Изи!» Удовлетворенно выслушав зал, он опять захватил микрофон и, рванув его на себя, закричал:

— Так выпьем же, товарищи, за здоровье нашего дорогого Изи Соломицера! Выпьем на «три», товарищи! Раз... два... три.

Интеллектуалы творческого труда за нашим столом, все, дружно торопясь, разлили водку и успели выпить к «три» Борисовича.

— Как чешет Борисович, можно подумать, профессиональный конферансье, а не поэт,— сказал редактор местной газеты.— Он у меня страничкой юмора заведует.

— Так как приветствий и поздравлений поступило великое множество, то мы решили, товарищи, распределить их поровну и зачитать в течение обеда, иначе все вы останетесь голодными, — сказал ведущий.— А сейчас музыкальная пауза...

К роялю уселся тощий молодой человек в черных брюках и белой рубашке, толстый оркестрант номер два вытащил из-за рояля контрабас, ведущий взял в руки саксофон, и бригада стала извлекать из инструментов вальс «Амурские волны». Впрочем, я не уверен, может быть, это были «Дунайские волны», я всегда путаю их.

Конечно, в таком достойном доме на столах стояли красная и черная икра, и салат «одесский», и котлеты по-киевски, и цыплята-табака, о, я мог бы посвятить полсотни страниц кулинарии этого празднества, но ограничусь одним заявлением. А именно, базируясь на моем личном опыте многолетней жизни на юге СССР — на Украине, скажу, что ничто не отличало стол лос-анджелесовского строительного босса Изи Соломицера от стола начальника стройтреста Молдавской республики Изи Соломицера.

— Как живет! — воскликнул редактор израильского журнала, выкладывая на свою тарелку черную икру из фарфорового бочонка. — Как живет человек!

— В этом году он еще скромно разошелся. Пятидесятилетие свое в прошлом году он пушечными выстрелами отмечал. На террасе установили пушку и шпарили, разумеется холостыми, всю ночь. Полиция приезжала. Тоже отметили... Полиция приглашена была... — редактор лос-анджелесовской газеты явно похвалялся, гордясь своим широким соотечественником перед посланцем бедной страны Израиль.

— Завтра Изя устраивает юбилей для американцев. Сегодня для своих. Не хочет смешивать, — сказал мне кино-Козловский. Он был единственный за столом, кто время от времени обращался ко мне. Все другие меня не замечали. Я думаю, что они, как и Виктор, считали меня писателем-порнографом, но в отличие от Виктора вовсе не радовались этому. В еврейском обществе чрезвычайно развито моральное, семейное начало, и, не отказываясь от бизнеса разложения чужих нравов (в том числе и порнобизнеса), они семейственны и реакционно-патриархальны в своей среде. У меня было такое впечатление, что творческие работники даже сдвинулись от меня, расположились гуще в их части стола. Рядом со мной же было просторно.

Местный Плейбой-клуб (по «просьбе» четы Вольшонков, как объявил ведущий) прислал дяде Изе Плейбой-Банни[3] с поздравлением. Одетая в купальник с хвостом и ушами, Банни преподнесла дяде Изе вечную, бессрочную подписку на журнал «Плейбой», и дядя Изя протанцевал с Банни, солидно и прилично поворачиваясь, несколько туров вальса. Теперь это уже был безошибочно вальс «Под небом Парижа». Присев ненадолго за стол дяди Изи, Банни вскоре ушла, сославшись на то, что она на работе.

Две сотни гостей жевали пахучие блюда и пахли сами. Пот омывал тела, разогретые водкой и пищей. Пахли крепкие средиземноморские салаты, соединяясь с запахом духов, дезодорантов и алкоголя. Осмелев, гости заговорили громче, стали перекрикиваться между столами.

— Прошу тишину, товарищи, — сказал ведущий, появившись у микрофона. — Слово предоставляется новорожденному.

Дядя Изя (о, в эти минуты он был похож на Аристотеля Онассиса в фильме «Последний тайкун») сделал шаг на эстраду, качнул к себе микрофон и сказал, вытирая платком шею:

— Тут немало было сказано хороших слов обо мне, спасибо, товарищи, большое. Теперь я хочу произнести тост за вас, мои дорогие приглашенные!

Микрофон усилил в несколько раз и без того заметный южно-простонародный акцент бывшего начальника стройтреста Молдавской республики, и «д о р о г ы э п р р ы г г л а ш е н н ы э» прозвучало железом о железо, грубо и с грохотом. Простой человек из народа, добившийся денег и успеха, обращается к своему клану, к друзьям в своем доме, на своем юбилее. Он мог бы без труда научиться говорить менее грубо, но, по всей вероятности, не хотел. Он хотел, как Аристотель Онассис, плясать «сиртаки» или что там, «фрейлейкс», на голливудском закате в маленьком голливудском порту, среди голливудских греков, в его случае — евреев. Мы и находились совсем рядом с Голливудом, кстати говоря.

Мы, гости, выпили за нас. Приветствуя дядю Изю. С рюмкой в руке Изя сошел с эстрады. Ведущий объявил нечто вроде антракта.

— Кто хочет, может выйти подышать, пока «услуга», — сказал он, — освободит немножечко столы. Кто не хочет, может кушать дальше.

Так как мои соседи, творческие интеллигенты, не сдвинулись с места и продолжали «кушать дальше», я не желал быть белой вороной и остался тоже сидеть за столом.

На плечо мое легла тяжелая рука:

— Ну как ты себя чувствуешь, Эдик? Мои интеллигенты тебя не обижают? — Дядя Изя изволил самолично остановиться за моим стулом. Я встал. Мама успела научить меня вежливости. А если бы и не успела, когда такой вот тип стоит за вами, в рубашке поло, рука с перстнями на вашем плече, вы вскочите сами, хотя никто вас этому и не учил.

— Я одну книжку твою прочел, — сказал он. — Об одиночестве ты хорошо написал... Чего смотришь так? Не веришь? Я всегда книжки любил читать, и в Союзе читал.

Я подумал, что очень может быть. Ведь для того, чтобы читать книжки, нужно всего лишь знать тридцать три буквы алфавита. И вообще, зачем ему врать, он что, от меня зависит? Нет. Никак. Однако его отношение к писателю — анахроническое, советское. И всегда будет таким, ибо он вырос в обществе, где писатель стоит на шкале ценностей куда выше начальника стройтреста. В Лос-Анджелесе — куда ниже.

— Спасибо, — пробормотал я, — мне очень приятно. Тем более от такого неожиданного читателя, как вы.

Он улыбнулся всем большим лицом.

— А ты что думал, констракшэн-босс[4] только с бетоном умеет да с железом... Мы и к благородному материалу иной раз обращаемся... Давай выпьем за тебя. Ты что пьешь?

На нас, заметил я, смотрел весь зал. На него, разумеется. Лица творческих интеллигентов за нашим столом подобрели. Очень.

— Всё пью.

— А я коньяк. У меня, понимаешь, давление, так я коньяк пью.

Незамедлительно, безо всякого со стороны дяди Изи требования, усатый уже разливал в наши рюмки из граненного широкими плоскостями графина пахучую жидкость.

— Давай, за твои литературные успехи!

Мы стоя выпили. Часть гостей зааплодировала. Он похлопал меня по плечу:

— Гуляй, веселись... Если чего надо, не стесняйся. Только шепни, всегда помогу. — И Аристотелем Онассисом, сунув одну руку в карман, в другой — недопитая рюмка, отошел, чтобы поцеловать только что явившуюся пышную блондинку в желтом платье.

— Ну теперь ты — персона грата, — возникнув, объявил Виктор. Физиономия его сияла. — Обрати внимание, что все жополизы на тебя теперь по-другому смотрят. На тебе печать только что поставили: «Одобрен дядей Изей».

---

[3] Банни — кролик (англ.). Девушки, рекламирующие журнал «Плейбой», ходят в костюмах кроликов, ведь кролик — символ похотливости.

[4] Строительный босс (англ.).

А это кое-что в нашем городе. Опять советую тебе застрять у нас здесь. Подумай. Множество благ поимеешь.

Мы спустились на террасу. Над бассейном горели праздничные гирлянды иллюминаций. В надувную шлюпку пытались попасть, прыгая с края бассейна, одетые и неодетые, но в купальных костюмах, мужчины и женщины. Из баров и в бары курсировали потоки гостей. Несмотря на постоянное присутствие на террасе достаточного количества официантов с подносами, полными алкоголя. Визг, смех, сигаретный дым, вопли падающих в бассейн, брызги...

Я стоял за пальмой, спиной к зарешеченной до уровня моих лопаток бездне, в руке бокал. Я боролся с собственным алкоголизмом. Я дал себе слово растянуть мое виски с водой хотя бы еще на полчаса. Я поглядывал на часы. Борясь с алкоголизмом, я наблюдал, как в нескольких шагах от меня в шезлонге Виктор тискает белые груди пьяной чужой жены. Безнаказанно, ибо пьяный муж остался спать в баре.

— Здорово, Лимонов! — неизвестный мне очень молодой человек появился передо мной. В розовой майке с зелеными рукавами, с надписью «Соц-Арт» на груди. В тугих, обливающих тощий зад и ноги, полосатых штанах до колен.

— Здорово, — ответил я вовсе незнакомому молодому человеку.

— Ты меня не узнал, конечно, — понял юноша. — Я был у тебя в Москве с отцом. Я, правда, тогда был совсем маленький. Я Дима Козловский. Скушно тебе со всей этой мешпухой, да, Лимонов?

— Изучаю нравы. Не скушно. А ты-таки очень вырос, Дима Козловский. Кем же ты стал, что ты делаешь в жизни?

— Я скульптором стал... То есть «артист» по-американски. Я еще в Нью-Йорке начал. Отец меня к Эрнсту Неизвестному отдал в ученики. Ну я у него прокантовался два года, знаешь, все эти профессиональные штуки учился делать — гипс мешал, за водкой скульптору бегал...

— Постигал основы мастерства, так сказать...

— Угу, основы... Потом отец здесь, в Лос-Анджелесе, устроился, и я в конце концов тоже сюда привалил. Я теперь сам работаю. Знаешь, в стиле «соц-арта», советский социалистический реализм, портреты вождей и все такое прочее... сейчас очень модно в Америке. Вот на Гугенхайм в этом году подал, может, дадут... — он засмеялся, — как жиду.

— Гугенхайм еще японцам охотно дают, — сказал я. — Почему-то их любят в Гугенхайме.

— Ну и как ты все это находишь, Лимонов? — юный скульптор повернулся к бассейну. — Этнография, да?.. Гляди, папан сигает!

Отец его, Миша Козловский, с воплем бросился в бассейн, но, пролетев мимо шлюпки, шлепнулся задом о воду. Я сказал:

— Да, этнография. Нечто похожее на фильм «Крестный отец».

— У папана хоть фигура, как у мальчика, — заметил сын Дима. — А вообще-то вокруг одни слоны. Как человеку за сорок переваливает, так он превращается в слона. Почему так, а, Лимонов?

— Я думаю, в этом возрасте простой мужик полностью устает от жизни и начинает готовиться к смерти. Психологически опускается, что ли... Ну вот, а деформация духа связана с деформацией тела...

— Я живу отдельно от родителей, в хипповом районе, на Вэнис-бич. Ты, конечно, бывал уже на Вэнис-бич? Да, Лимонов?

Он резонно считал меня передовым типом, впереди своего племени и поколения. Да, я впервые побывал на Венис-бич черт знает когда. Еще в 1976 году. Но ко времени нашей беседы у бассейна я уже остыл от восторгов, уже не находил на Венис-бич ни фига интересного... Захолустный район вдоль пляжа захолустного провинциального города Лос-Анджелеса, и только. Я не хотел его разочаровывать, в любом случае мой скептицизм был ему недоступен по причине возраста. Я сказал только: «О, на Венис-бич!».

— Если мне дадут Гугенхайма, я приеду в Париж, — сказал он. — Хорошо в Париже, Лимонов?

— А черт его знает. Дима... Я уже не знаю, привык. Может, и хорошо. Наверное, хорошо. Приехать в Париж первый раз — здорово, в этом я уверен.

— Ты мне не дашь свой адрес в Париже, а, Лимонов?

Я написал ему адрес, а он нацарапал мне в записную книжку свой. Начал он с огромной буквы Д.

— Пиши мельче, — сказал я, — ты у меня не один.

Возможно, он обиделся на это «не один», потому как, написав адрес, сразу отошел. Виктор, возможно, поняв, что чужая жена слишком пьяна и дальше шезлонга на террасе переместить ее тело ему не удастся, отдал белые груди в другие руки и приблизился ко мне.

— Ну что, — сказал он, — скучаешь? Бабу отказываешься взять? Хочешь, я тебя сейчас отвезу?

— Take your time[5], Витторию, я наблюдаю жизнь, успокойся...

— Я ничего, спокоен, но ты какой-то неактивный сегодня.

— Ты тоже не очень активен, — я кивнул в сторону шезлонга, где в тени возился с пьяной дамой сменивший Виктора самец. — Тело оставил. На тебя это непохоже. Я был уверен, что ты никогда не выпускаешь добычу из когтей.

— Здесь это невозможно, — пояснил он, как мне показалось, неохотно. — Здесь все свои. До пули в лоб можно дозажиматься. Это тебе не молодежная вечеринка, но юбилей хозяина, шефа клана. Порядок должен быть, хотя бы на поверхности.

— А он? — показал я на копошащуюся в шезлонге уже самым непристойным образом пару.

— Муж. Оклемался. Пришел к жене. И я, как честный еврей, встал и ушел. Понял?

Я не понял его логики. Я только понял, что он чем-то раздражен. Может быть, собой — тем, что не удержался и потянуло его к обильным пьяным телесам чужой жены.

Миша Козловский, в сотый, может быть, раз прыгнув с края бассейна, попал-таки задом в резиновую шлюпку, и она не перевернулась. Веселая толпа горячо зааплодировала умельцу. Тотчас же образовалась очередь желающих проделать то же самое, побить только что установленное спортивное достижение. Перекрывая музыкальный шум из банкетного зала вначале мычанием, но поколебавшись, яснее, четче, обозначились слова «Трех танкистов». Я ожидал услышать здесь любую песню, но только не эту.

Три танкиста,
Хаим пулеметчик,
Экипаж машины боевой, —

пропел Виктор и захохотал. — Адаптировали песню, сперли у вас, русских. Ты знаешь, что под нее евреи против арабов во все войны воевали. Начиная с сорок восьмого года?

Я знал, что они переделали многие русские песни, но не знал, что переделали и эту. Уж эта мне почему-то казалась совсем и только русской. Представить эту мелодию над иудейскими холмами я никак не мог. Да и здесь, над Лос-Анджелесом, «экипаж машины боевой» звучал горячечным бредом.

— Израиль — гомункулус, созданный двумя сумасшедшими учеными — дядей Сэмом и дядей Джо. — Виктор взял из моих рук бокал. — Позволишь? — Допил виски. — Израиль — монстр Франкестайн, сшитый из частей давно умерших народов...

— Стихи? Твои?

— Статья. — Виктор вздохнул. — Моя. Создаю в свободное от клиентов время. По моему глубокому убеждению, евреи не созданы жить монолитной группой на национальной территории. Они загнивают и вырождаются. Евреи задуманы творцом как рассеянное среди чужих племя, и только в этих условиях рассеяния они блестящи и эффективны. — Он взглянул на часы. — Поедем, может быть, если ты не возражаешь?

Я не имел сложившегося мнения на этот счет. Однако боязнь напиться вдали от дома (без автомобиля, вариант пешеходного возвращения к кровати в таком анти-городе, как Лос-Анджелес, отпадал), склонила меня к принятию его предложения. «Поедем», — согласился я.

И мы начали продвигаться сквозь толпу к лифту. Нас немилосердно

[5] Занимайся своими делами (англ.).

толкали горячие распухшие тела гостей дяди Изи. Я подумал: интересно, рассчитал ли Изя свою террасу на две сотни гостей и не забыл ли прибавить по пять или десять фунтов на каждого — вес поглощенной гостями пищи?

Уже у самого лифта меня схватил за рукав редактор израильского журнала: «Не хотите ли что-нибудь дать для нашего органа?» Чубчик его был мокрым, усы лоснились, пиджак был расстегнут. Галстук исчез. Рубашка была мокрой на груди, очевидно, он находился совсем близко к бассейну.

— Вы ведь знаете мой стиль, — вежливо сказал я, не придавая никакого значения его предложению. Неожиданное дружелюбие полупьяного редактора. Завтра он забудет о своем предложении. — В любом случае вы не сможете меня напечатать. Ваши читатели-ханжи засыпят вас жалобами.

— В моем журнале я хозяин, — обиделся редактор и стал застегивать рубашку на все имеющиеся пуговицы.

— Я буду ждать тебя в машине. — Виктор, зевнув, вошел в лифт. Вместе с ним вошли усатый «телохранитель» дяди Изи, как я его мысленно называл, и слон в ермолке, приколотой к волосам. Каждая рука слона, выходящая на свет божий из полурукава белой рубашки, была толще моей ляжки.

— Я предпочел бы ваши стихи, — сказал редактор, закончив застегивать пуговицы. И стал их расстегивать.

— Вот видите, вы не хотите рисковать. Стихов я не пишу уже много лет. Могу выслать вам пару рассказов.

— Только, пожалуйста, без мата, — он вытер капли пота или воды бассейна со лба. — Без мата я напечатаю.

Наверху, в холле, сидели, тихо беседуя, усатый слон в ермолке и еще двое в ермолках, но не слоны. «Доброй ночи! — сказал я и прибавил по-английски: — Гуд лак ту ю*». «И вам того же», — ответил усатый один за всех. Очень вежливо и стерильно. Бесчувственно.

А почему, собственно, он должен проявлять ко мне чувства? — подумал я. Судя по всему, он как бы глава охраны у дяди Изи. У него хватает забот. У него на руках больше двух сотен хорошо разогретых алкоголем гостей. Я вспомнил, что не простился ни с дядей Изей, ни с дамой Розой, ни с дочерью Ритой. Вернуться? Нет, решил я, при таком количестве гостей церемония прощания необязательна. Не может же Изя прощаться с каждым. Да и где он, в последние полчаса я не видел его среди гостей. Может быть, он ушел отдохнуть в дальние комнаты своего мавзолея-дворца-бани?

Снаружи, на окрашенной отсветами иллюминации дороге, подрагивал мотором «крайслер» Виктора. Он открыл дверь: «Садись».

Я сел, и он тотчас сдвинул «крайслер». На одном из поворотов дороги свет яркого прожектора залил внутренности автомобиля, и я увидел, что рубашка Виктора на груди разорвана, а щеку пересекают темные царапины.

— Что у тебя с рубашкой? И со щекой?

— Побили, стервы,—он улыбнулся, и я увидел, что губы у него разбиты.

— Когда?

— Пока ты с тараканом редактором объяснялся.

— Но за что?

— Знаешь пословицу: было бы за что, убили бы. Для острастки. По приказу Пахана. Чтоб не лапал жен честных евреев, даже если они пьяные, как свиньи.

Всю остальную часть дороги он молчал. Когда он остановил «крайслер» у многоквартирного дома, в одной из ячеек-сот которого ждала меня кровать, я вылез и протянул ему руку на прощанье, заметив, что губы его распухли.

— Бывай, — сказал он. — Понял все про жизнь жидовского коллектива?

— Понял. Сурово они тебя...

— Воспитывают, стервы! — И, выжав газ, сорвался с места.

Пробираясь по коридору многоквартирного дома, я и понял вдруг, как они становятся Лемке-бухгалтерами и Мейерами Ланскими. Или Менахемами Бегинами.

---

* Удачи вам (англ.).

Вечная Россия

Неуничтожимость нашего Отечества, неистощимость народных сил, неистребимая воля России к национальному возрождению во всей его полноте — духовной и государственной — таков пафос новой рубрики нашего журнала, знакомство с которой мы начинаем с разговора о сегодняшней судьбе тех, кто когда-то проложил путь русской державности — от моря до моря.

Казачество... Доблестное и победоносное. Оклеветанное и почти уничтоженное. Ныне воскресающее из пепла.

Разумеется, внимание «Нашего современника» к теме казачьего возрождения не случайно. Журнал, на чьем знамени в течение десятилетий начертано слово «Россия», не мог умолчать о второй жизни исторического явления, которое явилось одной из наиболее характерных черт русского народа. «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть», — писал Л. Толстой. И был недалек от истины. Не случайно, что во времена претворения в жизнь антинациональных утопий массированный террор обрушился прежде всего на казачество.

Очевидно: полнокровное русское национально-государственное возрождение немыслимо без одной из важнейших его составных частей — подлинного, а не декоративно-опереточного возрождения казачества, бывшего в свое время нерушимым «оборонным поясом» когда-то единой и неделимой России. Разумеется, нынешние казаки не избежали участи всего современного русского патриотического движения — в их адрес вновь летят наветы эпохи Ленина, Свердлова, Троцкого, Казакова, подвергшихся подлинному геноциду, опять пытаются представить «антисемитами», «нагаечниками», «угнетателями национальных меньшинств».

Но потомки Ермака, Платова, Краснова не тушуются. Снова обретают свое право на реальную (а не музейную) жизнь казачья форма, горделивая осанка, оружие. Конечно, на этом пути порой нелегко избежать известной, впрочем, вполне понятной, идеализации прошлого, грозящей повторением ошибок. Тем ценнее голоса казаков, выступающих с позиций исторической самокритики.

Во всяком случае, уже сегодня ясно, что возрождающееся казачество выходит за узкие культурные, этнографические рамки и заявляет о себе как серьезная общественно-политическая сила, способная вновь послужить нашему многострадальному Отечеству.

ЮРИЙ АВЕРЬЯНОВ, АНДРЕЙ ВОРОНОВ

СЧАСТЬЕ БЫТЬ КАЗАКОМ

«Слава Богу на небе!
Государю — на земле!»
(Из старинной казачьей песни).

Казаки! Бессменный авангард России, славное имя, великие дела, яркая и удивительная история. И вместе с тем сколько загадок, недомолвок, а в последнее время — измышлений и клеветы.

Попытаемся же вначале разобраться, что такое казачество?

Во-первых, о самом слове КАЗАКИ. Это международное слово, скорее всего тюркского происхождения. В тюркских языках иносказательно казак — вольный

АВЕРЬЯНОВ Юрий Глебович родился в 1959 году в городе Одессе. Закончил исторический факультет Белорусского государственного университета, историк, этнолог. Работает в Центре по изучению русского зарубежья и переселенцев при благотворительном фонде «Мир и человек». Член правления Московского землячества казаков.

ВОРОНОВ Андрей Александрович родился в Москве в 1931 году. Закончил 1-й Московский медицинский институт, аспирантуру Института этнографии АН СССР. Антрополог, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Академии наук. Директор Центра по изучению русского зарубежья и переселенцев. Имеет 96 научных публикаций в стране и за рубежом. Живет в Москве.

бродяга, разбойник, свободный человек. Также — страж, кочевник, прозвище кочевников у оседлых народов Туркестана. Отсюда, кстати, возникло и современное название казахского народа.

В исторической реальности у народов Восточной Европы и в тюркском мире этим словом называли самые различные, не похожие друг на друга общности людей. Так, у тюрков казаками называли бессемейных воинов, которые составляли авангард при передвижениях орд кочевников,— они постоянно несли разведывательную и сторожевую службу. Позднее такие воины охраняли баскаков, а с XIV в. переходили на службу к усилившимся вновь русским князьям, которые расселяли часть из них по рубежам для несения привычной им сторожевой службы. С XVI в. известно о существовании групп служилых людей тюркского происхождения на крымско-турецкой службе. Их называли перекопскими и азовскими казаками, кое в чем они были близки по своему положению к русским служилым казакам. Кроме того, в XV — начале XVI века в степях юго-восточной Руси к западу от Волги бродили разбойничьи шайки — этих бандитов по тюркской традиции также называли казаками. Это были в основном остатки орд кочевников, которые занимались разбоем и наемничеством. Постепенно они исчезли (к середине XVI в.).

Слово «казак» (козак) от восточных соседей перешло в русский язык и издавна стало в восточнославянских языках родным. Иносказательно в восточнославянских языках казак — вольный человек, гуляка, смелый и задиристый человек независимого нрава. В былинах — вольный богатырь, защитник народа. В русском языке вплоть до XVIII в. держалось изначальное русское слово, синоним слова казак — «молодец»: «уход в молодечество», «атаманы и молодцы». В XVIII — нач. XX веков употребляется наиболее привычное для нас определение казаков как части вооруженных сил, преимущественно кавалерии и конной артиллерии. В еще более узком смысле казаки — нижние чины казачьих войсковых частей.

Следует отметить, что казаками иногда называли людей, совершенно не соответствующих нашим обычным представлениям о казаках. Так, в допетровской Руси казаками называли вольнонаемных работников, позднее — батраков или поденщиков. У русских помещиков была прислуга «казаки», «казачки» — дворовые люди, которых обычно и одевали «а-ля казак».

Понятия, вкладываемые веками в это слово, стали столь многогранными и неоднозначными, что требуют внимательного рассмотрения по историческим периодам.

КАЗАКИ XV—XVII ВЕКОВ

В эти времена народы Восточной Европы называли казаками три совершенно различные общности людей, которые возникли и существовали в огромной, полной опасностей зоне соприкосновения Христианского мира с миром Великой степи.

1) *Вольные казаки.* Первое более или менее достоверное упоминание о казаках относится к 1380 г., когда, согласно летописям Донского монастыря, донцы участвовали в етой великой битве. Но, несомненно, вольное казачество имело глубокие местные корни. Согласно гипотезе Шенникова, войскам, известным по документам с середины XVI в., предшествовали свободные и полузависимые общины лесостепей бассейнов рек Дона и Днепра, которые существовали в XIII — XV вв., — Червленый Яр, севрюки и др. Не исключено, что вольные казачьи войска имеют гораздо более глубокие исторические корни, связанные с местным древнерусским и даже древнеславянским населением — бродники, донские славяне и т. д. Но вопрос о происхождении казачества до сих пор не изучен, поэтому до проведения серьезных археологических и антропологических исследований делать какие-либо выводы преждевременно.

Вольные казаки принадлежали к независимым и полузависимым казачьим общинам-войскам, в основном русского и украинского происхождения, жили на Дону, Днепре (Запорожье), Тереке, Волге и Яике. Они имели свои земли за пределами официальных границ России и Польско-Литовско-Русского государства (хотя донцы, например, считали Дон вотчиной царя, «столбовой государевой рекой»). Войска обладали сильной военной организацией, самоуправлением, своей системой хозяйства. Основа состава вольных общин — атаманы, старшины, крепкие домовитые казаки — храбрые воины. Голутвенные (неимущие) казаки часто превращались в крепких хозяев-воинов, иногда служили источником пополнения шаек воровских казаков. В определенной степени все казачьи войска составляли неофициальный союз.

2) *Служилые казаки.* Служилые казаки являлись частью государевых служилых людей, несли службу по охране городов и рубежей России. Они верстались из различных сословий, в том числе и из вольных казаков, могли наделяться землей, освобождаться от податей.

Служилое казачество имело своих исторических предшественников. Во времена Древнерусского государства к ним по положению, возможно, приближались группы поселенцев на грани со степью — черные клобуки, берендеи и т. д.

В России различались городовые и сторожевые, поместные и просто служилые казаки. По месту поселения были казаки рязанские (упоминаются впервые в 1444 г.), московские, шацкие, арзамасские, смоленские, воронежские... На

Украине служилыми казаками были реестровые, численность которых достигала 60 000 человек.

В течение XVII—XVIII вв. происходило постепенное сближение статусов вольного и служилого казачества. Служилые казаки были отменены в начале XVIII в., когда они вошли в состав войскового казачьего и других сословий. До начала XIX в. еще сохранились лишь в некоторых городах Сибири, Чугуеве, Новохоперске и др.

3) *Воровские казаки.* Воровскими казаками называли шайки степных разбойников различного происхождения, которые постоянно жили разбоем и наемничеством. Они не подчинялись законно избранным казачьим войсковым и станичным атаманам, изменяли государю и подлинному казачеству, обращали против них оружие, выбирали своих атаманов, например Разина и Пугачева, которые, кстати, и были пойманы войсковыми казаками.

4) *«Вольное» казачество смутного времени (нач. XVII в.).* Его выделяет историк А. Станиславский. Они орудовали чуть ли не по всей России, в их составе полностью преобладали недавние холопы, крестьяне, бедные дворяне. Служили то законной власти, то самозванцам, боролись с дворянами за власть в разоренной стране.

ЧИСЛЕННОСТЬ КАЗАКОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 1838—1916 гг.
(Публикуется впервые)

Всего лиц казачьего войскового сословия обоего пола:

Войска	1838 г.	1871 г.	1897 г.	1916 г. (округлен.)
Азовское	5 496	—	—	—
Амурское	—	19 250	19 700	49 000
Астраханское	12 500	20 734	28 627	40 000
Донское	428 525	891 152	1 026 283	1 495 000
Дунайское	6 780	—	—	—
Енисейское	—	—	—	10 000
Забайкальское	—	125 517	181 474	265 000
Кавказское линейное	140 832	—	—	—
Кубанское	—	427 765	702 432	1 367 000
Оренбургское	78 948	252 928	350 614	533 000
Семиреченское	—	14 389	25 369	45 000
Сибирское	88 576	87 754	113 546	172 000
Терское	—	120 409	162 158	255 000
Уральское	50 322	81 404	110 986	168 000
Уссурийское	—	—	7 040	34 000
Черноморское	109 410	—	—	—
Якутский полк	—	—	—	3 000
Всего	931 390	1 841 281	2 726 207	4 434 000

КАЗАКИ В XVIII — НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

В это время в России под казачеством подразумевали особое военное сословие (состояние), образованное государственной властью. Основу сословия составляли потомки вольных казаков. В разное время по строгому отбору в сословие принимали наиболее способных к ратному делу представителей служилых людей, крестьян, инородцев, лиц различных национальностей.

1) *Российские казаки* (смотри таблицу). Лица, принадлежащие к войсковому сословию (состоянию) Российской империи, составляли особую сословно-территориальную общность, пользовались особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и всеобщей воинской повинности. К ним относили также лиц казачьего происхождения иных сословий — войсковых дворян, духовенства, разночинцев, были и торговые казаки. Приписные казаки — лучшие из воинов-неказаков, служивших на войне в составе казачьих частей, за особые заслуги могли быть приняты в войсковое сословие. Изредка в казаки могли принимать по решению схода общины некоторых инородцев.

Очень важно различать казачество российское и русское. В российское казачество как сословие могли входить казаки разных национальностей и даже вероисповеданий. Русские казаки — часть именно русского народа, его особая этно

сословная группа. Среди российских казаков были калмыки, буряты, татары, эвенки и другие. Многие из них не ассимилировались с русскими, составляли подобные этносословные общности внутри своих народов.

2) *«Исторические казаки».* В Российской империи — потомки казаков различных войск, команд и формирований, утратившие значение членов войскового сословия, но продолжавшие формально числиться в состоянии казаков, например, полтавские казаки. Жили в некоторых губерниях Великороссии и Малороссии, несколько отличались по своему общественному положению от крестьян и мещан.

Также необходимо упомянуть лиц, состоявших в упраздненных казачьих войсках империи. Среди них — Чугуевское, Бахмутское, Бугское, Екатеринославское, Дунайское, Буджакское (Новороссийское), Украинское, Азовское, Башкирско-Мещеряцкое, Крымско-Татарское, Греческо-Албанское и др.

3) *Временные казачьи части.* Стоит вспомнить и о казачьих частях, бывших временно на положении казачьих и иррегулярных частей: Слободские-Черкасские и Малороссийские казачьи полки, Ямской казачий полк, Московский казачий полк, образованный в 1812 г. графом Дмитриевым-Мамоновым из своих крепостных, и многие другие.

СОВРЕМЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО

После уничтожения Российской империи сословие (состояние) российских казаков было соответственно тоже уничтожено. Но казачество все же продолжает существовать в виде определенной субэтнической общности русского и украинского народов. Ныне мы называем казаками потомков войсковых и невойсковых казаков России и Украины. Они проживают в нашей стране — в местах традиционного расселения и за их пределами, а также в США, Канаде, Аргентине, Австралии, Франции и других странах.

А теперь более подробно рассмотрим, как возникло и развивалось казачество, это великое и неповторимое явление мировой истории. Казачество порождено многовековым движением Руси, России в бескрайние просторы Евразии. Это беспримерное продвижение, освоение многих миллионов верст пространства велось нашим народом вольно, а затем и посредством дальновидной государственной политики. В этом движении казаки были всегда бессменным авангардом России. Куда ни кинь взгляд — на юг, на север, на восток,— впереди были казаки. Лишь на европейском Севере мы видим мужественных поморов, ближайших братьев казаков по вере, духу и крови. Предки вольных казачьих общин столетиями сохраняли русские острова в Великой степи, затем казаки вышли к Кавказу, на Яик, в Сибирь. За ними шли служилые казаки, оберегавшие государственные рубежи России. А затем — мирные земледельцы и мещане. На протяжении многих веков казачье войсковое сословие оберегало Россию и на Западе. В старинной донской песне поется: «Пущай народ наш ня боится, что на Русь придеть война, была польская граница — а теперь наша земля!»

Вольное казачество уходило далеко вперед, но всегда тяготело к Руси. Древнейшие упоминания о казачестве указывают на то, что казаки всегда служили Родине. Согласно Гребенской, Антониевой летописям и преданиям, казаки Донского городка, что был повыше станицы Казанской, преподнесли великому князю Дмитрию перед Куликовской битвой образ Донской Божией матери, казаки городков Гребни и Сиротина — образ Гребневской Божией матери и участвовали в битве.

В XVI в. вольное казачество также, несомненно, несет царскую службу добровольно, хоть далеко не всегда послушно. В 1549 г. ногайские мурзы жалуются Ивану IV, что «холопи твои, нехто сары азман (синоним слова «казаки», буквально «удалые головы», «молодцы»), словет на Дону, в трех и в четырех местах городы поделали» и грабят ногаев. Дескать, все это творят «ваши казаки и севрюки, что на Дону стоят, разбойники-Русь». До сих пор поют на Кубани и Тереке песню о тех временах, когда гребенские казаки просили Ивана Грозного о пожаловании им Терека «со притоками».

Первые письменные свидетельства о службе казаков государю относятся к середине XVI века. Донцы должны были сопровождать и защищать турецкие и русские посольства, за что «тем атаманом и казаком государево жалованье: денги и сукна, и селитра, и свинец...» В 1572 г. донцы под руководством атамана М. Черкашина в составе русской армии князя М. Воротынского разбили на Оке огромную 120-тысячную армию Давлет-Гирея.

Кстати, верная служба казаков государям российским до сих пор вызывает бесконечное раздражение некоторых советских историков. Их мало интересует многовековое участие казачества в великом собирании Отечества. А между тем в течение только известных нам 2-й половины XVI в. и в XVII в. постепенно и трудно складывались особые договорные отношения вольного казачества с государственной Россией. Государи, несмотря на частое непослушание, поддерживали и усиливали казаков. Казаки, особенно их наиболее мужественное и хозяйственное ядро, несмотря на ошибки верховной власти, всегда старались служить Кременной Москве словом и делом. Государи со времен Киевской Руси

понимали, что только подобные общины военных поселенцев могут успешно оборонять страну от Степи и продвигать рубежи по диким пространствам вперед. Казаки понимали, что без остальной Руси им не выстоять. И выше земных соображений была для наших предков объединяющая сила православной веры, голос родной крови. Недаром тех, кто шел с атаманом промышлять зверя, воевать с татарами, турками или персами, называли казаки охотниками, а тех, кто восставал на своих братьев-казаков или шел на московских людей,—ворами-разбойниками.

В чем заключались договорные отношения казаков и Российского государства в допетровскую эпоху? В чем состояла служба и награда за нее?

Между казачеством и государством заключался и постоянно обновлялся договор о службе и жалованье — тому свидетельство множество сохранившихся до наших дней царских грамот, переписка с Посольским приказом, казачьи челобитные и отписки.

В 1613 г. произошло одно из величайших событий в жизни казачества, определившее всю его будущую историю. Донские казаки участвовали в Земском соборе и вместе со всеми русскими людьми по своей воле и перед Богом избрали на царство Михаила Романова.

Из грамот известно, что еще в 1614 г. на Дон посылались царские послы с жалованьем «приводити казаков к крестному целованию», то есть православные казаки клялись в верности православному Государю. В 1614 г. атаман Игнатей Бедрищев писал царю, «что служат казаки по крестному целованию», что послан он в Москву, «холоп твой», «от всего войска с низу и до верху». Уже до 1614 г. у донцов было пожалованное царем знамя, древнейшая из известных нам войсковых реликвий, символизирующих российское подданство казаков.

Вольное казачество приравнивалось к служилым людям «по прибору», получая частичное содержание от казны. Как стрельцы и служилые казаки держали в городах и селениях торги, промыслы, сады и огороды, так вольное казачество промышляло скотоводством, рыбной ловлей и охотой. Беспрестанная «малая война» со степняками мешала казакам создать систему пахотного земледелия.

Вольное казачество отличалось от служилого тем, что их военные действия не были строго скованы царскими указами. На землях казачьих войск отсутствовала царская администрация, которая могла бы вмешиваться в дела внутреннего самоуправления. Земли эти оставались частью огромного Русского государства, но принадлежали казачьим общинам. Вольные казаки были вольными подданными русского Царя.

В 1615 г. яицкие казаки просят у Царя владенную грамоту на земли по Яику да еще льготы на право промышлять по реке, пользоваться беспошлинно соляными источниками.

В 1640 г. персидский шах прислал азовским сидельцам грамоту, что хочет наградить казаков за успех в войне с турками и приглашает к себе на награду. В отписке Царю казаки писали: «Мы, Государь, холопи твои, без твоего Государева указу послати (за наградой) не смеем». В 1682 г. атаман Фрол Минаев в ответ на угрозы крымского хана сулит ему новые разорения от казаков, гордо называя себя и войско подданными Царей Иоанна и Петра Алексеевичей.

Сразу после разинского бунта, в 1671 г., казаки присягали на верность Царю Алексею Михайловичу. Сохранились грамоты о восшествии на престол и об учинении присяги в верности Донским войском царям Феодору Алексеевичу (1676), Иоанну и Петру Алексеевичам (1682).

Похожим был путь и украинского казачества. Считается, что оно возникло в 1386 г. в составе Польско-Литовско-Русского государства. В 1401 г. украинские казаки побеждают под Динабургом крестоносцев, отводя опасность от славянских и литовских земель. Еще в начале XVII в. российской властью было создано украинское Слободское казачье войско по Суле, Пселу и Северскому Донцу. Российское правительство часто искало службы запорожцев от набегов степняков, причем часто использовалось посредничество донцов. Много «черкас» неоднократно просились «от гонений ляхов и литовских людей» служить Царю, в том числе и на Дону. Народная Переяславская рада в 1654 г. признала и реестровое казачество в подданство православному Государю.

Казаки Дона должны были сопровождать и охранять посольства, беречь южные рубежи России от набегов татар. Для этого они постоянно нападали на них, предупреждая и затрудняя набеги. Казаки громили Крым в 1663, 1672 гг. и еще много раз, нападали на турецкие города по Черноморскому побережью, добираясь почти до покоев султана. «Гнев и ненависть всех христианских народов не мешает мне спать, но казаки причиняют мне бессонные ночи!» — сетовал султан Мурад II во время нападения казаков на его сераль. В 1625 г. донцы берут Трабзон. Казаки добывали и отправляли в Москву языков. «Если азовские турки или татары учнут на наши украины ходити — над ними промышляти и языков Москве добывати, и на Русь в вашу землю войною их не пропускати»,— говорилось в царской грамоте 1633 года. Казакам поручалось приглашать и переманивать орды кочевников на царскую службу, используя своих донских татар-казаков и подкупая мурз за свой счет. Казаки не должны были задерживать проезжающих по их землям московских торговых и иных людей. При обмене посольствами с Персией или Кавказом донцы передавали сопровождение терским казакам. Вольные казаки усмиряли воровские шайки, грабителей караванов, доставляли в Москву на суд в казнь зачинщиков, расправлялись с ними сами, выведывали и сообщали об их замыслах.

Так, в 1637 г. яицкая легкая станица

(посольство) в Москве предупредила Царя о подготовке воровских казаков к грабежу царских и венецких торговых судов на Волге. В 1671 г. казаки сообщили в Москву о страшном бунте в Астрахани, об убийстве митрополита Иосифа и князя Львова, участвовали в усмирении и поимке разинских сподвижников. Как писал Г. Котошихин: «А кого случитца им казнити за воровство или за иные дела, и не за крепкую службу, и тех людей посадя на площади или на поле, из луков или из пищалей расстреляют сами».

Наши предки приносили неоценимую пользу России, выменивая и отбивая у врага русский полон. Освобожденным помогали чем могли и сопровождали на Родину. Донские и яицкие казаки совместно с царскими войсками участвовали в походах на Крым, Кубань, Азов, на Волгу, служили под Смоленском. Уже с конца XVI в. участвовали в защите не только южных и восточных, но и западных рубежей России. В течение XVII в. казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия.

Донцам поручалось объединять казаков для царской службы. Так, в 1614 г. им предлагалось собрать «волжских и яицких и терских и иных рек атаманов пред царские очи». Важнейшая задача казаков — сковывать действия степных разбойников, находясь в самом сердце владений крымцев и ногаев. Линия казачьих городков по Дону отсекала ногайских татар от крымских. В 1635 г. донцы препятствовали ногаям перейти Дон и отдаться в подданство Крыма по царскому велению «поворотить их на старые кочевья к Астрахани, а не пойдут — разорить их до конца». Во время первой Отечественной войны верные казаки вместе со всем русским народом освобождают израненную страну, очистив от иноземцев Можайск, Вязьму, Дорогобуж, Путивль, Чернигов, Тихвин и иные города, они же сыграли решающую роль в освобождении Москвы. По царским указам в конце XVII в. казаки выполняют на рубежах и некоторые строительные работы.

За службу вольное казачество Дона, Волги, Терека и Яика получало от государства жалованье и льготы. Жалованье постоянно доставляли на подводах и реками — на стругах. Продовольствие собирали по украинным уездам — с Рязани, Воронежа, Коломны. Воеводам велено было собирать его «с посаду и уезду, со всех сох». Кроме продовольствия, высылали ткани, каждому воину — денежное жалованье: в 1614 г. атаманам — по 4 рубля, простым казакам — по 3 рубля. Яицкие стали постоянно получать жалованье с начала XVII в., гребенские — не ранее 1623 года. Высылали оружие и огневой припас. Ведь как писали донцы в челобитной 1636 г.: «А делоть, Государь, ядра у нас на Дону некому и не в чем».

Огнестрельное оружие, в частности, дало казакам значительный перевес над ордами кочевников, усилило их в борьбе с турками. В самом деле, при ознакомлении с войсковыми отписками возникает впечатление огромного качественного перевеса казаков над численно превосходящим противником. В 1637 г. 36 казаков по пути в Москву успешно обороняются в таборах по нескольку дней от крымских татар числом в 200—300 человек. Причем казаки «урону никакого не терпят».

В Москве казаков принимают с большим почетом. На Дону царские грамоты и жалованье встречали восторженно — стрельбой из пушек и ружей, молебном. В круг вносили пожалованные государевы знамена, зачитывали грамоту, устраивали пир. В 1616 г. казаки получили очень важную льготу — право на беспошлинную торговлю.

В 1648 г. Алексей Михайлович жалует казаков уже не только за защиту своих украин, но и за успешную оборону их собственных городков и высылает на Дон тысячу солдат и офицеров, в том числе и иноземцев, на подмогу. В 1646 г. атаман Иван Каторжный бил челом и просил жалованья, да «людьми помощь учинить». Ведь именно в 1646—1648 гг. можно говорить о тяжелейших временах Донского войска. Тогда турки, крымцы, азовцы, ногаи и черкесы соединились, беспрестанно нападали на казаков, мечтая очистить от русских Дон вплоть до Воронежа. Казакам «жить стало не под силу». И тогда по приказу верховной власти неоднократно происходит набор тысяч вольных людей, которые были готовы за жалованье «служить Царю службу в Войску на Дону, исполнять приказы государственных воевод и Донских атаманов». Но новоприборные — это не коренные казаки, не все выдержали неимоверную тяжесть казачьей жизни. Донцы писали в Москву: «Вольные, не хотя нужи терпеть, многие разошлись». С казаками обсуждался вопрос о постройке на Дону царской крепости. Помогали людьми не раз и позднее, например в 1660 г., упредив нападение турок. Действовали на Дону, обороняя его, постоянные отряды царских войск совместно с казаками. В 1658 г. на усиление терских казаков по царскому указу отправлены 1379 семейств.

Государство защищало казаков и от некоторых своих подданных. После набега на Дон калмыков высочайше повелено калмыцкому тайше их сыскать, казнить и награбленное вернуть. В 1677 г. были приняты особые меры по примирению казаков и калмыков.

Царское правительство постоянно удовлетворяет просьбы казаков, идущих в Россию на богомолье, повидаться с родными. Запрещается чинить им препятствия, разрешается привозить и увозить товары, бедным — не платить мыта. Награждаются по челобитным и казаки, выдержавшие иноземный полон. Для казаков выделяются особые монастыри, где могут преклонить голову на склоне лет старые воины. Из Москвы казаков в свою очередь также предупреждали о готовящихся на них нападениях.

В целом с годами тяжесть службы и величина жалованья или иной помощи

казакам постепенно увеличиваются. Государство и вольное казачество все более и более сращиваются. К казакам бежали крестьяне — противники преобразований патриарха Никона и Петра I. Но они оставались верными общему русскому делу. Поэтому казаки справедливо не выдавали беглецов, да и правительство до Петра I было в своих требованиях не очень настойчиво. Не могло Московское государство обеспечить послушание всех казаков запрету нападать на турок во время мирных переговоров. Завязывался сложный клубок противоречий. Казаки мешали своими нападениями государственным переговорам с Турцией. Государи угрожали опалой, угрожали согнать с Дону, дело дошло и до отлучения от церкви. С другой стороны, казаки отвечали, что турки и их слуги нападают первыми и терпеть этого более невмоготу, да и как не нападать, если царское жалованье задерживается. Бывало, что в поход на Турцию уходили одни простые казаки. Так, в 1646 г. в море не ушел ни один атаман или старшина, помня царский запрет.

Казачьи земли в документах XVII в. называют то государевыми, то именно казачьими. В 1625 г. донцы писали в Москву: «Казаки на Калаячв башню взяли и розметали за то, что та башня стояла на морском устье на Государева земле». А в грамоте 1657 г. Алексей Михайлович еще отделяет свое царство от Дона: сообщалось казакам, что крымцы собираются нападать «заодно под наши, Московского государства городы — и к вам на Дон».

Резкие перемены наступили в царствование Петра Великого. Можно утверждать, что после взятия Азова и строительства в Приазовье царских крепостей Дон теряет свою независимость и окончательно входит в состав России, причем добровольно. Свершилось то, что назревало десятилетиями. В 1700 г. впервые издается указ о перемещении казачьего населения. Дон отчасти подчиняют азовскому губернатору. Появляется новая служба — оборона Азова, Таганрога и Воронежа. Начинаются переписи населения. В 1703 г. казаки получают право рыбной ловли по всему Дону, в то же время им под страхом смерти запрещается продавать сушеную рыбу, но — поставлять ее государству. Казаков отправляют на войну в Лифляндию, Гилян. В 1709 г. разоряют Запорожскую Сечь. В 1719 г. казаки получают наряд на построение линии крепостей между Царицыным и Паньшиным. С 1723 г. атаман Донского Войска назначается верховной властью, то же произошло и на Яике. В 1728 г. пришлось выдать беглых, прибывших на казачьи земли после 1710 года.

Петр I действовал круто, часто бессмысленно-жестоко, рассматривая людей как бесправных рабов, исполняющих великую идею. Можно было мудро и справедливо разрешить многие противоречия и не доводить казаков до восстания, например Булавинского в 1707 году. Но тогда власть действовала напролом: по указу сжигаются казачьи городки, только воинов убито 7 тысяч. Эта трагедия отозвалась и в XX веке...

Казаки неизменно поддерживали самые тесные отношения с православной Россией, всегда участвовали по первому зову и без оного в походах и войнах русских царей. Отличились казаки при взятии Казани, Астрахани, взятый ими Азов преподнесли Михаилу Федоровичу. Под руководством казаков развивалось движение на Украине за воссоединение с Россией! Так была ли необходимость в жестокой политике, неправедном подавлении Москвой добровольно отдавшихся ей русских и украинских казаков при Петре I, украинских казаков при Екатерине II? Но и после этого не отвергли казаки идеи единства, и это еще одно яркое свидетельство их верности общему Русскому Делу.

Несмотря на все затруднения и трагедии, казачество стало в XVIII в. одной из главных опор обновленного Отечества. Казачество складывается постепенно в особое, юридически четко определенное военное сословие (состояние), быстро добивается успехов и в мирном труде в качестве земледельцев, чиновников, духовенства, торговцев из казачества. В 1754 г. у Донского Войска было отнято право избрания старшин, это звание становилось пожизненным. С 1768 г. ведет свое начало жалованное дворянство в казачьих войсках. Важнейшие события произошли в конце XVIII века. В 1786 г. Екатерина II утвердила карту земель Войска Донского, а в 1793 г. передала ее атаману Иловайскому вместе с хлебом-солью и с грамотой на вечное владение землей. Хлеб-соль Императрица повелела разделить по всем станицам, наказав казакам так же справедливо распределить между собой и пожалованные земли. А к 1795 г. особая комиссия обошла и утвердила границу межою, которая в основном свято сохранялась до 1917 года. Эту грамоту Екатерины II подтверждали все российские императоры.

Постепенно договорные отношения государства с казачеством оформились в виде особых Положений по войскам. Депутаты от казачества присягали на верность царям при восшествиях на престол, принимали обычную присягу служилые казаки. Постановления Екатерины II от 1765—1766 гг., высочайшая конфирмация об учреждении Войскового гражданского правительства и т. д. предшествовали изданию Положений. В 1802 г. появляется первое Положение — о Черноморском войске.

В XVIII — начале XX веков новые казачьи войска создаются по высочайшим указам. Если войско становится ненужным — оно упраздняется. Казаки переселяются в новые места, начиная создавать свое хозяйство сызнова. Так на осваиваемых землях возникают новые войска — Оренбургское (1725), Черноморское (1792), Астраханское (1818), Забайкальское (1851), Семиреченское (1867) и другие. На казачью службу принимались представители местных народов. Благодаря казакам прекращались усобицы, угоны в рабство, изнурительные войны

между народами, например между башкирдами и киргизами, на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье.

В 1835 г. Николаем I утверждается знаменитое Положение об управлении Донского войска. Согласно Положению вводилось военное и гражданское управление на Дону: определялась их структура, состав войска, полковые инструкции, правила службы, станичное управление и т. д. Положение оберегало многие традиции казачества. Сохранялись седла донского образца и шашки: «По признанной удобности и издревле введенному употреблению дозволяется иметь вместо сабель шашки». Велено было не распределять по разным полкам родственников и товарищества односумов. Для внутренней службы соблюдать «очередь по древнему в станицах заведенному и ныне существующему порядку». Сохранялись ежегодные смотры в станицах служилых и испытания малолетков. Подтверждалось, что «казаки по неизменному древнему образцу служения Войска Донского отправляют службу на собственных конях». А в действиях против неприятеля «построение полка не подчиняется новым правилам, но удерживается образ служения, издревле введенный»,— то есть казачьи лавы в две линии и т. д. Станичное управление состояло из атамана и двух судей из стариков, писарей. На должности мог быть избран общиной казак любого звания и утвержден войсковым атаманом. Станичные суммы должно было хранить в церкви, в особом сундуке.

По образцу Донского новые Положения по войскам были утверждены: для Оренбургского — в 1840 г., Черноморского — в 1842 г., Астраханского — в 1845 г., Кавказского линейного — в 1845 г., Сибирского — в 1846 г., Забайкальского — в 1851 году.

В царствование Александра II великие преобразования не миновали и казачьи войска. Немало было сделано для сближения войскового сословия с населением России и для укрепления военной силы казачества. Жизнь сословия во многом изменили: указ 1865 г. о соединении звания наказных атаманов войск со званием начальников областей и губерний; дозволение с 1868 г. иногородним селиться на войсковых землях и приобретать собственность, дозволение 1869 г. выхода из казачьего сословия, положение 1870 г. об общественном управлении в казачьих войсках, положения 1870-х годов о воинских повинностях войск и другие.

Конечно, казаки имели особые сословные права: пользование угодьями (земли, воды, добыча минеральных богатств, соли, охота и рыболовство), занятия промыслами и т. д. Но постепенно обязанности намного превысили привилегии. И мы можем сказать, что главной привилегией было государственное тягло, первейшее место в ряду государевых слуг.

Российские цари были неразрывно связаны с казачеством: ведь каждый из государей, можно сказать, отчасти был казаком: с 1827 г. наследник цесаревич назначался атаманом всех казачьих войск. А в 1856 г. Александр II, принимая после коронации поздравления от представителей губерний, принимал и депутатов донского казачества во главе с наследником и сам был в донском мундире.

Главная повинность казаков — это, конечно, военная служба, полевая и внутренняя, причем совместно с регулярными войсками нередко по всей России. Она была крайне тяжела. До начала XIX в. военная повинность отбывалась без правил — служили все мужчины поголовно, пока есть силы, по традиционно принятой очереди. О тяжести службы говорят следующие цифры: в 1878 г. казачество составляло 1/40 часть населения империи и 1/14 часть ее вооруженных сил. По нашей оценке, на начало XX века у казаков затраты сил на отбывание воинской повинности превышали затраты остального населения примерно в три раза! А ведь никто не будет вести за казака его большое домашнее хозяйство. Сколько рабочего времени тратил казак на службу! По ценам 1880-х годов, примерно 150 рублей шло на справу. Недаром и сейчас некоторые старожилы из иногородних вспоминают, что хотели и могли приписываться к казачьему сословию, да не было денег на справу.

К началу первой мировой войны в России существовало 11 казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Сибирское, Семиреченское, Забайкальское, Амурское и Уссурийское. Самыми большими были Донское и Кубанское, от них чаще всего и требовали людей для создания новых и усиления существующих войск. Кроме того, были отдельные казачьи сотни в Красноярске, Иркутске, в Якутии. Казаки несли пограничную службу, их гарнизоны располагались во многих губерниях страны, в крупных городах. Была создана даже Персидская казачья бригада, а с 1912 и до гражданской войны существовало и Евфратское казачье войско. Из кубанцев и терцев формировался личный конвой Его Императорского Величества. В Петербурге и в Царском Селе находились казаки лейб-гвардии Атаманского, лейб-гвардии Донского и Сводного гвардейского полка. Общая численность лиц казачьего сословия составляла к 1917 г. около 4,5 млн. чел., из них более 460 тысяч — служилого состава.

Накануне первой мировой войны казаки выставляли 54 конных полка, 20 батарей, 6 пластунских батальонов и несколько отдельных сотен — всего 68 000 человек. Во время мобилизации — уже свыше 150 полков, 40 батарей, 18 пластунских батальонов и десятки отдельных сотен — всего около 200 000 человек.

Вспомним хотя бы вкратце основные воинские подвиги русского казачества. В 1552 г. две с половиной тысячи казаков первыми ворвались в осажденную

Казань. Во взятии Полоцка участвовало до 6000 казаков. Во время нападения крымской орды на Москву в 1572 г. пятую часть русской армии составляли казаки — вольные и служилые. Много казаков участвовало в тяжелейшей Ливонской войне, например 500 донцов участвовали в героической обороне Пскова. В этой войне впервые прославилось по России имя атамана Ермака Тимофеевича, до этого многие годы служившего царю на южных рубежах. В 1585 г. царь Иван IV радостно принял летучую станицу от Ермака, покорителя Сибири, и поручил его казакам устраивать завоеванную землю.

В то время как одни казаки сражались на Западе и в Сибири, другие вели войну с ногайскими ордами в Поволжье. Они дважды сжигали ногайскую столицу Сарайчик, громили отряды татар при их набегах на Русь.

Донские казаки атаманов Межакова, Маркова и Епанчина составили наиболее обученную часть ополчения князя Пожарского. Тогда и зародилась на Руси пословица: «Пришли казаки с Дону — погнали ляхов к дому». А чего стоит взятие Азова и прославленное «азовское сидение» — ратный подвиг всех казачьих войск!

В 1695 г. казаки в составе армии Петра взяли каланчи, запиравшие Дон. Первая победа России на море была одержана казаками 21 мая 1696 года. На лодках 6000 казаков во главе с Петром I и атаманом Фролом Минаевым разбили турецкий флот, снабжавший осажденный Азов.

В 1701 г. казаки были призваны на войну со шведом. Предание гласит, что во время осады Выборга спас Петра I от смерти донской казак: услышал летящее ядро, сбил Царя с ног и накрыл его своим телом. Вспомним и славного богатыря Краснощекова, грозу кавказцев и шведов, набеги его казаков на кочевников.

В 1738 г. казаки впервые выступили в поход, вооруженные пиками, но еще долго искусство стрельбы из лука процветало среди них. Во время Семилетней войны 1756—1763 гг. казачья лава победила драгун Фридриха при Гросс-Эгерсдорфе, опрокинула немецких гусар у Цорндорфа, черных бессмертных гусар в Силезии, самостоятельно брали казаки и города. Тогда впервые встали они под команду Суворова и сопровождали его потом во всех победоносных походах.

Под руководством Суворова донцы в 1782 г. разбивают кубанских татар, и с 1792 г. здесь навечно поселились запорожцы и донские охотники — родоначальники славного Кубанского войска. С того времени Суворов в боях и походах ездит только на казачьей лошади и в казачьем седле, с нагайкой, не расстается с донцом Иваном — бессменным телохранителем, которого знали европейские монархи. Учеником Суворова был Матвей Платов.

В 1812 г. только донцы выставили 60 000 воинов. Казаки прикрывали отступление русских войск при армии Багратиона, под командованием Платова. Они дали армии соединиться с Барклаем, измотали французскую конницу, совершали рейды в тыл врага. Тарутинское сражение, первая полная победа русских, предрешила исход войны в нашу пользу. А победу при Тарутине принесли именно казаки. Теперь казаки так же упорно преследовали отступающих. В Городне они чуть было не пленили Наполеона. К зиме корпус Платова остановился на берегах Немана. За полгода казаки истребили 20 000 французов, взяли в плен 40 000 рядовых, 10 генералов и более 1000 офицеров. Десятки пудов серебра и тысячи рублей пожертвовали после победы казаки на церкви. И впервые на рождественской всенощной услышали торжественную молитву: «Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!».

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. донским полкам, распределенным по пехотным дивизиям, досталась самая тяжелая и невидная служба — на передовых постах, да отчаянные схватки с наездниками-башибузуками.

После этой войны долго Россия пользовалась миром. Отдохнули казаки, обстроились Дон, Кубань, Терек, Урал. Но в 1904 г. первые выстрелы, раздавшиеся по японским сухопутным войскам, были сделаны из казачьего ружья. Забайкальцы и уссурийцы встретили японца в Корее. Вслед за ними — казаки сибирские, оренбургские, донские. Провожал донцов сам Государь. Сибиряки и забайкальцы не давали покоя японцам, заходя им далеко в тыл. Устраивали и крупные набеги. Когда фронт продвигался, казаки часто оставались в тылу, уничтожая шайки хунхузов.

Но кто же были эти воинственные слуги Отечества в своей мирной жизни? Почему редкий человек не восхитится звучанием казачьей песни, описаниями казачьего быта?

В XVII в. каждое общество казаков имело свою землю — юрт. Здесь 80—100 человек селились вместе, избирали себе атамана, ставили свой стан. Все чаще жили казаки семьями, все больше появлялось мудрых, степенных хозяев. И в то же время рыбу ловить, охотиться, выгонять скот всегда ходили артелью, помогали друг другу строиться. Свободное время проводили в станичной избе вместе. Торжественные гульбы бывали по большим праздникам — упражнялись в стрельбе, джигитовке, кулачном бою... Вечером ставили столы в круг, устраивали пир. Пили за здоровье царя, потом за войскового атамана и все Войско, за честную станицу. К старости часто уходили казаки в монастыри на Воронеж и Рязань. Исстари были наши предки очень набожны, посты соблюдались очень строго. Без горячей и усердной молитвы не начинали доброго дела. Ко времени царствования Петра I на Дону было уже 14 церквей и собор в Черкасске. Вся жизнь казака от мальчишес

ких лет была вечным воинским упражнением.

К середине XVIII в. все Подонье сверху донизу было уже распахано. И распахала, засеяла и сжала, и снопы повязала, вымолотила всё больше казачка — статная подруга воина-казака.

Кроме военной службы, казаки, подобно поморам, получали на диких границах России большие возможности для проявления предприимчивости, многообразной промысловой деятельности: охоты, рыболовства, мены и торговли. Жизнь была одновременно очень суровой и очень здоровой. Веками происходил строгий естественный отбор — слабые уходили. Приспособление к природе гор, диких степей, дремучей тайги привело к немалым жертвам, но и закалило тело казака. Постоянное душевное напряжение, необходимость убивать и видеть кровавую смерть на протяжении всей жизни облегчались Православием, осознанием высших целей подвига земной жизни ради жизни вечной, идеей служения Отечеству. Это закалило душу казака. И еще. Одна из главных идей казачества — единение всех народов России и защита этого единения. Еще в XVII в. голландец И. Масса писал: «Казаки — люди различных племен из земли Московской, татары, турки, поляки, литовцы, карелы и немцы, но по большей части москвитяне». В состав российского казачества все чаще вступали не только отдельные представители нерусских народов, но и целые устойчивые большие группы. На Дону издавна служили казаки-калмыки и украинцы, на Тереке — горцы, в Оренбургском войске каждый десятый казак был татарин, мордовец или киргиз, в забайкальском казачестве немало было тунгусов и бурят... До сих пор многие забайкальские казаки, считая себя русскими, помнят в своей родословной бурят и эвенков. Часть «инородцев» вливалась через казачество в состав русского народа, принимала святое крещение, обращаясь в Православие. Многие другие устойчиво сохраняли свою национальную принадлежность.

Казачество объединило русский и украинский народы. Русские и украинские казаки всегда были тесно связаны и переплетены — судьбами, кровью. До сих пор трудно причислять кубанских черноморских казаков к русскому или украинскому народу — Кубань навеки связывает их. Историческое братство казаков Российской империи от Черного моря до Тихого океана, от Днепра до Лены и Уссури было залогом вечного единения России. Осталось ли это сегодня — вопрос, но на это наша надежда.

За всем блеском подвигов казачества на полях брани и его объединительно-государственной роли не должна исчезнуть значимость земной, повседневной основы казачества — мирного труда.

Казак — хозяин, может быть, лучший хозяин в России. Если вначале казаки промышляли рыбной ловлей, охотой, скотоводством, получали государево жалованье, то со времен Петра I обстановка меняется и начинается беспримерное развитие казака-хозяина.

До XVIII в. казачество не только постоянно участвовало во всех войнах государства и в движении по разведке и освоению земель вплоть до Северной Америки, но и на своей земле, в отличие от более поздних времен, никогда не знало мира, не имело возможности спокойно трудиться. Еще в XVIII в. хлебопашество на Дону нередко велось под угрозой разорительных набегов. Но уже тогда Дон был краем самых больших урожаев в России. Если в целом по стране в XVIII в. по основным зерновым культурам урожайность в хорошие годы составляла сам-3-4-5, а в наиболее плодородном Курском наместничестве сам-5-7, то на Дону при таких же благоприятных условиях, как на соседней Курщине, урожай пшеницы, ржи, овса и проса был по меньшей мере сам-10.

Уже в 30—40-м годам XVIII в. донская земля из получателя царского хлебного жалованья превратилась в край, успешно торгующий своим хлебом в той же Центральной России. Производство хлеба на продажу стало развиваться в первую очередь у старшины и в хозяйствах наиболее крепких и энергичных простых казаков. Необыкновенно быстро стало развиваться и скотоводство, в том числе коневодство. В 1773 г. у войскового атамана Ефремова имелось 3460 голов рогатого скота. В конце XVIII в. конный табун Платова достиг 4000 голов, а вдове Ефремова после смерти мужа осталось уже «лошадей до 10 тысяч». Много было крупнейших рыболовных хозяйств, славился Дон соленой, сушеной рыбой, балыками, осетровой икрой. Обильные урожаи давали виноградники: цимлянское и раздорское вино быстро раскупалось в Москве и по всей России. А сады и бахчи!?.

В 1822 г. войсковой атаман А. Денисов писал: «Хлебопашеством на Дону занимаются все казаки, исключая несколько низовых станиц. Остающийся хлеб покупается для казенной надобности, вывозится в иногородние места и идет за границу через Таганрогский порт». С 1796 по 1861 год площадь пашни на Дону выросла в три раза. Ежегодный валовой сбор зерновых с 1822 по 1857 год увеличился на Дону в четыре раза. По данным за 1819 год, 75 процентов всей проданной на внутреннем российском рынке пшеницы принадлежали казачьим хозяйствам, а 77 процентов русской пшеницы за границу поставили помещичьи хозяйства казаков-дворян! В 1855 г. только Донское казачество продало крупного рогатого скота на 120 000 рублей, лошадей — на 730 тыс. и овец — почти на миллион рублей.

Первыми грушевскими (Донбасс) углепромышленниками в 30-е годы XIX в. стали — есаул Фомин, казаки Галушкин, Бодырев и другие.

С 60-х годов XVIII в. донская и кубанская рыба и икра вывозятся в Турцию, Польшу, Италию, Францию.

Образовалась собственная казачья буржуазия, вышедшая из среды рядовых казаков. В 1804 г. было создано «Общество торговых казаков» с исключительным правом оптовой торговли на землях войск.

К началу XX в. в империи основными производителями высокотоварных культур — пшеницы и ячменя — стали области войск Донского, Кубанского и Терского. С 1896 по 1915 год ежегодный сбор зерна увеличился здесь более чем в 2 раза, составив в 1916 г. до 600 млн. пудов. В это время регион вышел на 1-е место в России и по сбору зерна на душу населения: на Кубани — 63 пуда (1-е место в России), на Дону — 50 пудов.

В 1915 г. по сбору подсолнечника Кубанская область занимала 1-е место в России, производила более половины отечественного табака. По оснащенности хозяйств сельскохозяйственными машинами 1-е место в России также занимали кубанские казаки.

На этой, наивысшей точке взлета казачества, его мощи, богатства и культуры, хотелось бы пока остановиться.

●

ПЕТР ТКАЧЕНКО

«ПОЛИТКЛУБ» В ПАПАХЕ?

Кажется несколько неожиданным, что *казачий вопрос* после всего пережитого казачеством снова стоит в центре общественного внимания идеологических и политических противоборств. Многие сегодня пытаются представить его якобы вообще несуществующим. Но казачий вопрос становится таким универсальным вопросом, разрешение которого является безусловным показателем благотворных перемен в обществе. И таковым он является потому, что, с одной стороны, он — крестьянский вопрос в его еще более жестком варианте, с другой — русский вопрос во всем его многообразии и трагичности.

Казачество родилось в процессе образования России. Не его выдумали для создания могучего государства, но оно появилось в ходе становления государства. И если народность есть для народа то же, что и личность для человека, то нельзя не признать, что одной из форм проявления русского народа и стало казачество. О его природе и роли в истории России оставили свои свидетельства многие замечательные люди. Митрополит Евлогий, к примеру, считал, что казачество — это «своеобразное, оригинальное явление русской и бытовой жизни». И даже склонен был думать, что «русский национальный тип в казаках сохранился чище и выражен ярче, чем в других частях русского народа». Казаки ведь не были людьми исключительно сельскими. Были и городовые казаки. Казачество в русской жизни было столь распространено, что позволило сказать В. Ключевскому: «Казачество составляло слой русского общества, некогда распространенный по всей Руси». Известный историк Н. Костомаров писал: «До сих пор у нас никто не хотел видеть в казачестве русской жизни. Ученые наши думали провозгласить великие истины, когда говорили, будто казаки произошли от смешения народов, были попытки видеть в чертах лица и нравах нынешних южно-руссов азиатское, а не славянское, производить их от берендеев, половцев и от норманнов, и на основании подобных заключений видели в устройстве казацком не русское начало; одним словом, решили, что казаки есть народ, начавший жить только в шестнадцатом веке и не имеющий кровной и нравственной связи с Русью Владимира и Ярослава, когда, напротив, южно-руссы до татар были такие великоруссы, какие теперь жители Московской и Тульской губернии».

Кто непредвзято изучал историю Древней Руси, не мог не обратить внимания и на удивительное сходство дружинной организации жизни и казачества. На это сходство постоянно указывали многие исследователи, так, кажется, и не расслышанные. «Казаки есть не что иное, — писал А. Антонович, — как остатки сохранившихся древнеславянских общин, которые являются с характером воинственным, вызванным местными обстоятельствами, с новым име-

---

ТКАЧЕНКО Петр Иванович родился в 1950 году в станице Старонижестеблиевская на Кубани. В 1971 году окончил Орджоникидзевское высшее военное училище, в 1982-м — Литературный институт в Москве. Автор ряда публицистических и критических статей, книги «Слава Игоревой рати» (1987 г.). Полковник, член Военно-художественной студии писателей. Живет в Москве.

нем, возникнувшим из этой же военной обстановки» (Киев, 1863). Кубанский историк Ф. Щербина: «Несомненно, что казачество появилось на смену вечевого уклада народной жизни, хотя, разумеется, и под влиянием экономических причин». Наконец, В. Розанов видел в казачестве «те же, в сущности, «общины новгородские». Даже К. Маркс заметил эту преемственную связь казачества с Древней Русью, отметив, что «старое удельно-вечевое начало Руси облеклось теперь в новую форму, в «казачество»...»

Да и современные исследователи и публицисты с этим, кажется, согласны: «Казачий образ жизни, быть может, являлся высшей формой развития русской общины» (В. Трофимов, «Дон», 1990, № 2). Во всяком случае, видят в нем оригинальное явление русской жизни:

«...Другая Россия, Россия вольных людей, обогнувших евразийский материк, дошедших до самой Америки и колонизовавших Аляску, по существу, сотворила страну и империю, но странным образом осталась в нашем сознании как бы на периферии русской культуры» («Знамя», 1990, № 8). Но при этом отдельным народом казачество никогда не было. Справедливо пишет Н. Бондарь о наиболее «оригинальном» казачестве — кубанском: «Во второй половине XIX — начале XX вв. кубанское казачество представляло собой этносоциальную общность, которая обладала всеми основными признаками, присущими самостоятельному этносу — народу. Вместе с тем этносом оно не являлось, так как признаки эти находились как бы в состоянии незавершенностного развития, занимая какое-то промежуточное и не всегда определенное положение». Словом, «из субэтноса превращалось в обычную этническую группу» («Кубанские казачьи ведомости», 1991, № 4). И это имеет, как увидим, не только значение историческое, но и практическое. От понимания сущности казачества прямо зависят теперь и пути его возрождения.

С грустью и какой-то необъяснимой растерянностью приходится признать, что и до сих пор в общественном сознании нашем нет на казачество взгляда, соответствовавшего бы той громадной роли, которую оно сыграло в истории страны и народа. И даже само имя его остается пока неразгаданным. Как в науке, так и в публицистике, даже на уровне бытового сознания, распространены примитивные и самые противоположные точки зрения на казачество — его природу и происхождение, его историческое значение. Самая, пожалуй, распространенная — казачество, мол, образовали холопы, бегущие от крепостного гнета из центральных губерний России. Но она никак не объясняет, каким таким образом из беглых холопов и разбойников образовалось уникальное общество и оригинальная культура. Не объясняет того парадокса, о котором писал Н. Лосский: «В числе многих парадоксов русской жизни один из самых замечательных тот, что политически Россия была абсолютною монархией, а в общественной жизни в ней была бытовая демократия, более свободная, чем в Западной Европе». А может быть, все было несколько иначе? Не холопы и разбойники бежали, а уходили на окраины наиболее смелые, предприимчивые, рисковые люди? Ведь «история казачества есть вместе с тем и история постоянного территориального роста России, история превращения небольшого Московского княжества в современную необъятную Российскую империю» («Столетие военного ведомства», СПб, 1902).

К сожалению, наша историческая наука складывалась так, что большинство явлений славянской и русской жизни принято было объяснять не самобытной историей славян и руссов, а единственно влиянием на них других народов. Это не могло не сказаться и на толкованиях происхождения казачества. Привожу одно из них, как наиболее характерное: «Среди различных теорий о происхождении казаков как наиболее достоверную можно принять, что казачьи поселения были образованы вне пределов России и в условиях от нее независимых» (А. А. Гордеев. «История казаков», Париж, 1968). Как известно, татаро-монголы, захватив большинство русских княжеств, обложили их данью, которая включала в себя и «тамгу», «дань крови», самую губительную для народа часть дани, когда забиралась десятая часть молодого населения для пополнения войска. Золотая Орда на три четверти состояла из покоренных народов. Это были выходцы из более чем двадцати народов, которые селились изолированно. Это якобы и были казаки, составлявшие основу монгольской легкой конницы, которая после распада Золотой Орды превратилась в массы «бездомного люда». Таким образом, чуть ли не благодаря татаро-монгольскому нашествию и зародилось на Руси казачество...

Конечно, столь длительное господство на Руси татаро-монголов не могло не сказаться на формах русской жизни, в том числе и казачества. Но существование в Золотой Орде воинской организации, чем-то напоминающей казачество, еще не доказывает такого его происхождения. Во-первых, потому, что упоминание о казаках, как считает Е. П. Савельев, встречается задолго до татаро-монгольского нашествия. И не только упоминание, но сама казачья идея объединения людей, коренным образом отличавшаяся, скажем, от рыцарства Европы. Во-вторых, совершенно необъяснимо, почему, если в Золотой Орде действительно зародилось нечто подобное казачеству, оно не оказалось перенесенным в другие покоренные народы. И в-третьих, казачество — не только военная организация — не объяснимо лишь тем, что «вся жизнь казаков проходила в поле и на коне», ибо жизнь большинства средневековых людей проходила в поле и на коне и тем не менее оно не порождало казачества. Наконец, не вполне ясно, в силу каких причин эта масса «бездомного люда» на Куликовом поле оказалась не на стороне Мамая, а московского князя, о чем недвусмысленно сообщал летописец.

Как нет до сих пор понимания казачества в общественном сознании, так нет и верного представления о необходимости его возрождения. К примеру, Б. Сарнов задался целью разобраться с проблемой возрождения сословий — дворянства, купечества, казачества, относясь к самой идее возрождения иронически, ибо действительно — и тут он не открывает больших истин — «прежней жизни все равно не вернуть». Но странную избирательность проявляет он при этом. В отношении казачества ирония у него сохраняется, а вот в отношении к купечеству «мгновенно испарилась» после того, как один из создателей Союза купечества поведал ему, что главной их задачей является «разбить тот стереотип, который есть у советского человека — что такое купец» («Независимая газета» от 24.1.1991 г.). Но ведь именно такую поставил перед собой цель и Союз казаков, о чем записано в его уставе. Так почему же тогда это право сохраняется за одними и не оставляется за другими? Аргумент более чем наивный — «я запутался с этими атаманами». Ну так «распутайся», разберись, прежде чем браться за перо, выказывая абсолютное непонимание проблемы и даже нежелание ее понять. Странность подобных суждений состоит ведь и в том, что казачество вовсе и не сословие, о чем у нас знает каждый школьник. Сословность была навязана сверху, введением «Положении...». И о том, что оно сословием не было, говорит его неоднородность, его имущественное расслоение. Значит, возрождению сословий, по Сарнову, путь открыт, а тому, что шире и сложнее сословности, почему-то заказан. Так «оправдывается» обыкновенный возврат в прошлое, чреватый не меньшими бедами, чем «прорыв в будущее», и отрицается действительное возрождение. Нельзя не заметить и того, что эта нынешняя логика так роднится с убеждениями тех, кто по какому-то немыслимому праву предпринимал «перековку» людей, «преодолевал» «сословную ограниченность» казачества.

Появляются ведь в сегодняшних газетах статьи, которые вполне могли увидеть свет тогда, в милые сердцу Сарнова 1920-е: «Уже проявляет себя темная сила, которую может разбудить возрождение казачества. Имя ей — русский национализм» («Московские новости», 1991, № 21). И это говорится о России, где растерзаны национальные святыни, где подорваны корни преемственности, где не только национальные, но и нормальные человеческие представления извращены до неузнаваемости. Опять — «темные силы нас злобно гнетут»? Причем в лице собственного народа. Опять народ идет не туда, куда ему, по мнению «архитекторов», якобы идти следует...

Теперь-то уж совершенно ясно, что казачество уничтожалось вовсе не потому, что было «опорой царизма», вовсе не потому, что оно было исполнено «пережитков» и «сословной ограниченности». Уничтожение его закономерно следовало из той «интернациональной», космополитической, антинародной политики, которая проводилась с остервенением и исступлением. Оно уничтожалось потому, что было одной из самых характерных, одной из ярко выраженных особенностей русского народа. Казачество было обречено независимо от того, приняло ли в массе своей советскую власть или не приняло. Оно было заведомо обречено, и этим определялась жестокость гражданской войны.

В том-то и дело, что революцию казачество приняло: «Большевизм проник и укрепился на Кубани отнюдь не по вине иногородних, а был насажден вернувшимися с фронта казаками, которые сами же поддерживали большевиков до тех пор, пока те не принялись за политику притеснения «контрреволюционного казачества» (Н. Н. Воронович. «Зеленые» повстанцы на Черноморском побережье»). Приведу размышления В. Короленко из его дневниковой записи 31 октября 1917 года: «Среди этой сумятицы казаки занимают особое, прямо выдающееся положение. У них, как заявил в Петрограде казак Агеев, совершенно нет дезертирства. Дезертир не мог бы явиться в станицу. Кроме того — еще не умерли выборные традиции. Произошло сразу что-то вроде перевыбора офицеров, и состав определился крепко: розни между офицерами и рядовыми нет... И этот голос людей, которые точно и ясно определили среди сумятицы свое положение и знают, чего хотят, и притом знают всей массой, — производит импонирующее впечатление. Кажется, что казаки не кинутся и в контрреволюцию. Бородин пришел ко мне, чтобы узнать мое мнение о федеративной республике. Эта идея охватила все казачество, потому что в «этой новизне их старина слышится». Я убежден, что будущее России именно таково... и только в этой форме оно сложится и окрепнет как народоправство... Бородин мечтает, что организация казачьих областей дает первые основы для кристаллизации всего русского народа. Среди разбушевавшейся анархии это, дескать, первые островки. Возможно».

Примечательно, что на следующий день после размышлений о казачестве В. Короленко делает такую запись: «Мне сообщили, что в совете можно говорить все что угодно. Не советовали только упоминать слово «родина». Большевики уже так нашколили эту темную массу на «интернациональный» лад, что слово «родина» действует на них как красное сукно на быков». Вовсе ведь не случайно в сознании писателя сомкнулись размышления о казачестве и о родине.

Но возможно ли теперь вообще возрождение казачества? В том объеме и полноте, в каком оно существовало, видимо, уже нет — слишком большие разрушения в народе были произведены, и

Того, былого казачества, своеобразие

го уклада жизни и характера человека, конечно, уже не осталось. Оно закатилось, пронеся через века свой крест, выполнив свое предназначение, свой долг перед Отечеством, уйдя в дорогую, до слез родную землю... Однако за долгие годы своей самобытной жизни оно создало оригинальную культуру. За века своей многотрудной истории казачество выработало те формы жизни, о которых мечтал народ.

Вот поэтому мне кажется, что возрождение казачества — вопрос в первую очередь культурный. Вопрос традиции и почвы. Но приходится признать, что движение за возрождение казачества, заявившее о себе образованием Союза казаков и Союзов в казачьих областях, действительной работы по возрождению казачества, его культуры не ведет, превратившись в «политклуб» в папахе. Видимо, это произошло потому, что, занявшись возрождением казачества, никто не удосужился обдумать его стратегию, его идеологию. Очевидно, что прежде чем провозглашать его возрождение, создавать структуры, следовало бы поставить перед собой основные вопросы, без ответов на которые оно немыслимо: что такое казачество? каково его состояние сегодня? в чем состоит теперь казачий вопрос? почему необходимо возрождение и возможно ли оно теперь? имеет ли, скажем, общая, методологическая характеристика казачества отношение к его нынешнему возрождению? Самое прямое и в большей мере, чем это кажется на первый взгляд. Одно дело, когда мы признаем казачество одной из особенностей России, причем наиболее своеобычной, каковым оно в действительности было, и тогда все дело возрождения казачества является частью возрождения России. Но многие Союзы казаков, вопреки истине и логике, поспешили объявить себя отдельным народом и даже национальностью. Логика тут проста — уж если мы отдельный народ, то тогда возрождение необходимо и подавно. На самом же деле происходит нечто совсем обратное. Объявив казачество отдельным народом, мы дело его возрождения противопоставляем делу исцеления матери-России. Круг замкнулся. Казаки оказались втянутыми в чертову карусель, которой нет конца... Такой путь «возрождения» себя исчерпал.

Может быть, те вопросы, о которых я говорю, именно в таком виде встали перед нами только теперь? Да нет, они стоят с тех пор, как казачество оказалось, по сути, загубленным: «Мы должны поставить два исходных вопроса: что такое казачество и есть ли оно уже пережиток старины» («Казачий сполох», 1924, № 2—3). Вот с каких пор уже стоят перед нами эти вопросы. Но не замечают их казачки, уже нашедшие себе «работу»...

Казачий вопрос сегодня — это прежде всего духовный, культурный вопрос. Надо быть очень уж необразованным человеком, чтобы иронизировать над «песенками». Возрождением самобытной казачьей культуры и должны были заняться Союзы. А на этой основе в возможных пределах можно было бы уже возрождать казачество как своеобразную этническую общность, как образ жизни. В полной мере, повторюсь, оно уже невосстановимо. Но в каких-то основных элементах восстановление его вполне реально. Это — восстановление в структуре Вооруженных Сил казачьих формирований. Установление станичных казачьих правлений без наделения их властью с правом общественного контроля Советов; правлений, высшим органом которых являлся бы Круг. Ни о какой постановке земельного вопроса, казачьем землепользовании не может быть и речи до тех пор, пока не отвечено на вопрос — в каком состоянии находится казачество? Как не может быть и речи о провокационных выяснениях, кто казак, а кто нет.

Но именно такую линию провозгласил Совет атаманов в Краснодаре, объявив на всю Россию свое требование — освободить казаков от налогов до 1995 года.

Нынешнее положение в казачьих областях складывалось трудно. И вот когда наконец все как-то с горем пополам утряслось, атаманы предлагают новое выяснение, кто казак, а кто не казак. Если следовать логике требований об освобождении от налогов, то из рядом живущих людей в станице один окажется от налогов освобожденным только по праву принадлежности к казачеству, а не по праву добросовестного труда, а другой... Такого «возрождения» не надо ни потомкам казаков, ни России. Не надо сеять новую распрю уже внутри русского народа. Во имя вроде бы возрождения люди снова втравливаются в новую усобицу. Так бывает обыкновенно, когда исходят не из реального положения вещей, а из отвлеченных понятий. И уже не столь важно, куда при этом зовут — в «светлое будущее» или замечательное прошлое...

Дальнейшее уничижение России происходит, как это ни странно, в форме ее возрождения. Вот новое коварство нашего времени. Теперь уже все «советское» и «коммунистическое» целиком и полностью уподобляется русскому, национальному, которое надо якобы низвергнуть во имя грядущего процветания... И все это происходит в то время, когда по улице Красной в Краснодаре со знамением шествуют разодетые молодые казаки... Понимают ли они, что все это будет обыкновенным маскарадом, пока в общественном сознании не установится правильное понимание казачества в соответствии с его исторической ролью? И нет теперь большей заботы у возрождающегося казачества, чем труд на этом поприще. Не папаху и черкеску надо поспешно шить — они быстро вылиняют под нещадным южным солнцем. Но собирать и хранить то, что ни под солнцем не выгорает, ни в огне не горит, ни в воде не тонет и чем, в сущности, определяется вся жизнь.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Русская мысль

ОТКРЫВАЯ КОНТИНЕНТ РОССИЯ

ГЕОРГИЙ ВЕРНАДСКИЙ

ДВА ПОДВИГА св. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Во времена императора Николая Павловича в Париже напечатана получившая громкую известность книжка о России — «La Russie en 1839» маркиза Кюстина (а). Эта книжка представляет собою—в форме путевых впечатлений — озлобленный памфлет, направленный против России, Русской Церкви, Русского государства, Русского народа.

Книга Кюстина — одно из звеньев большой цепи европейского русофобства, одно из проявлений ненависти Европы к России и страха Европы перед Россией[1].

Кюстин не ограничивается нападками на современную ему императорскую Россию, он стремится при случае развенчать и русское прошлое, подорвать исторические основы русского бытия. В числе нападок Кюстина на русское прошлое обращают на себя внимание иронические слова, посвященные памяти святого и благоверного князя Александра Невского.

Кюстин говорит: «Александр Невский — образец осторожности; но он не был мучеником ни за веру, ни за благородные чувства. Национальная церковь канонизировала этого государя более мудрого, чем героического. Это — Улисс среди святых»[2].

Так, а XIX веке западноевропейский писатель-латинянин стремился развенчать русского святого князя, вся деятельность которого была направлена на борьбу с Западом и латинством. Мечом нападали на Александра европейцы XIII века; литературною насмешкою заменил меч европеец XIX века; впрочем, и это «безкровное» орудие было, как оказалось, лишь подготовкою к мечу (ведь через несколько лет за книгою Кюстина последовала Крымская война и Севастополь!).

Высмеиваемая Кюстином «мудрость» и «осторожность» Александра Невского насмешке, казалось бы, не подлежат: отмеченные Кюстином качества соединялись в личности Александра с самым подлинным героизмом и подчас безрассудною смелостью. Александр доказал это своею борьбою против Запада. П о д в и г б р а н и Александр совершил на берегах Невы и на льду Чудского озера; печать этого подвига он возложил мечом на лицо Биргера (б). Но перед силою Востока Александр действительно счел нужным себя смирить. Мудрость Александра, по слову летописца, была от Бога; его осторожность была на самом деле п о д в и г о м с м и р е н и я.

XIII век представлял собою знаменательную эпоху в русской истории. В предшествующие века сложилась и ярким цветом зацвела русская культура — как

ВЕРНАДСКИЙ Георгий Владимирович — крупнейший историк русского зарубежья. Родился в 1887 году в семье выдающегося отечественного ученого Владимира Ивановича Вернадского, всю свою жизнь серьезно интересовавшегося историей. Благотворная семейная атмосфера помогла рано оформиться творческим интересам Вернадского-младшего, получившего университетское историческое образование. Уже в студенческие годы центр научных интересов молодого ученого составляла история взаимоотношений Древней Руси с Востоком и степными народами. Некоторое время преподавал в Петербургском, а затем в Таврическом университете. После революции эмигрировал в Прагу, где близко сошелся с Савицким и примкнул к евразийскому движению, активно участвуя в его литературно-издательской деятельности. Опубликовал целый ряд статей по истории Древней Руси и Евразии.

По складу характера более тяготел к академической университетской работе, исследованиям и преподаванию, нежели к политической публицистике и диспутам, столь популярным среди русского зарубежья. В 1927 году покидает Европу и поселяется в США, где преподает в Йельском университете русскую историю. Здесь он издал множество работ, посвященных прошлому России и Евразии, в том числе свой знаменитый шеститомный труд по истории Руси. На протяжении почти полувековой деятельности в США создал свою мощную историческую школу. Как показал столетний юбилей Вернадского, она включает в себя немало американских и европейских учеников и последователей ученого. Проявлял огромный интерес к России, вел обширную переписку с советскими учеными. Умер в 1973 году в возрасте 86 лет.

своеобразное сочетание и пышное возрастание на славянской почве богатых ростков православной Византии, Востока степных кочевников, Севера варягов-викингов.

Киевская Русь[3] поражает блеском и роскошью жизни материальной и духовной, расцветом искусства, науки, поэзии. Складывается в мощное национальное самосознание (епископ Иларион (б) и летописец Никон Великий (б)—все равно, одно ли это лицо под двумя именами или два лица с одинаковым горением и одинаковым устремлением мысли и чувства).

К XIII веку Русь стоит перед грозными испытаниями. Само ее существование — ее своеобразие и самобытность — поставлено на карту. Развернувшаяся на великой восточноевропейской равнине как особый культурный мир между Европой и Азией, Русь в XIII веке попадает в тиски, так как подвергается грозному нападению обеих сторон — латинской Европы и монгольской Азии.

В 1206 г. в сердце Азии произошло событие, во многом определившее дальнейшие судьбы истории. В Делигун Булак, на истоках Орхона (в), курултай (собрание старейшин) монгольских народов провозгласил местного завоевателя окрестных племен, воинствующего князька Темучина — самодержавцем (Чингисханом). Началось монгольское движение на Китай, Туркестан, Малую Азию, Европу. Меньше чем через двадцать лет после того передовые кавалерийские отряды Чингисхана уже нанесли русским князьям страшное поражение на Калке.

Почти одновременно — всего за два года до Делигун-Булакского курултая — не менее значительное событие произошло и в Европе: в 1204 г. западноевропейские крестоносцы взяли приступом Царьград и страшно разграбили его, православное Византийское царство было ниспровергнуто, на месте его основана Латинская империя.

Вслед за Византией, казалось, пришел черед и Руси. Наступление началось по всему фронту. Венгрия и Польша бросились на Галицию и Волынь; немецкие крестоносцы утвердились в начале XIII в. в Риге (Ливонский орден) и Пруссии (Тевтонский орден) и оттуда повели наступление на Псков и Новгород; наконец, шведы двинулись на Русь через Финляндию; мечом и огнем немцы и шведы обращали в латинство как язычников — литовцев, эстов и финнов, так и православных — русских. Годы высшего напряжения двусторонней опасности для Руси — конец 1230-х — 1240 год. Зима 1237/38 гг. — первый татарский погром Руси (преимущественно северо-восточной); в 1240 г. татарами взят Киев (6 декабря); в том же году, побуждаемый папою на крестовый поход против «неверных», шведский правитель и полководец Биргер высадился на берегах Невы (июль).

Русь могла погибнуть между двух огней в героической борьбе; но устоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта она не могла.

Предстояло выбирать между Востоком и Западом. Двое сильнейших русских князей этого времени сделали выбор поразному. Даниил Галицкий выбрал Запад и с его помощью попытался вести борьбу против Востока.

Александр Невский выбрал Восток — и под его защитою решил отбиваться от Запада.

Политика Даниила Галицкого (г) не была, впрочем, последовательной и прямолинейной. Даниил лавировал между римским папою, Уграми (Венгрией), Чехией, Польшей, Литвою, татарами, собственными боярами и родственниками-князьями. Первый страшный удар нанесен был татарами юго-западной Руси в конце 1240 г. (взятие Киева); вся Волынь и Галиция были затем опустошены; к Берестью нельзя было подойти от смрада гниющих трупов; во Владимире не осталось живой души.

Даниил не пытался оказать сопротивления. Еще до взятия Киева он уехал в Угры, ища против татар помощи у короля Угорского. Хлопоты Даниила оказались тщетны. Как известно, монгольская волна залила всю восточную и среднюю Европу — Венгрию, Силезию, Моравию, Хорватию, Балканы. Волна схлынула (в 1241 г.) не потому, что монголы встретили серьезное военное сопротивление, — наоборот, они побеждали повсюду (при Легнице в Силезии; на р. Солоной в Уграх), — а вследствие внутренних осложнений в глубинах монгольской державы (смерть великого хана Огодая и связанные с этим вопросы престолонаследия и внутренней монгольской политики, живо волновавшие Батыя, руководителя европейского похода монголов).

Даниил вернулся на Русь, где ему пришлось вести длительную борьбу с галицкими боярами, перемышльским владыкою, бывшим черниговским князем Ростиславом, уграми и поляками. Борьба шла успешно и завершилась решительною победою Даниила над польскими и угорскими войсками Ростислава (под Ярославом, 1249 г.).

Между тем уже в следующем, 1250 году монголы вновь заинтересовались югозападной Русью. Батый прислал сказать Даниилу: «Дай Галич». Не чувствуя себя опять в силах бороться оружием, Даниил решил подчиниться и поехал сам к Батыю. Против ожидания, Даниил был встречен ласково. Войдя в вежу (палатку) Батыя, Даниил поклонился по монгольскому обычаю. Батый сказал ему: «Данило, чему еси давно не пришел? А ныне оже еси пришел, то добро же. Пьеши ли черное молоко, наше питье—кобылий кумыс?»

Даниил: «Доселе есмь не пил, ныне же ты велишь — пью».

Батый: «Ты уже наш татарин, пий наше питье».

Даниил выпил и поклонился по обычаю.

Потом Батый прислал Даниилу вино, сказав: «не обыкли (вы) пити молока, пий вино».

Даниил пробыл в орде почти месяц и достиг цели: Батый оставил ему его все его земли. Немедленно сказалось международное значение Даниилова шага: З а п а д н а ч а л з а и с к и в а т ь п е р е д н и м: угорский король Бела IV прислал послов с предложением мира и родственного союза. Сын Даниила Лев женился на дочери угорского короля.

На стороне Белы Даниил вмешался в дела и распри средней Европы — спор из-за австрийского герцогства, дела чешские и моравские. В поход 1252 г. войско Даниила (вероятно, лучший полк, гвардия) было вооружено и обучено на татарский лад. «Немцы же, дивящиеся оружью татарскому, беша бо кони в личинах и в коярех кожаных и людье во ярыцех, и б полков его светлость велика»...

Подчинением монгольскому влиянию Даниил приобщался к мировой силе монгольской экспансии — попадал как бы в русло исторического потока.

Почти необозримые дипломатические перспективы открывались перед Даниилом в восточной и средней Европе. Он сам закрыл их перед собою своим неумением постигнуть значение исторического момента.

Его подчинение монгольской силе не было продуманным и последовательным; это был лишь случайный ловкий ход политического оппортунизма. Все политические и культурные симпатии, навыки и вкусы отталкивали Даниила от монгольской Азии.

Среди своей снаряженной по татарскому образцу гвардии Даниил в упомянутом походе 1252 г. не изменил византийскому одеянию русских князей. «Сам же (Даниил) еха подле короля (Угорского) по обычаю Руску, бебо конь под ним дивлению подобен, и седло от злата жжена, и стрелы и сабля златом украшена и иными хитростями якоже дивитися, кожух же оловира (шелка) Грецкого и круживы златыми плоскими ошить и сапоги зеленаго хьеза (кожи) шиты золотом, — немцем же зрящим много дивящимся».

Блестящему и честолюбивому князю должно было нравиться играть роль среди западных государей и рыцарей, вызывать восхищение и удивление в их среде. Тем более должна была ему казаться унизительною зависимость от диких — с его точки зрения — кочевников и варваров. Милостивое отношение Батыя было поэтому Даниилу оскорбительно и тяжело. Эти чувства ярко отразил летописец[4]: «О, злее зла честь татарская: Даниилови Романовичу князю бывшу велику, обладавшу Русскою землею, Киевом и Володимером и Галичем... ныне седит на колену и холопом называется... О злая честь Татарская — его отец[5] бе царь в Русской земле, иже покори Половецкую землю и воева на иные страны все».

Оскорбленное самолюбие Даниила заставило его искать новых путей, чтобы высвободиться из-под монгольской зависимости. Византийское царство было низвергнуто: оставался латинский Запад. Чтобы рассчитывать на помощь Запада — новый крестовый поход, — нужно было обратиться к формальному главе Запада — папе. Даниил это и сделал: он вступил в переговоры с папою Иннокентием IV о соединении церквей[6].

Папа обещал различные льготы и милости; русскому духовенству разрешено служить на квасных просфорах; признан был законным брак Даниилова брата Василька на близкой родственнице; крестоносцам и духовным лицам запрещено приобретать имения в русских областях без позволения великого князя; самому великому князю обещан королевский титул.

Наконец, посланы были (1253 и 1254 гг.) от папы всем государям средней и восточной Европы призывы о крестовом походе против татар на помощь Даниилу.

Рассчитывая на помощь Запада, Даниил начал деятельно подготавливаться к борьбе с монголами: собирать войска и деньги, укреплять города, населять их[7], возвеличивать власть свою.

В 1255 г. в гор. Дрогичине Даниил короновался присланною ему от папы королевскою короною.

Даниилу нужна была, однако, не только корона, а прежде всего военная помощь. Помощь эта не приходила: призывы папы остались без последствий. Тогда Даниил прервал с папою сношения.

Между тем надвигалась гроза с Востока. Даниил увидел, что не в силах справиться с этой грозою — предотвратить начавшееся опустошение своей земли татарами. Ему пришлось уступить и бросить все свои мечты. По требованию приднепровского татарского баскака Куремсы Даниил приостановил все свои военные приготовления против татар и срыл укрепления волынских городов (1261).

Через несколько лет после того Даниил умер (1264). Вся «большая политика» его, таким образом, кончилась неудачею; он имел успех только в «малой политике» — борьбе с непосредственными соседями-литовцами, которых против него не поддерживали ни монголы, ни крестоносцы-латиняне.

Даниил разменялся на повседневные политические мелочи — и упустил из рук главные нити исторических событий.

Он выиграл несколько отдельных сражений, но проиграл самое главное — православную Россию.

Результатом его политики были долгие века латинского рабства юго-западной Руси.

Не прошло и ста лет после смерти Даниила, как вся его отчина — Галицко-Волынская земля была расхватана соседями — уграми, поляками, литовцами. Латинское рабство в отдельных частях Руси не изжито было до наших дней — до начала мировой войны 1914 г., а ныне, кажется, возобновилось — все в той же многострадальной Волынской земле — с прежнею тяжестью или даже тяжелее прежнего...

Полную противоположность деятельности Даниила Романовича представляет собою деятельность Александра Ярославича.

С гораздо меньшими историческими данными Александр добился гораздо больших и несравненно более прочных политических результатов. Шумная и блестящая эпопея Даниила Галицкого прошла впустую. Глубокая и настойчивая политическая работа Александра Невского привела к великим следствиям.

Даниил имел в своем распоряжении исключительно благоприятные историко-географические силы: несравненный плацдарм в сердце средней Европы; используй Даниил с тыла поддержку монгольской силы, — он достиг бы результатов совершенно непредвиденных и необыкновенных. Он мог прочно утвердить Русь и Православие в восточной и средней Европе.

Александр, наоборот, имел данные историко-географические из рук вон плохие. Северо-западный угол европейской России не открывал перед ним широких международных перспектив. Но если Александр мало мог приобрести, он мог очень много — если не все — потерять. Он мог потерять не только «окна в Европу» — Новгород и Псков, — речь шла о самом существовании Руси, ее культуры и самобытности, о срединном очаге этой культуры. Предстояло поддержать живую энергию русской культуры — Православие — и обеспечить сохранность основного уже в то время источника этой энергии — родины русской народности. Если бы латинский Запад разгромил Новгород, Псков, Тверь, — могло бы оказаться, что остаток северо-восточной Руси был бы уже слишком слаб для самостоятельной жизни, мог бы вовсе раствориться в татарской стихии, а не ее претворить в себя (как это произошло затем в действительности).

Историческая задача, стоявшая перед Александром, была двоякой: национальное самосознание внутри границ.

Для решения той и другой задачи нужно было отчетливо сознавать и глубоко чувствовать — инстинктом, нутром, так сказать, — исторический смысл своеобразия русской культуры — Православие.

Спасение православной веры и было основным камнем политической системы Александра. Православие для него не на словах, а на деле было «столп и утверждение истины».

Раз основа была неколебимая и прочная, — Александр уже не боялся искать любых исторических союзников, чтобы эту основу утвердить.

Глубоким и гениальным наследственным историческим чутьем Александр понял, что в его историческую эпоху основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, от латинства, а не от монгольства. Монгольство несло рабство телу, но не душе. Латинство грозило исказить самоё душу.

Латинство было воинствующей религиозною системою, стремившеюся подчинить себе и по своему образцу переделать православную веру русского народа.

Монгольство не было вовсе религиозною системою, а лишь культурно-политическою. Оно несло с собою законы гражданско-политические (Чингисова яса), а не религиозно-церковные.

Мы привыкли ставить знак равенства между понятиями татарин и мусульманин. Но первоначальная монгольская волна отнюдь не была мусульманскою. Лишь через сорок лет после битвы при Калке хан Золотой Орды Бёрке (д) принял мусульманство (около 1260). Но сам Бёрке был лишь местною властью — областною, а не имперскою. Он подчинялся великим ханам монгольским (своим двоюродным братьям)—Мёнке (д), а после смерти этого последнего—знаменитому Кубилаю (д), мудрость и терпимость которого так прославляет Марко Поло.

Основным принципом Великой монгольской державы была именно широкая веротерпимость, или даже более — покровительство всем религиям. Первые монгольские армии, которые создали своими походами мировую Монгольскую империю, состояли преимущественно из буддистов и христиан (несториан). Как раз во времена князей Даниила и Александра монгольские армии нанесли страшный удар мусульманству (взятие Багдада, 1258 г.)

Именно отсюда проистекало то принципиально сочувственное отношение ко всякой религиозно-церковной организации, которое составляет такую характерную черту монгольской политики и которое удержалось потом в значительной степени даже в мусульманской Золотой Орде.

В частности, и православная церковь в России сохранила полную свободу своей деятельности и получала полную поддержку от ханской власти, что и было утверждено особыми ярлыками (жалованными грамотами) ханов.

С этой стороны, таким образом, Александру Невскому не только не нужно было опасаться монголов, но он мог рассчитывать даже на их помощь. Поэтому и подчинение Александра монголам не было чисто механическим, а лишь вынужденным. *Александр выделил в монголах дружественную в культурном отношении силу, которая могла помочь ему сохранить и утвердить русскую культурную самобытность от латинского Запада.*

Вся политика подчинения монгольскому Востоку была у Александра не случайным политическим ходом, как у Даниила, а осуществлением глубоко продуманной и прочувствованной политической системы.

Александр Ярославич, подобно Даниилу Романовичу, — богато одаренная личность в отношении и духовном, и физическом. Житие Александра[8] восхваляет качества его ума и сердца, красоту и храбрость.

«Мудрость же и остроумие дадеся ему от Бога, яко Соломону». С юных лет «вселился в сердце его страх Божий, еже соблюдати заповеди Господни и творити я во всем... Во все же время юности своея смиренномудрие вседушно держаше, воздержася и бдя, чистоту душевную и телесную соблюдаше, кротость же стяжа и от тщеславия отвращашеся... Во устех же безпрестанно бяху божественные словеса, услаждающа его паче меда и сота». Эти словеса он читал «со усердием, и вниманием, и желаше сих речения и делом исполняяй».

Душевным качествам Александра соответствовали телесные. «Беже розрастом (ростом) велик зело, красота же лица его видети, яко прекраснаго Иосифа; сила же его бе, яко часть от силы Самсоновы; глась же его слышати, яко труба в народе; храбрость же его — яко римскаго царя Веспасиана» (е).

Александр Ярославич сел на княжеский стол перед самым монгольским нашествием. В 1236 г. князь Ярослав, отправившись походом из Новгорода на Киев, посадил сына князем в Новгороде. В Новгороде сидел Александр, и во время первого монгольского нашествия на Русь зимою 1237/38 гг., как известно, в это первое нашествие татары до Новгорода не дошли. «И тамо дойти поганым возбрани некая сила божественная», — говорит Степенная книга (е) — «и не попусти им ни мало приближитися не токмо ко пределам Великаго Новаграда, но идеже и инде прилучится им тогда пребывати и воиньствовати супротивных и враждующих Литву и Немец».

Тем не менее и Новгород с остальными русскими городами и землями вошел в подчинение татарской власти. В 1239 г. отец Александра — Ярослав сделался великим князем на место своего брата Юрия, погибшего в борьбе с татарами. Политическое первенство Ярослава достигнуто было ценою полного подчинения монгольской власти. В 1243 г. Ярослав должен был лично ехать в Орду для выражения покорности. Батый принял его с «великою честью» и сказал: «Ярославе! буди ты старей всем князем в русском языце (народе)». Сына Константина Ярослав отправил в Азию в ставку Великого хана[9].

Под прикрытием монгольского мира на Востоке другой сын Ярослава, Александр, в эти именно годы блистательно отбивал все нападения с Запада.

Как было сказано уже, в июле 1240 г. шведский ярл Биргер, побуждаемый папою на крестовый поход против неверных (то есть православных), высадился на берегах Невы. Услыхав об этом, Александр, по словам древнего жития[10], — «разгореся сердцем, вниде в церковь святыя Софьи (в Новгороде), паде на колену перед олтарем, нача молиться со слезами... и восприим Псаломную песнь рече: суди, Господи, обидящим мя, возбрани борющимся со мною, приими оружие и щит, стань в помощь мне. Скончав молитву, вставь, поклонися архиепископу, архиепископ же Спиридон благослови его и отпусти».

Александр двинулся в поход «в мале дружине, не сождався со многою силою своею, но уповая на святую Троицу».

15 июля в 6 часов утра началось сражение («сеча велика над римляны»). Победа Александра была полная и решительная: «изби множество безчисленно их» («римлян», т. е. шведов — латинян). Самому Биргеру Александр «возложи печать на лице острым своим мечём».

Невская победа произошла в обстановке величайшего религиозного напряжения. Она сопровождалась чудом: перед боем морской побережный стражник Пелгусий, бывший язычник, крещенный в православие и нареченный Филиппом, имел видение. Пелгусий стоял «при крае моря, стрежашеть обою пути, и пребысть всю нощь во бденьи; яко же нача всходити солнце, и слыша шумъ страшенъ по морю, и виде насадъ (судно) единъ гребущъ, посреде насада стояща мученику Бориса и Глеба в одеждах червленыхъ... и рече Борис: брате Глебе! повели грести, да поможемъ сроднику своему Александру».

В то время, как Новгород подвергся нападению шведов, на Псков напали немцы (ливонские рыцари) и взяли его; немцы вошли вслед за тем в Новгородскую землю и попытались там закрепиться, построили крепость в Копорье.

В 1241 г. Александр взял Копорье со всем немецким гарнизоном. В начале 1242 г. Александр занял Псков и тотчас пошел на Чудскую землю, во владения Ливонского Ордена. 5 апреля на льду Чудского озера произошла знаменитая битва, известная под именем Ледового побоища. Немцы и чудь построились *свиньею* (клином); им удалось было прорвать линию русской рати, но в это время Александр с отборным отрядом зашел немцам в тыл и этим решил дело. Разгром неприятеля был полный. «И бысть сеча зельна на немцы и на чудь», — говорит житие Александра, — «и трескъ великъ отъ копей ломания и звукъ страшенъ отъ мечнаго сечения... и не бъ видети леду: покрыло бо ся кровию». Один очевидец свидетельствовал, что видел «полки Божии на воздусе пришедшима на помощь ему (Александру)».

Торжественно было возвращение Александра во Псков: «изыдоша во сретение ему весь освященный соборъ съ честными кресты и со святыми иконами и всенародное множество, хвалу Богови возсылающе и благодарные песни воспевающие: Пособивый Господи кроткому Давиду победити иноплеменники и благоверному великому князю нашему Александру оружиемъ крестный градъ Псковъ свободити отъ поганыхъ иноплеменникъ».

После ряда блестящих и славных побед над Западом Александру пришлось воочию ощутить силу Востока: он должен был ехать во Владимир — прощаться с отцом своим Ярославом, который отправлялся в Орду к Батыю.

За смирением на Востоке опять следовали победы на Западе (несколько побед над Литвою в 1245 г. в районе Торопца и Витебска). В том же 1245 году из Азии, из ставки Великого Хана, вернулся Константин Ярославич. Взамен его в глубь Азии поехал сам Ярослав. В августе 1246 года Ярослав принял участие

в курултае, на котором Великим ханом провозглашен был Гуюк (ж), сын Огодая (ж) и Туракины. Вскоре после этого Ярослав заболел и умер (там же, в ханской ставке).

После смерти отца Александр оказался в непосредственной близости к Востоку; ему пришлось уже самостоятельно решать между Востоком и Западом.

И Восток, и Запад звали его каждый на свою сторону..

В 1248 г. составлена была папская булла, в которой папа обещал Александру за признание Римского престола помощь ливонских рыцарей против татар [11].

С другой стороны, Батый прислал Александру сказать: «Иже въ русскихъ держателяхъ пресловущий княже Александре, вемъ яко разумно (известно) ти есть, иже мне Богъ покорилъ многие языки (народы), и вси повинуются державе моеи. И паче ли всехъ единъ ты не радиши покоритися силе моей? Внимай убо себе; аще мыслиши соблюсти землю твою невредиму, то потщися немедленно прийти до мене, и узриши честь и славу царствия моего, себе же и земле твоей полезная приобрящеши».

Александр поехал к Батыю с братом Андреем. От Батыя братья отправились к Великому хану Гуюку (поездка в Азию заняла у них два года). Андрею дан был Владимир, Александру — Новгород и Киев. В Твери княжил третий брат, Ярослав. Александр, как старший, требовал от братьев подчинения. Целью его политики было объединение всей Руси под одним великим князем. Не встречая покорности в братьях, Александр не останавливался перед тем, чтобы смирять их с помощью татар. В 1252 г. татарский отряд Неврюя изгнал Андрея из Владимира; великокняжеский стол был передан Александру. В 1256 г. Александр силою выгнал из Новгорода другого брата, Ярослава (который из Твери перешел в Псков, а оттуда в Новгород). Вслед за этим Александр жестоко наказал новгородцев, не хотевших платить татарам дань («число»). В 1259 г. Александр лично присутствовал при взятии татарами этого «числа».

В 1262 г. Александр последний раз воевал против Запада: он послал в поход (на Юрьев Ливонский) сына своего Димитрия и смирившегося брата Ярослава. Русские осилили немцев и сожгли посад (крепости взять не смогли).

Самому Александру пришлось в это время ехать в Орду — умилостивлять хана, разгневанного мятежом: во многих северорусских городах в 1262 г. народ избил татарских откупщиков дани, не понимая, что за каждым баскаком стояла грозная сила всей Монгольской империи. Александру удалось уладить дело благополучно: хан Берке удовольствовался его извинениями и новыми изъявлениями покорности.

Спасение русской земли от нового разорения было последним политическим актом Александра. В Орде Александр пробыл почти год. На обратном пути он заболел (в Нижнем Новгороде) и в Городце на Волге умер (14 ноября 1263 г.). Перед смертью Александр призвал — «ся свои князи и боляре и вси чиновники даже и до простыхъ, и отъ коего ждо ихъ прощение просяще, и всемъ имъ тако же прощение подаваше, и вси горьце плачущиеся о разлучении господина своего. Ужасно бе видети, яко въ толице множестве народа не обрести человека не испусти слезъ, но вси со восклицаниемъ глаголаху: увы, намъ, драгий господине нашъ! Уже къ тому не имати видети красоты лица твоего, ни сладкихъ твоихъ словесъ насладитися! Къ кому прибегнемъ и кто ны ущедрить? Не имутъ бо чада остъ родителю такова блага прияти, яко же мы отъ тебе восприимахомъ, сладчайший наю господине!».

Митрополит Кирилл был во Владимире, когда пришла весть о кончине Александра. Выйдя к народу, митрополит объявил: «Уже зайде солнце земли Русския». Потом помолчал, прослезился и сказал: «Благоверный великий князь Александръ преставися отъ жития сего».

«И бысть во всемъ народе плачъ неутешимъ».

Деятельность Александра определялась не только чисто политическими планами и расчетами. Политика его тесно связана была со всеми его нравственно-религиозными понятиями. Вернее сказать, в основе его политики лежали принципы религиозно-нравственные. Политическая система Александра есть в то же время система религиозно-нравственная.

Александр Ярославич не только политик и воин: он прежде всего глубоко верующий человек и знающий богослов. Когда римский папа прислал к Александру двух кардиналов для убеждения в латинской вере, Александр — «совещавъ съ мудрецами своими» — составил обстоятельное возражение.

«Исписавъ къ нему отъ Адама и до потопа, а отъ потопа и до разделения языкъ и до начала Авраамля, а отъ Авраама... до Августа кесаря, а отъ начала Августа царя до Христова Рождества и до Страсти и до Воскресения Его, отъ Воскресения же и до Вознесения на небеса и до царства Константина Великаго и до Перваго Вселенского Собора святыхъ отецъ, а отъ Перваго и до Седьмого Собора. Сии вся добре сведаемъ, сия суть въ насъ, учения сии целомудрствуемъ, иже во всю землю изыдоша вещания ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ, якоже проповедашеся отъ святыхъ апостолъ Христово Евангелие во всемъ мире, по сихъ же и предания святыхъ отецъ Седми Собор Вселенскихъ. И сия вся известно хранимъ, а отъ васъ учения не приемлемъ и словесъ вашихъ не слушаемъ».

Религиозно-нравственная философия Александра Невского была вместе с тем и политической его философией.

В житии Александра приводятся два главных основания для его «хождения во Орду».

Александр «умысли итти во Орду»: 1). «подобяся благой ревности благочестиваго си отца» и 2). «избавы ради христианския».

Объяснением ко второму мотиву являются слова Батыя: «аще мыслиши соблюсти землю твою невредиму, то потщися немедленно прийти до мене».

Что касается первого мотива, житие поясняет его следующим образом: «Богомудрый же великий князь Александр разсуди, яко святый отецъ его Ярославъ не ради (не заботился) о временном царствии, но шедъ во Орду и тамо положи животъ свой за благочестие и за вся своя люди и темъ измени (обеспечилъ) себе Небесное Царствие».

Готовность положить живот свой за люди своя — это то же, что иначе выражено словами «избавы ради христианския».

Готовность положить живот свой «за благочестие» — это вполне отвечает стойкости Александра в православной вере и стремлению его во что бы то ни стало обеспечить существование православной церкви.

Сложнее смысл слов «не ради о временном царствии».

Подобными словами в наших летописях выражается обычно мысль о готовности властителя без боязни и без колебаний принять в борьбе с врагом смерть и мученический венец, променяв «временное царствие» на «вечное» [12].

Но в применении к восточной политике Ярослава и Александра — политике не вооруженной борьбы или восстания, а подчинения и покорности — слова эти должны иметь другой оттенок и смысл.

Их можно сопоставить опять-таки со словами Батыя: «узриши честь и славу царствия моего». То, о чем говорит Батый, — блеск земной славы («временнаго царствия»); о нем-то и не радел Ярослав. О нем радел зато Батый, о нем радел и Даниил Галицкий.

Этим внешним блеском и величанием земного царствия и пожертвовал Александр ради глубины понимаемых им истинных основ царской власти: «за благочестие и за вся своя люди», «избавы ради христианския».

«Злее зла честь татарская» была для самолюбия Даниила; Александр принял эту честь со смирением.

Невыносимо было для Даниила стать подручным («холопом») татарского хана; Александр перенес и это со смирением.

Александр — «побеждая везде, а не победимъ николиже (никогда)» — устоял перед искушением — подобно Данилу — путем компромисса с латинским Западом искать себе союзников против Востока.

Подчинение Александра Орде иначе не может быть оценено, как подвиг смирения.

Не случайно в видении Пелгусия в помощь Александру являются именно Борис и Глеб — святые смирения по преимуществу.

Недаром и Степенная книга говорит, что «смиренную мудрость» Александр «стяжа паче всехъ человекъ».

Христианский подвиг не всегда есть мученичество внешнее, а иногда наоборот — внутреннее: не только брань видимая, но и «брань невидимая», борьба с соблазнами душевными, подвиг самодисциплины и смирения. И этот подвиг может быть присущ не только частному лицу, но и властителю.

Сан государя — божественное установление. Но пред каждым государем возникают и соблазны и увлечения земным окружением власти — внешнею пышностию и суетным («временным») величием.

Подвиг власти может состоять в том, чтобы достойно отстаивать внешнюю независимость и величие сана — отстаивать даже до смерти. Но подвиг власти может состоять также и в том, чтобы, выполняя основные задачи сана — защищая «благочестие и люди своя», — внутренне преодолевать, когда это нужно для исполнения основной задачи, земное тщеславие власти.

«Тотъ, что указываетъ и распоряжается, — говорит в одном из своих оглашений преп. Феодор Студит (з), — долженъ соблюдать умеренность и смирение, ибо Творецъ естества поставил его выдающимся и более почтенныъ членомъ тела».

Таков и был по отношению к Востоку подвиг св. Александра Невского. По отношению же к Западу это был подвиг не сложный, а простой, брань не только невидимая, но также и видимая.

Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке — имели одну цель: сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа.

Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром. Племя Александрово построило Московскую державу.

Когда исполнились времена и сроки, когда Русь набрала сил, а Орда, наоборот, — измельчала, ослабла и обессилела [13], тогда стала уже ненужною Александрова политика подчинения Орде: Православное Царство могло быть воздвигнуто прямо и открыто, Православный стяг поднят без опасений.

Тогда политика Александра Невского, естественно, должна была превратиться в политику Димитрия Донского.

Внутренняя необходимость такого превращения наглядно подчеркнута в «Сказании чудес до преставлении блаженнаго Александра», именно — в «чуде о Донской победе».

«Яко же въ животе, тако и по преставлении, — свидетельствует Сказание, — сей чудный самодержецъ Александръ не оставляетъ, не забываетъ свою паству, но всегда въ нощи и во дни снабдевая и заступая отъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ... Во преименитомъ граде Владимире во обители Пречистыя Богородицы честнаго Ея Рождества у честныя раки блаженнаго великаго князя Александра

во едину отъ нощи (на 8 сент. 1380 г.) пономареви церкви тоя спящю въ паперти церковней и виде въ церкви свещи о собе возгоревшася; и два старца честна изыдоста отъ святого олтаря и приидоста ко гробу блаженнаго князя Александра и глаголаста: о господине Александре, востани и ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию, одолеваему сущу отъ иноплеменникъ. И въ часъ святый великий князь Александръ воста изъ гроба и абие со обема старцы вскоре невидимы быста».

Так положник подвига смирения по отношению к татарам, когда нужно оказалось, взамен смирения подвигся на брань.

Исторически, конечно, так именно и было: рать Димитрия возросла на смирении Александра. Московское Царство в значительной степени — плод мудрой Александровой политики.

Степенная книга, подводя под это Царство духовно-исторические основы, обнаружила глубокое понимание истории, когда среди основателей Царства уделила св. Александру Невскому такое значительное место в «гранях» своего повествования...

Александр Невский и Даниил Галицкий олицетворяют собою два исконных культурных типа истории русской и даже шире того — мировой[14]: тип «западника» и тип «восточника».

В XIX веке в русском обществе получило большую известность разделение на «западников» и «славянофилов». Это — видоизменение тех же основных типов. Рознь между «западниками» и «славянофилами» в середине XIX века проявлялась преимущественно в рамках литературных мнений.

Осознание культурных противоречий Запада и Востока должно, однако, выйти за пределы литературы, должно стать действенным.

Не одни только литературные мнения, а также деяния, чувства и подвиги прошлого должны быть нами по-новому поняты и оценены.

Яркими маяками двух мирочувствований светят нам образы двух русских князей — Даниила Галицкого и Александра Невского.

Наследием блестящих — но непродуманных — подвигов одного — было латинское рабство Руси юго-западной.

Наследием подвигов другого — явилось великое государство Российское.

Ноябрь 1925 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отвечало бы интересной социологической задаче — проследить историю этой ненависти и страха — хотя бы за XVIII—XIX века.

Книга Кюстина у меня имеется в 3-м издании (Paris, 1846).

2. La Russie en 1839, Par le marquis de Custine, t. I (1846), p. 265.

3. Термин «невский» употребляется здесь не как территориальный, а как культурно-хронологический.

4. Здесь, как и раньше, имеется в виду Галицко-Волынская летопись в Ипатьевском списке (под 1249 и 1250 г.).

5. Великий князь Роман Мстиславович (Волынский и Галицкий).

6. Переговоры начались еще до подчинения Даниила Батыю, при посредстве ездившего в Орду от папы монаха Плано-Карпини (1246—1247 гг.).

7. При этом новыми поселенцами в городах явились большею частью немцы, поляки, евреи — последствия сказались в дальнейшем развитии этих городов.

8. Пространное — Степенная книга, 8-я степень.

9. В это время Великого хана вовсе не было. Управляла империей вдова Огодая, Туракина.

10. Лаврентьевская летопись под 1263 г.

11 Доставлена была эта булла Александру около 1251 г., к какому времени относится и ответ Александра папе, занесенный в житие.

12. См. статью М. В. Шахматова «Подвиг власти» в третьей книге «Евразийского временника».

13. Роковую роль для турко-монголов сыграл религиозный их раскол — обращение западных турко-монголов в мусульманство.

14. Мировой — в смысле Старого света,— Евразии.

(«Евразийский временник», книга IV, Берлин, 1925)

МОНГОЛЬСКОЕ ИГО В РУССКОЙ ИСТОРИИ

1

Сто лет тому назад, в 1826 г., русская Академия наук предложила такую задачу на разрешение современных ученых: «Какие последствия произвело господство монголов в России, а именно — какое имело оно влияние на политические связи государства, на образ правления и на внутреннее управление оного, равно как на просвещение и образование народа». Сроком для представления ответа было назначено 1 января 1829 года.

К назначенному сроку поступило лишь одно сочинение на немецком языке, которое не было признано достойным награды.

Через несколько лет после неудачной попытки Академия вновь предложила задачу из той же области, но определила ее гораздо более узко. В новой постановке (1832 г.) задача была выражена следующим образом: «Написать историю Улуса Джучи, или так называемой Золотой Орды, критически обработанную на основании как восточных, особенно магометанских, историков и сохранившихся от ханов сей династии монетных памятников, так и древних русских, польских, венгерских и проч. летописей и других, встречающихся в сочинениях современных европейцев сведений[1]».

Срок для решения этой новой задачи поставлен был также трехлетний (1 августа 1835 г.). На этот раз в Академию поступила также работа на немецком языке, большая и значительная, но, однако, после отзывов академиков Френа, Шмидта и Круга (и) премия за работу и на этот раз не была присуждена[1].

С тех пор прошли десятки лет. Несколько поколений русских ученых трудились над изучением вопросов, поставленных Академией наук в первой половине XIX века. Многое исследовано и уяснено; помимо источников арабских и персидских, привлечены к рассмотрению источники китайские[2].

Однако если мы приблизились теперь к разрешению второго вопроса, поставленного Академией (о Золотой Орде), то первый общий вопрос — об удельном весе монгольского ига в истории русского народа остается, в сущности, до сих пор без ответа. Между тем, то или иное решение этого вопроса имеет громадное значение для понимания всего хода русской истории.

Русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения. Можно изучать внутреннее развитие русской жизни и русского народа безотносительно к окружающим народам. Можно, с другой стороны, стремиться выяснить развитие русской истории на фоне истории мировой.

Когда смотрели на русскую историю с этой последней точки зрения, то обычно под мировой историей понимали историю западноевропейского мира. Русская история являлась тогда как бы только привеском истории Западной Европы. Все мировое значение России во времени представлялось лишь в том, что она оберегала западноевропейскую цивилизацию от азиатского «варварства».

Излагая происхождение «восточного вопроса» во время русско-турецкой войны при Александре II, историк Соловьев писал так: «У нашего героя древнее знаменитое происхождение... Восточный вопрос появился в истории с тех пор, как европейский человек осознал различие между Европою и Азиею, между европейским и азиатским духом. Восточный вопрос составляет сущность истории древней Греции; все эти имена, знакомые нам с малолетнего детства, имена Мильтиадов, Фемистоклов, близки, родственны нам потому, что это имена людей, потрудившихся при решении восточного вопроса, потрудившихся в борьбе между Европою и Азией. Ожесточенная борьба проходит через всю европейскую историю, проходит с переменным счастьем для борющихся сторон; то Европа, то Азия берет верх: то полчища Ксеркса наводняют Грецию; то Александр Македонский с своею фалангою и Гомеровою Илиадой является на берегах Евфрата; то Аннибал около Рима; то римские орлы в Карфагене и в его метрополии; то гунны на полях Шалонских и аравитяне подле Тура; то крестоносная Европа в Палестине; то татарский баскак разъезжает по русским городам, требуя дани, и крымский хан жжет Москву; то русские знамена в Казани, Астрахани и Ташкенте; то турки снимают крест со Св. Софии и раскидывают дикий стан среди памятников древней Греции; то турецкие корабли горят при Чесме, при Наварине и русское войско стоит в Андрианополе. Все одна великая борьба — все один восточный вопрос».

«Но, разумеется, — добавляет Соловьев, — восточный вопрос имеет наибольшее значение для тех европейских стран, которые граничат с Азией, для которых борьба с нею составляет существенное содержание истории; таково значение восточного вопроса в истории Греции; таково его значение в истории России вследствие географического положения обеих стран».

Конечно, в историческом весе России этот элемент — защита Европы от Азии — играл роль. Понятно также и возмущение русских мыслителей, когда в Европе об этом забывали. В свое время (1834 г.) ярко выражено было это возмущение А. С. Пушкиным: «Долго Россия была совершенно отделена от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы монголов, остановили их разрушительное нашествие. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной, издыхающей Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали европейские журналы; но Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна».

Несомненно, в исторической роли России была и эта сторона. Русь была в течение ряда веков рубежом между Западом и Востоком, Европой и Азией. Этой стороной, однако, далеко не исчерпывается историческая роль России в истории мировой. Мировая история — понятие гораздо более широкое, чем история европейская.

У нас создавалась искривленная историческая схема мировой истории. Германо-романская Европа нам представляется основным стержнем исторического процесса. Такое представление создалось главным образом на основании бурного роста европейской культуры в XV—XIX веках.

Между тем эта культурная гегемония Европы (притом ее надо понимать преимущественно в ограниченном смысле развития прикладного естествознания и техники, промышленной, военной и политической жизни) — явление временное.

Как сложится мировая жизнь уже в XX веке — большой вопрос и большая загадка. Среди романо-германских народов все больше выдвигаются в жизни новые образования — Америка англо-саксонская, а также Америка испано-португальская. Предстоят колоссальные сдвиги народов Азии и Африки — индусов, китайцев, японцев, монголов, турок, негров.

Картину, столь же не похожую на романо-германскую гегемонию XV—XIX веков, мы находим в прошлом.

Так называемое «падение Римской империи» есть соприкосновение средиземноморского греко-римско-сирийского и европейско-арабского мира с миром среднеазиатских и южнорусских кочевников. Кажущийся «регресс» материальной культуры средиземноморского мира был, с другой стороны глядя, «прогрессом» — грандиозным раздвиганием культурно-исторических и культурно-географических рамок. Кочевники, шедшие волнами друг за другом из черноморских степей, из глубин континента, оказывались часто посредниками между цивилизацией и культурою средиземноморскою и дальнеазиатскою (китайскою и индусскою), не говоря о том, что сами кочевники несли с собою совершенно новую культуру, например в области искусства.

Материальная культура «Римской империи» оказалась бессильна перед напором культуры новых народов, «варваров».

Но духовный подъем средневекового мира, связанный с новой религией — христианством, в значительной степени совладал с разбушевавшимися историческими стихиями.

Церковь была связующим началом между миром средиземноморским и миром «варварским». Через Церковь многие элементы «варварской» цивилизации проникли в жизнь народов, подчиненных ранее римскому мечу. С другой стороны, Церковь захватывала в черту своего влияния и своей организации новые «варварские народы».

Все дальше на восток двигался центр церковного влияния. Первый церковный «Рим» был в старом средиземноморском Риме. Второй, Новый Рим, был уже на рубеже Европы и Азии, на Босфоре, в Византии. Третий Рим был еще дальше на Восток, в недрах восточной, монгольской Руси — в Москве.

Царьград, он же Константинополь, Византия тож — был центр Православия в средние века.

В разные стороны от этого центра, по мере уменьшения его влияния, распространялись боковые (со всемирной, для средневековой истории, точки зрения) ветви христианства: на Западе — в мире романо-германской Европы; латинство — на Востоке, в мире иранской Азии и турецкой и монгольской степи — несторианство.

2

Вся история Византийского царства проникнута взаимоотношениями со степным Востоком. Теми же отношениями окрашены ранние века русской истории, ее «домонгольский период» — Киевская Русь. Печенеги, половцы, торки, берендеи, черные клобуки — все эти по преимуществу турецкие народы южнорусских степей входили в постоянное соприкосновение с миром греческим и русским, то враждовали и воевали с Царьградом и Русью, то в отдельных частях и в разных комбинациях вступали с ними в союзные и дружественные отношения.

Русская цивилизация и культура постепенно пропитывалась началами с одной стороны византийской (то есть греко-восточной) цивилизации и культуры, с другой — цивилизации и культуры степных кочевников, перенимая от них одежду и оружие, песнь и сказку, воинский строй и образ мыслей.

С этой точки зрения, монгольское нашествие в XIII в. не было чем-то принципиально новым. Это была такая же глубинно-материковая волна, только волна необычной силы и невиданной ранее степени напряжения. Притом эта волна совершенно захлестнула собою русский мир, по крайней мере восточную его половину. Этим и создана была новая основа русско-восточных отношений. Началось политическое подчинение Русской земли Востоку — «монгольское иго».

3

В нашем сознании понятие «монгольское иго» связано прежде всего с отрывом русской земли от Европы. Однако это обстоятельство имело и обратную сторону.

Если «монгольское иго» способствовало отрыву русской земли от Европы (большой вопрос, насколько глубок был этот отрыв), то с другой стороны то же «монгольское иго» поставило русскую землю в теснейшую связь со степным центром и азиатскими перифериями материка.

Русская земля попала в систему мировой империи — империи монгольской.

Мировой характер этой империи как-то недостаточно до сих пор нами осознается.

Мировое значение имела Римская империя времен Траяна (к) и историческое продолжение ее — Византийская империя эпохи Юстиниана, а затем эпохи Василия II (к). Мировая империя Византии была разрушена крестоносцами-латинянами в 1204 году. Латинские же средневековые империи — учрежденная Карлом Великим (к) в 800 г. «священная римская империя германской нации» и другая — Константинопольская империя Балдуина (л) — мирового значения иметь не могли. Империя «германской нации» имела значение лишь провинциально-европейское. Империя Константинопольская латинская не имела и такого значения.

Роль Рима и Византии — объединительницы культур Запада и Востока, культуры земледельческо-морской и культуры кочевнической, степной — эта роль в начале XIII века, после падения империи Византийской, — перешла на империю монголов.

При этом, однако, круг земель и народов, охваченный монгольской саблей, был значительно шире того, который очерчен был ранее римским мечом.

Римская и позднее Византийская империя построены были на системе взаимоотношения средиземноморского очага цивилизации (земледельческо-морской) и степной культуры кочевников.

Монгольская империя захватила уже два очага цивилизации (земледельческо-морской): с одной стороны — Китай, с другой — земли, входившие в Византийскую империю (Малая Азия, Кавказ, Крым, Балканы)[3]. При этом произошло перемещение центра тяжести из одного типа в другой.

Византийско-римская империя основана была на земледельческо-морском типе, и из этой основы вступила в соприкосновение с типом кочевническим континентальным. Монгольская империя имела как раз центр в кочевническом мире, а боковые ветви этой империи — земледельческие очаги (Китай и М. Азия — Балканы).

Русская земля имела ранее культурную связь с одной мировой империей — Византийской. Политическая гегемония Византии имела, однако, характер довольно слабой связи (за исключением Церковных отношений). Связь эта совсем расшаталась и ослабла с падением Византии и установлением в Константинополе латинской империи (1204).

В результате монгольского завоевания Русская земля попала в систему другой империи — Монгольской, за исключением только церковных отношений; в церковном отношении Русь продолжала подчиняться вселенскому патриарху, который большую часть XIII в. пребывал уже не в Константинополе, а в Никее (в Малой Азии).

Подчинившись государям из дома Чингисхана, Русская земля в политическом отношении была включена в огромный исторический мир, простиравшийся от Тихого океана до Средиземного моря. Политический размах этого мира наглядно рисуется составом великих монгольских курултаев XIII века: в этих курултаях участвовали (помимо монгольских князей, старейшин и администраторов всей средней, северной и восточной Азии) русские великие князья, грузинские и армянские цари, иконийские (сельджукские) султаны, кирманские и моссульские атабеки и пр. К центру монгольской власти должны были тянуться люди из разных концов материка по своим разным делам — административным, торговым и т. п.

Для Руси оказались открытыми дороги на Восток. Русские военные отряды ходили с татарскими царями далеко за Дон, из которого раньше половцы мешали им испить воды шеломом[4]. «Гости Рустии» — русские купцы — были в большом числе в Орде на Северном Кавказе во время убиенья князя Михаила Ярославича Тверского (1319 г.). По всему Северному Кавказу можно было найти в это время «церкви христианские», где молились эти купцы.

Русские военные отряды участвовали также в войсках Кубилая при завоевании Южного Китая во второй половине XIII века.

Монгольская империя, совершенно единая при первых великих ханах, быстро начала распадаться на отдельные государства — китайское, персидское, Джагатайское, Золотую Орду. Тем не менее связь между отдельными монгольскими государствами продолжала еще долго существовать, и долго еще поддерживались вассального типа отношения различных монгольских государей к лицу великого хана, пребывавшего в Китае со времен знаменитого Кубилая[5]. Таким образом, до падения монголов в Китае, то есть до середины XIV века (1368), поддерживалось, хотя и ослабленное, единство всей имперской монгольской системы.

Наглядным документом этого имперского единства является любопытный чертеж монгольской империи, относящийся к 1331 году.

На этом чертеже монгольская империя разгорожена чертою на несколько отдельных частей, но все они вместе слагаются в целое единство.

Части эти следующие: 1) — основное ядро — Срединная империя (Китай) — империя Тоб-Тимура (м); 2) — Персия — держава Ву-саина (Абусаида) (м); 3)—Туркестан — Джагатайская держава[6]; 4) Кипчацкое царство — держава Ю-джу-бу (Узбека) (м).

Согласно этому чертежу, Русская земля («А-ло-ш» в передаче монгольского чертежника — ср.: мадьярское «орош», калмыцкое «орос», кавказское «урус») является крайним северозападным уголком великого азиатского мира, который можно сопоставить со «вселенной» (экумена, oikumêne Византийцев).

Русская земля выступает, однако, не самостоятельным членом этого мира; Великому хану она подчинена не прямо; Русская земля входит в царство Узбека — составляет часть Улуса Джучиева.

4

Из русских земель северо-восточная и юго-восточная Русь вошла на более продолжительное время в состав Улуса Джучиева. Другая половина Руси уже в середине XIV в. оказалась под властью Запада. Хотя русские земли, вошедшие в состав Польского, Литовского и Венгерского государств, во многом сохранили свои культурные начала, но культуру национально-государственную они утратили.

Основное русло исторического процесса развития русской государственности пролегло не в западной, охваченной латинством, Руси, а в восточной, захваченной монгольством.

Восточные русские земли тоже вошли в состав государства иноплеменного — монгольского. Однако это государство было — мировая империя, а не провинциальная держава.

Эта империя не мешала внутренней культурной жизни своих частей — в том числе и земли русской.

Империя эта вела борьбу со своими за

падными соседями — Литвой, Венгрией, Польшей, — а эти соседи были как раз и неприятелями народа русского. Монгольско-татарская волна поддержала на своем гребне оборону русского народа от латинского Запада. Когда Монгольская империя окончательно распалась, прежняя ее часть, Улус Джучиев, Золотая Орда, продолжала традиционную имперскую политику борьбы с Западом.

Как и Москва, Сарай (н) боролся с Литвою. Историческая роль Сарая в этом направлении была не меньше. Нападая на Литву, Сарай защищал этим русскую культуру даже тогда, когда политически уже враждовал с Москвою.

В 1380 г. на Куликовом поле Москва в первый раз открыто выступила против Сарая — и устояла. Устояла ли бы она в эти же годы против Литвы без монгольской помощи — далеко не известно. Сильный Литовский князь Витовт (о) расширял все больше на Восток свои владения. Большой вопрос, без вмешательства Сарая в борьбу, чем кончилось бы дело: укрепился ли бы центр русской государственности в православной Москве или в полуполяченной Вильне?

Сарай решил дело.

А в 1399 г. рать Витовта потерпела на реке Ворскле страшное поражение от Эдигея. После этого поражения Литва долго не могла оправиться; напор латинства на Восток был с тех пор подорван. Историческое значение битвы на Ворскле 1899 г. не меньше, чем битвы на Ворскле же с небольшим 300 лет спустя (Полтава — 1709 г.).

Битва на Ворскле 1399 г. — одно из величайших событий в русской истории, хотя в этой битве восточно-русские полки не участвовали вовсе, а западно-русские — участвовали на стороне Витовта.

Успехом Сарая исторически воспользовалась Москва.

5

Совместная историческая жизнь русской земли и Улуса Джучиева в течение двух столетий имеет громадный исторический интерес и большое историческое значение.

Монгольская империя распалась на несколько держав. Большая часть из них совершенно слилась с теми старыми государствами, в рамках которых возникли монгольские новообразования. В историю этих государств монгольский элемент вошел просто в виде определенной династии. Такой характер имеет период монгольской династии Кубилая и его преемников в Китае (1260—1368) или период монгольской династии Хулагу и его преемников в Персии (1256—1334 гг.)[7].

Иная историческая судьба была суждена Джучиеву Улусу. Мы не видим полного слияния его с русской государственностью. Мы видим как бы два центра: Сарай и Москву. Первый центр имеет главное, основное значение в административно-государственной жизни всего царства Золотой Орды — но все же это не единственный центр. Исторически это, может быть, объясняется тем, что Золотая Орда явилась преемницею сразу двух государственных миров: степного (частью половецкого) и лесного (северно-русского).

В пределах первого — в южно-русских степях — оказался главный центр Золотой Орды, недаром государство Джучидов известно было на всем Востоке под именем «Кипчацкого царства»[8].

В пределах второго — в северно-русских лесах — возник дополнительный, русский, центр Улуса Джучиева — Владимир, потом Москва.

Теоретически мыслимо было течение дальнейшего процесса двумя руслами.

Или могло постепенно возрастать внутреннее значение северного, русского дополнительного центра — то есть Москвы, — до тех пор, пока этот дополнительный центр не стал бы сильнее прежнего, главного центра, — тогда уже был неизбежен разрыв, распадение на два центра. В действительности, как известно, так и произошло. Когда Сарай ослаб, а Москва усилилась, царство Джучидов разорвалось на две половины: Золотую Орду и великое княжение Московское.

Но мыслимо было обратное явление. Главный центр мог получить преобладающее значение и постепенно захватить и переработать все внутренние и внешние силы обоих половин Улуса Джучиева — татарской и русской. Золотая Орда могла стать если не прямо русским, то монголо-русским государством, как было монголо-китайское, монголо-персидское, а с другой стороны — литовско-русское.

Существенным для такого слияния в новых монгольских государствах был вопрос религиозный.

Культурное слияние было полным и решительным, когда правящая монгольская аристократия принимала веру большинства населения страны, куда внедрилась эта аристократия (буддизм — в Китае, мусульманство — в Персии)[9]. Иными словами, если бы монгольские ханы, потомки Джучи, приняли Православие, то, вероятно, не Москва, а Сарай оказался бы духовным и культурным центром русской земли.

В обычном сознании так прочно укоренились представления о чуть ли не исконном мусульманстве татар и монголов, что предположение о переходе в Православие ханов Золотой Орды покажется праздными и пустыми фантазиями. Однако фантазии эти несколько раз близки были к осуществлению. Мусульманство вовсе не было исконною верою монголо-татар[10].

Не кто иной, как сын Батыя Сартак, был, вероятно, или очень близок к Православию, или прямо в Православие перешел. О христианстве Сартака есть показание добросовестного арабского историка аль-Джаузджани, автора книги «Насировы таблицы». Аль-Джаузджани в 657 г. мусульманского летоисчисления (1258—1259 гг. от Р. Х.) видел в Дели приехавшего из Самарканда по торговым делам сеида Ашрафа-эд-дина. Сеид рассказывал историку следующее о Сартаке и его смерти[11]. Сартак, гонитель мусульман, наследовал своему отцу Батыю после смерти

его. Вступив на престол, Сартак должен был отправиться на поклонение великому хану Менке. На обратном пути Сартак проехал мимо орды дяди своего Берке и повернул в сторону, не повидавшись с ним. Берке послал спросить его о причине такого оскорбления. Сартак ответил: «Ты мусульманин, а я исповедаю христианскую веру; видеть лицо мусульманина есть несчастье». Берке заперся в своей палатке, положил веревку себе на шею и трое суток провел в плаче и молитве: «Боже, если вера Мухамеда согласна с истиною, отомсти за меня Сартаку». На четвертый день после этого Сартак умер[12].

Преемник Сартака, Берке, наоборот, официально принял мусульманство. Обращение Берке не означало, однако, окончательного обращения в мусульманство всей Орды. Один из следующих «ординских царей», Тохту (1291—1313 гг.), был ревностным почитателем шаманства и ламаизма. Преемник его Узбек, на сестре которого женат был московский князь Юрий Данилович (п), был очень расположен к Православию[13]. На Сарайских монетах, относящихся, по-видимому, ко времени Узбека, встречаются изображения двуглавого орла и, вероятно, Богородицы (женщины с младенцем). Узбек перешел, однако, в мусульманство. «Царь Озбяк обесерменился», — отмечают и наши летописи. Лишь с этого времени (начало XIV в.) положена была окончательная грань между Золотой Ордою и Русью. Впрочем, и сам Узбек, и его ближайшие преемники доброжелательно относились к русской церкви и давали «ярлыки» в обеспечение прав русских митрополитов и епископов, точно так же, как не ставили никаких препятствий переходу монголо-татар в Православие.

6

Два культурных центра Джучиева Улуса — Сарай и Москва — тесно связаны между собою в устройстве величайшей русской исторической культурной силы — Православной Церкви.

Вскоре после монгольского завоевания руководители русской Церкви поняли и осознали необходимость крепче связаться с новым государственным центром, Сараем. Русская церковь пережила время неустройства. Кафедрою митрополита с самого начала на Руси был Киев. После монгольского погрома 1240 г. Киев потерял значение и долго не мог оправиться.

Митрополиты стали подолгу жить в северо-восточной Руси, во Владимире на Клязьме, в конце XIII в. окончательно переселились во Владимир, а затем в Москву[14].

Митрополит не мог, однако, оставить без внимания главный центр Улуса Джучиева — Сарай. Каждый русский митрополит XIII—XIV вв. должен был часто ездить в Сарай и подолгу пребывать там. Понятна была мысль — устроить в Сарае нечто вроде постоянного своего представительства. Таким представительством была основанная в 1261 г. митрополитом Кириллом Сарайским епископская кафедра[15]. Со своей стороны и «царь татарский» требовал, чтобы в столицу его назначен был «большой поп». Сарайский епископ был как бы представителем митрополита всея Руси, подобно тому, как этот последний сам был на Руси как бы представителем Вселенского патриарха Царьградского.

Сарайский епископ служил посредником между митрополитом и монгольским ханом — с одной стороны, вселенским Царьградским императором и патриархом — с другой. К патриарху и к царю греческому в Царьград ездил Сарайский епископ с грамотами от царя ординского и от митрополита всея Руси.

Таким образом, если было два центра в Улусе Джучиевом — Сарай и Москва, — то эти же центры служили средоточиями и церковного устройства Руси.

С точки зрения государственно-административного механизма, главный центр был Сарай, дополнительный — Москва.

В церковном отношении было наоборот. Главный центр был — Москва, дополнительный — Сарай.

Но если бы оправдались выше высказанные предположения о переходе сарайских ханов в Православие — ясно, что быстрее переменились бы роли Москвы и Сарая и в церковном отношении. Митрополия всея Руси, утратив киевские корни, укрепилась бы окончательно не в Москве, а в Сарае.

Сохранились кое-какие исторические следы притязаний Сарайского епископа на значительную роль в русской церковной жизни. Сарайский епископ постоянно настаивал на расширении своей власти в сторону русских земель. В течение второй половины XIII и первой половины XIV века шли постоянные споры за пограничные приходы рязанской земли (по верховьям Дона) между владыками Сарайскими и Рязанскими. Митрополит Феогност решал спор в пользу Сарая, и с тех пор Сарайский владыка стал именоваться «Сарайским (позже Сарским) и Подонским», — даже когда спорные приходы отошли снова к Рязани. Один из Сарайских епископов, Измаил, питал какие-то замыслы против самого Московского митрополита, так что митрополит Московский Петр (р) (позже причисленный к лику святых) лишил Измаила сана и епархии (1312).

Притязания Сарайского владыки в действительности не осуществились.

Центр православной государственности в Москве, а не в Сарае.

Церковно-политическое значение Сарая падало вместе с падением силы Золотой Орды — и наконец пало окончательно. В середине XV в. Сарайский епископ Вассиан перенес свою кафедру в Москву, поселившись в Крутицах, которые уже с конца XIII в. служили подворьем сарайских епископов в Москве. Сарайский епископ превратился в епископа (затем митрополита) Крутицкого.

Крутицкий митрополит, викарий и правая рука Патриарха Московского и всея

Руси — представляет собою, таким образом, исторический пережиток глубокого значения.

Крутицкий митрополит, викарий Московского Патриарха, есть напоминание о неосуществившейся исторической возможности — патриархе Сарайском, для которого святитель Московский был бы, наоборот, викарием.

Крутицкий митрополит — глубокий символ монгольского влияния на развитие русской культуры.

1927 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Работа эта была опубликована через несколько лет. Она принадлежала перу известного ориенталиста Гаммера-Пургшталя (Geschichte der Goldenen Horde, 1840).

2. Здесь нужно отметить выдающуюся роль нашей духовной миссии в Пекине (о. Иакинф Бичурин в первой половине XIX в., о. Палладий Кафаров — во второй половине).

3. После смерти болгарского царя Ивана Асеня II (1241) Болгария признала власть монголов и в течение ряда лет платила дань ханам Золотой Орды. В Болгарии в 1242 г. Батый устраивал смотр своим войскам после Венгерского похода и Далматинского рейда. Позже Болгария находилась в зависимости от хана Ногая (узурпатора — правителя Орды на юге России); в 1292 г. и Сербия признала власть Ногая. Вполне возможно, что тырновские болгарские цари признавали верховную власть кипчацких ханов до самого турецкого завоевания.

4. Интересен, напр., поход ростовских и ярославских князей с царем Менгу-Тимуром в Дагестан на ясский град Дадаков (1277—1278).

5. Хотя между собою отдельные монгольские государи часто упорно враждовали, как, напр., персидский Хулагу и Джучид Берке.

6. В первой половине XIV века она разделилась на две половины.

7. То же значение имеет образование Татарского Казанского царства на месте государства волжских Болгар.

8. Кипчаки — половцы и киргизы.

9. Легко представить себе, какое решающее значение в русских исторических судьбах имело бы, если бы литовские князья прочно приняли Православие, а не латинство.

10. См. об этом в IV книжке «Временника» в моей статье о св. Александре Невском.

11. Сартак умер в 652 г. по мусульманскому летосчислению (1254—1255 гг. от Р. Х.).

12. По другому известию (Абуль-фараджа), Сартак посвящен был даже в диаконы.

13. Узбек женат был на византийской царевне, получившей имя Байлунь. Одновременно Узбек поддерживал хорошие отношения и с Римом.

14. Кафедра же еще долго считалась в Киеве.

15. Можно думать, что об учреждении Сарайской епархии хлопотал и вел. князь Александр Ярославич (Невский).

(«Евразийский временник», книга V, Париж, 1927).

НИКОЛАЙ ТРУБЕЦКОЙ

К УКРАИНСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

Петровская реформа составляет резкую грань между двумя эпохами истории русской культуры. С первого взгляда кажется, что при Петре произошел полный перерыв традиции и что культура послепетровской России не имеет ничего общего с допетровской, ничем с ней не связана. Но такие впечатления обычно бывают ошибочны: там, где с первого взгляда существуют такие резкие перерывы традиции в истории какого-нибудь народа, ближайшее рассмотрение большею частью обнаруживает призрачность этого перерыва и наличие с первого взгляда незаметных связей между двумя эпохами. Так обстоит дело и с отношением послепетровской культуры к допетровской. Как известно, историки русской культуры постоянно указывают на целый ряд явлений, связующих послепетровский период русской культуры с допетровским и позволяющих утверждать, что петровская реформа была подготовлена определенными течениями допетровской культуры. Если окинуть взглядом все эти указываемые историками связующие нити между допетровской и послепетровской культурой, то получается картина, которую можно описать так: о резком и полном перерыве традиции можно говорить только в том случае, если под «русской культурой» разуметь только ее великорусскую разновидность; в культуре же западнорусской (в частности, украинской) при Петре резкого перерыва традиции не произошло, а поскольку эта украинская культура и до Петра начала проникать в Москву, порождая там определенные сочувственные ей течения, можно считать, что культурная реформа Петра была подготовлена и в Великороссии.

В течение XV, XVI и первой половины XVII века культура Западной Руси и культура Руси Московской развивались настолько разными путями, что к половине XVII века различие между этими двумя культурами стало чрезвычайно глубоким. Но в то же время живое сознание общерусского единства и общности византийского культурного преемства не позволяли рассматривать обе культуры как вполне независимые друг от друга и заставляли смотреть на эти две разные редакции (разные индивидуации) одной и той же общерусской культуры. После присоединения Украины на очередь стал вопрос о слиянии обеих этих редакций русской культуры воедино. При этом, однако, вопрос ставился в форме довольно обидного как для великорусского, так и для малорусского[1] национального самолюбия: думали не столько о слиянии обеих редакций русской культуры, сколько об упразднении одной из них, как редакции «испорченной», и сохранении другой, как единственно «правильной» и подлинной. Украинцы считали московскую редакцию русской культуры испорченной благодаря безграмотности москвичей, попрекали москвичей отсутствием школ и кичились перед ними постановкой школьного дела. Москвичи же считали украинскую (вообще западнорусскую) редакцию русской культуры испорченной благодаря еретическому латинско-польскому влиянию. Может быть, благоразумные люди понимали, что в этом споре каждая из сторон была одновременно и права и не права, что великороссам надо было заводить школы, а украинцам — избавиться от многих черт, позаимствованных у поляков. Но благоразумных было мало, а большинство и с той и с другой стороны занимало непримиримую позицию. Поэтому практически вопрос сводился к тому — какую из двух редакций русской культуры следует целиком принять и какую целиком отвергнуть. Решать должно было правительство, то есть в конечном счете — царь. Правительство встало на сторону украинцев, что с точки зрения политической было совершенно правильно: неизбежное недовольство великороссов могло привести разве только к бунтам чисто местного характера, тогда как неудовольствие украинцев могло значительно затруднить и даже сделать невозможным настоящее воссоединение Украины. Но, вставши на сторону украинцев, московское правительство сделало в направлении признания «правильности» украинской редакции русской культуры только первые шаги. Правда, это были самые ответственные шаги — «исправление» богослужебных книг (то есть замена московской редакции этих книг редакцией украинской) и вся реформа Никона. В этой области была проведена полная унификация, причем великорусское было заменено украинским. Но в остальных областях культуры и жизни такой унификации до Петра проведено не было: в Украине царила чистая западнорусская редакция культуры без всякой великорусской примеси, в Великороссии — смесь московской культуры с западнорусской, причем в этом подмешивании западнорусских элементов к великорусской культуре одни представители высшего класса (тогдашние «западники») шли довольно далеко, другие же (тогдашние московские националисты), наоборот, старались соблюдать чистоту великорусской традиции.

Царь Петр поставил себе целью европеизировать русскую культуру. Ясно, что для выполнения этой задачи могла быть пригодна только западнорусская, украинская редакция русской культуры, уже впитавшая в себя некоторые элементы европейской культуры (в польской редакции этой последней) и проявлявшая тенденцию к дальнейшей эволюции в этом же направлении. Наоборот, великорусская редакция русской культуры благодаря своему подчеркнутому европофобству и тенденции к самодовлению была не только непригодна для целей Петра, но даже прямо мешала осуществлению этих целей. Поэтому Петр эту великорусскую редакцию русской культуры постарался совсем искоренить и изничтожить, и единственной редакцией русской культуры, служащей отправной точкой для дальнейшего развития, сделал украинскую редакцию.

Таким образом, старая великорусская, московская культура при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры. Это можно проследить по всем отраслям культуры. Возьмем, например, литературу. Литературным языком, применяемым и в изящной, в религиозной и в научной литературе как в Московской, так и в Западной Руси, был язык церковнославянский. Но редакция этого языка в Киеве и в Москве до XVII века была не совсем одинакова, как в отношении словарного состава, так и в отношении синтаксиса и стилистики. Уже при Никоне киевская редакция церковнославянского языка вытеснила московскую в богослужебных книгах. Позднее то же вытеснение московской редакции редакцией киевской наблюдается и в других видах литературы, так что тот церковнославянский язык, который послужил основанием для «славяно-российского» литературного языка петровской и послепетровской эпохи, является именно церковнославянский язык киевской редакции. В Московской Руси существовала богатая поэтическая (стихотворная) традиция, но традиция эта была преимущественно устная; писаных поэтических произведений до нас дошло немного, но по тем, которые дошли (напр. «Повесть о Горе-Злочастии»), мы можем составить себе отчетливое представление об особенностях этой поэтической традиции: язык ее был довольно чистый великорусский, с небольшой примесью церковнославянского элемента и украшенный некоторой традиционной поэтической условностью, стихосложение бы

но не силлабическое и не тоническое, а покоилось на тех же принципах, как стихосложение великорусской народной песни. Между тем в Западной Руси сложилась иная, чисто книжная поэтическая традиция, примыкающая к польской, и потому основанная на силлабическом стихосложении и на употреблении рифм. Писались эти «вирши» в Западной Руси как на том русско- (точнее, белорусско-) польском жаргоне, который в Западной Руси служил разговорным и деловым языком высших классов русского общества, так и на языке церковнославянском. В Великороссию такие западнорусские стихотворения (притом, разумеется, на церковнославянском, то есть общерусском литературном языке того времени) проникали уже и до Петра: популярны были, например, подобные стихотворения Симеона Полоцкого (с). Завелись в Москве даже и местные подражатели этому роду поэзии: назовем хотя бы известного Сильвестра Медведева (с). Со времен Петра русская поэзия старого великорусского типа окончательно ушла «в народ»; для высших (в культурном смысле) слоев общества отныне стала существовать только поэтическая традиция, ведущая свое начало от западнорусских силлабических вирш на церковнославянском языке. Прозаическая повествовательная литература существовала как в Московской, так и в Западной Руси, но в этой последней подавляющее польское влияние не позволяло развиться самостоятельному творчеству, так что повествовательная литература была почти всецело переводная; в Московской же Руси существовала и своя самостоятельная традиция прозаической повести, которая как раз в XVII веке стала особенно крепнуть и подавать надежды на успешное дальнейшее развитие (ср., напр., «Повесть о Савве Грудцыне»). В то же время в течение всего XVII века западнорусская переводная повесть широким потоком вливается в Московскую Русь. Русская повествовательная прозаическая литература послепетровского периода примыкает именно к этой западнорусской традиции переводных повестей: туземная московская традиция погибла, так и не успев вполне развиться. Ораторское искусство, по всей вероятности, существовало и в Московской Руси: стиль произведений протопопа Аввакума — определенно ораторский и, несмотря на свою кажущуюся безыскусственность, предполагает старую устную традицию проповедничества. Но эта традиция не имеет ничего общего с традицией схоластической риторики, насажденной в Западной Руси братскими школами и Могилянской академией. Москва познакомилась с этой украинской проповеднической традицией задолго до Петра. При Петре же знаменитые ораторы-украинцы Феофан Прокопович (т) и Стефан Яворский (т) окончательно закрепили эту традицию. Вся русская риторика послепетровского периода — как церковная, так и светская — восходит именно к этой украинской традиции, а не к традиции московской, которая так и погибла окончательно, не оставив о себе других свидетельств, кроме указаний, извлекаемых из произведений расколоучителей вроде Аввакума. Наконец, литература драматическая в допетровскую эпоху имелась только в Западной Руси. В Москве своей самостоятельной традиции драматической литературы не было: при дворе ставились, и то очень редко, драматические произведения украинских авторов (напр., Симеона Полоцкого). Русская драматическая литература послепетровского периода генетически связана именно с украинской школьной драмой. Таким образом, мы видим, что во всех своих отраслях послепетровская русская литература является прямым продолжением западнорусской, украинской литературной традиции.

Ту же картину мы наблюдаем и в других видах искусства — в области музыки, как вокальной (преимущественно церковной), так и инструментальной; в области живописи (где великорусская традиция продолжала жить только у старообрядцев, а вся послепетровская русская иконопись и портретопись восходит к традиции западнорусской) и в области церковной архитектуры (то есть того единственного вида архитектуры, в котором за «русским стилем» признавались известные права [2]. По это же примыкание к западнорусским традициям и отвержение московских традиций наблюдается не только в искусствах, но и во всех прочих сторонах духовной культуры послепетровской России. Отношение к религии и направление развития церковной и богословской мысли, естественно, должны были примкнуть именно к западнорусской традиции, раз западнорусская редакция русского богослужения еще при Никоне была признана единственно правильной, раз Могилянская академия стала общерусским рассадником высшего духовного просвещения и раз большинство русских иерархов долгое время были именно питомцами этой Академии. Западнорусской являлась и традиция послепетровской русской школы, методов духа и состава преподавания. Наконец, характерно, что и самый взгляд на старую великорусскую культуру, усвоенный в послепетровскую эпоху, был по происхождению своему западнорусский: о культуре допетровской Московской Руси было принято (да, можно сказать, и сейчас еще принято) высказывать те же суждения, которые в XVII веке высказывали «ученые»-украинцы...

2

Таким образом, на рубеже XVII и XVIII веков произошла украинизация великорусской духовной культуры. Различие между западнорусской и московской редакциями русской культуры было упразднено путем искоренения московской редакции, и русская культура стала едина.

Эта единая русская культура послепетровского периода была западнорусской, украинской по своему происхождению, но русская государственность была по своему происхождению великорусской, а потому и центр культуры должен был переместиться из Украины в Великороссию. В результате и получилось, что эта культура стала не специфически великорусской, не специфически украинской, а общерусской. Все дальнейшее развитие этой культуры в значительной мере определялось именно этим ее переходом от ограниченного, местного к всеобъемлющему, общенациональному. Западнорусская редакция русской культуры сложилась в эпоху, когда Украина была провинцией Польши, Польша же была в культурном отношении провинцией (притом глухой провинцией) романо-германской Европы; но со времени Петра эта западнорусская редакция русской культуры, став единой общерусской, тем самым сделалась для России столичной, Россия же сама к тому времени стала претендовать на то, чтобы быть одной из важнейших частей «Европы». Таким образом, украинская культура как бы переехала из захудалого уездного городка в столицу. Сообразно с этим ей пришлось существенно изменить свою дотоле сильно провинциальную внешность. Она стремится освободиться от всего специфически польского и заменить все это соответствующими элементами коренных, романо-германских культур (немецкой, французской и т. д.). Таким образом, украинизация оказывается мостом к европеизации. В то же время меняется языковая база культуры. Прежде в Западной Руси наряду с книжным литературным церковнославянским языком существовал особый русско-польский жаргон, служивший разговорным и деловым языком высших классов общества. Но после того, как украинская редакция русской культуры стала общерусской, этот русско-польский жаргон, символизировавший собой польское иго и провинциализм, разумеется, не мог продолжать существовать. Господствовавший в Великороссии, выработавшийся в среде московских приказных, великорусский разговорный деловой язык испытал на себе чрезвычайно сильное влияние этого русско-польского жаргона, — но в конце концов все-таки победил и вытеснил его и сделался единственным деловым и разговорным языком высших классов, притом не только Великороссии, но и Украины. Между этим языком и языком церковнославянским, продолжавшим играть роль литературного, завязались тесные отношения как бы некоего осмоса (взаимопросачивания): русский разговорный язык высших классов сильно «оцерковнославянился», литературный церковнославянский язык сильно «обрусел», и в результате оба совпали в одном современном, русском языке, который одновременно является и литературным, и разговорно-деловым языком всех образованных русских, т. е. языковой базой русской культуры.

Таким образом, культурная украинизация Великороссии и превращение украинской культуры в культуру общерусскую совершенно естественно привели к тому, что эта культура утратила свой специфически украинский провинциальный характер. Специфически же великорусского характера она приобрести не могла уже в силу того, что, как сказано выше, преемственность специфически великорусской культурной традиции была окончательно и бесповоротно пресечена, и сохранялась разве только преемственность канцелярского языка московских приказных. Отсюда — отвлеченно-общерусский характер всей послепетровской «петербургской» культуры.

Но подчеркивание отвлеченно-общерусского вело практически к отвержению конкретно-русского, т. е. к национальному самоотрицанию. А такое самоотрицание, естественно, должно было вызвать против себя реакцию здорового национального чувства.

Положение, при котором во имя величия России практически преследовалось и искоренялось все самобытно русское, — это положение было слишком нелепым, чтобы не породить против себя протеста. Неудивительно поэтому, что в русском обществе появились течения, направленные к утверждению самобытности и выявлению русского национального лица. Но, поскольку эти течения направлены были именно против отвлеченности общерусской культуры и стремились заменить ее конкретностью, они неминуемо должны были принять определенно областнический характер: при всякой попытке придать русской культуре более конкретно-национальное обличие неизбежно приходилось выбирать одну из индивидуаций русского народа — великорусскую, малорусскую или белорусскую, ибо конкретно существуют великороссы, малороссы и белорусы, а «общеруссы» являются лишь продуктом абстракции. И действительно, мы видим, что течения в пользу конкретно-национальной русской культуры протекают параллельно в двух руслах — великорусском и малорусском [3]. Замечателен именно строгий параллелизм этих двух русл. Параллелизм этот приходится наблюдать во всех проявлениях упомянутого течения. Так, в области литературы мы видим, начиная с конца XVIII века, целый ряд произведений нарочито простонародных по языку и по стилю; произведения эти образуют две строго параллельные линии эволюции — великорусскую и малорусскую; в обеих наблюдается сначала пародийно-юмористическое направление (в великорусской — «Богатырь Елисей» В. Майкова (у), в малорусской — «Энеида» Котляревского (у), которое затем сменяется романтически-сентиментальным направлением с упором на народнопесенную стилистику (кульминационный пункт в великорусской — Кольцов, в малорусской — Шевченко), а это направление, в свою очередь, в половине XIX века переходит в направление «гражданской скорби» (явившегося своеобразным русским вырождением европейской «мировой скорби») и обличительства. Романтическая идеализация допетровской старины, нашедшая себе выражение и в литературе, и в историографии, и в археологии, и порожденная тоже тою же потребностью к конкретно-национальному,

выступает тоже одновременно и параллельно все в тех же двух главных руслах, великорусском и украинском. То же следует сказать и о народничестве, и о разных видах «хождения в народ». Всякий народник (поскольку он устанавливал свое сознание на реальный, конкретный «народ») непременно становился до известной степени и «краевиком», и пламенным поборником определенных специфически великорусских или специфически украинских[4] простонародных черт или бытовых форм.

Таким образом, несмотря на то, что влечение к конкретно-национальному в санкт-петербургский период принимало формы областничества или установки на какую-нибудь одну определенную индивидуацию русского племени (великорусскую, украинскую и т. д.), — само это явление было общерусским. Ибо общерусскими были сами причины этого явления — отличительный для России послепетровского периода отрыв верхов русской культуры от конкретного народного фундамента и вызванные этим отрывом специфическая отчужденность между интеллигенцией и народом и тоска по воссоединению народа с интеллигенцией. А потому общерусской является и проблема реформы культуры, или построения нового здания культуры, в которой верхние этажи органически вырастали бы из народного фундамента. Проблема эта стоит и сейчас перед всеми частями русского племени, перед великоруссами так же, как перед украинцами и белоруссами.

3

В связи с проблемой реформы русской культуры в указанном выше направлении возникает вопрос: должна ли эта новая реформированная культура быть общерусской или же общерусская культура вовсе существовать не должна, а должны быть созданы новые реформированные культуры для каждой отдельной разновидности русского племени?

Вопрос этот с особой остротой ставится именно перед украинцами. Он сильно осложнен вмешательством политических факторов и соображений и обычно соединяется с вопросом о том, должна ли Украина быть совершенно самостоятельным государством, или полноправным членом русской федерации, или автономной частью России? Однако связь между политическим и культурным вопросом в данном случае вовсе необязательна. Мы знаем, что существует общенемецкая культура, несмотря на то, что все части немецкого племени не объединены в одном государстве, знаем, с другой стороны, что индусы имеют вполне самостоятельную культуру, несмотря на то, что давно лишены государственной независимости. Поэтому и вопрос об украинской и об общерусской культуре можно и должно рассматривать вне связи с вопросом о характере политических и государственно-правовых взаимоотношений между Украиной и Великороссией.

Мы видели выше, что общерусская культура послепетровского периода имела некоторые крупные недостатки, породившие влечение к ее реформе в конкретно-национальном направлении. Некоторые поборники украинского культурного сепаратизма стараются представить дело так, будто та культура, которая существовала в России до сих пор, была вовсе не общерусской, а только великорусской. Но это фактически неверно: мы уже видели выше, что началом создания общерусской культуры послепетровского периода послужила духовная украинизация Великороссии, что эта общерусская культура преемственно связана только с западнорусской, украинской культурой допетровского периода, а не со старой великорусской культурой, традиция которой оборвалась в конце XVII века. Нельзя отрицать и того совершенно очевидного факта, что не только в создании, но и в развитии этой общерусской культуры наряду с великоруссами принимали активное участие и украинцы, притом именно как таковые, не отбрасывая своей принадлежности к украинскому племени, а, наоборот, утверждая эту свою принадлежность: нельзя выкинуть из русской литературы Гоголя, из русской историографии — Костомарова, из русской филологии — Потебни и т. д. Словом, что русская культура послепетровского периода является общерусской и что для украинцев она не чужая, а своя,— этого отрицать невозможно. Таким образом, если эта культура воспринималась некоторыми украинцами как не вполне своя и если при сопоставлении ее с духовным и бытовым укладом украинского простонародья несоответствие между культурным верхом и народным фундаментом бросалось в глаза,— то это наблюдалось не только на Украине, но и в Великороссии и, следовательно, было вызвано не тем, что культура была якобы великорусской, а совсем иными причинами.

Каждая культура должна иметь, между прочим, две стороны: одну — обращенную к конкретному этнографическому народному фундаменту, другую — обращенную к вершинам духовной и умственной жизни. Для прочности и здоровья культуры необходимо, во-первых, чтобы между этими двумя сторонами существовала органическая связь, а во-вторых, чтобы каждая из этих сторон действительно отвечала своему назначению, то есть чтобы сторона, обращенная к народным корням, соответствовала индивидуальным чертам данного конкретного этнографического фундамента, а сторона, обращенная к духовным вершинам, по своему развитию соответствовала духовным потребностям избранных, выдающихся представителей нации.

В общерусской культуре послепетровского периода эти две стороны, или «этажи», культуры развиты были неодинаково. «Нижний» этаж[5], обращенный к народным корням, был очень мало приспособлен к конкретным чертам русского этнологического типа и потому плохо выполнял свое назначение: вследствие этого человек «из народа» мог приобщиться к культуре, только вполне (или в лучшем случае — почти вполне) обезличившись, подавив в себе и утратив некоторые существенные именно для «народа» черты. Наоборот, «верхний» этаж общерусской культуры, обращенный к высшей духовной и умственной жизни, развит был настолько, что, во всяком случае, вполне удовлетворял духовные потребности русской интеллигенции.

Представим себе теперь, что должно произойти, если всю эту общерусскую культуру на территории Украины заменить невоссозданной специально украинской культурой, не имеющей ничего общего с прежней общерусской. Населению Украины придется «оптировать» за ту или за другую культуру. Если новой украинской культуре удастся приспособить свой «нижний» этаж к конкретному этнографическому фундаменту,— то народные низы, разумеется, будут оптировать именно за эту новую украинскую культуру, ибо, как сказано выше, в прежней, общерусской культуре эта обращенная к народным корням сторона развита была очень плохо и к индивидуальным чертам народа совсем не была приспособлена. Но для того, чтобы за эту новую украинскую культуру оптировали не только народные низы, но и квалифицированные верхи (т. е. наиболее качественная интеллигенция), нужно, чтобы и «верхний» этаж этой культуры соответствовал высшим духовным запросам квалифицированной интеллигенции Украины еще в большей мере, чем соответствующая сторона прежней, общерусской культуры. В противном случае интеллигенция (притом именно качественная, квалифицированная, наиболее ценная с точки зрения культурного творчества интеллигенция) Украины в своем подавляющем большинстве будет оптировать за общерусскую культуру, а самостоятельная украинская культура, лишенная сотрудничества этой наиболее ценной части украинского народа, будет обречена на вырождение и смерть.

Беспристрастно взвешивая шансы, приходим к заключению, что насколько вероятно и правдоподобно, что новая украинская культура удовлетворительно разрешит задачу приспособления «нижнего» этажа культурного здания к народным корням, настолько же совершенно невероятно, чтобы эта культура сколько-нибудь удовлетворительно могла разрешить другую задачу,— создания нового «верхнего» этажа, способного удовлетворить высшим запросам интеллигенции в большей мере, чем соответствующий «верхний» этаж прежней, общерусской культуры. Успешно конкурировать с общерусской культурой в удовлетворении высших духовных запросов новая украинская культура не будет в состоянии. Прежде всего она не будет обладать той богатой культурной традицией, которой обладает общерусская культура: и примыкание к такой традиции и исхождение из нее значительно облегчает работу творцам высших духовных ценностей,— даже и том случае, когда дело идет о создании принципиально новых ценностей. Далее, для создания высших культурных ценностей громадное значение имеет качественный отбор творцов. Поэтому для успешного развития этой стороны культуры необходимо, чтобы объем того этнического целого, в котором данная культура развивается, был как можно больше: чем многочисленнее носители данной культуры, тем больше (при прочих равных условиях) будет и абсолютное число рождающихся среди этих носителей культуры талантливых людей, а чем больше талантливых людей, тем, во-первых, интенсивнее развитие «высшего» этажа культуры, а во-вторых, тем сильнее конкуренция; конкуренция же повышает самое качество культурного строительства. Таким образом, даже при прочих равных условиях «верхний» этаж единой культуры крупной этнологической единицы будет всегда качественно совершеннее и количественно богаче, чем у тех культур, которые могли бы выработать отдельные части той же этнологической единицы, работая каждая за себя, независимо от других частей. Каждый непредубежденный представитель данного этнологического целого не может не сознавать этого и потому, естественно, при полной свободе выбора будет «оптировать» за культуру этнологического целого (в нашем случае — за культуру общерусскую), а не за культуру части этого целого (в нашем случае за украинскую культуру). Оптировать за украинскую культуру может, следовательно, только либо человек, определенным образом предубежденный, или человек, свобода выбора которого стеснена. При этом все сказанное относится как к творцам высших культурных ценностей, так и к «потребителям», т. е. ценителям этих ценностей. По самому существу дела всякий творец высших культурных ценностей (если только он действительно талантлив и сознает свою силу) стремится к тому, чтобы продукты его творчества стали доступны и были оценены возможно большим числом настоящих ценителей; а каждый настоящий ценитель («потребитель») таких культурных ценностей высшего порядка, в свою очередь, стремится к тому, чтобы пользоваться продуктами творчества возможно большего числа творцов; значит — обе стороны заинтересованы в расширении, а не в сужении поля данной культуры. Ограничение этого поля может быть желательно только с одной стороны для бездарных или посредственных творцов, желающих охранить себя против конкуренции (настоящий талант конкуренции не боится), а с другой стороны — для узких и фанатичных краевых шовинистов, недоросших до чистого понимания высшей культуры ради нее самой и способных ценить тот или иной продукт культурного творчества лишь постольку, поскольку он включен в рамки данной краевой разновидности культуры. Такие люди и будут главным образом оптировать против общерусской культуры и за вполне самостоятельную украинскую культуру. Они сделаются главными адептами и руково-

дителями этой новой культуры и наложат на нее свою печать — печать мелкого провинциального тщеславия, торжествующей посредственности, трафаретности, мракобесия и, сверх того, дух постоянной подозрительности, вечного страха перед конкуренцией. Эти же люди, конечно, постараются всячески стеснить или вовсе упразднить самую возможность свободного выбора между общерусской и самостоятельно-украинской культурой: постараются запретить украинцам знание русского литературного языка, чтение русских книг, знакомство с русской культурой. Но и этого окажется недостаточно: придется еще внушить всему населению Украины острую и пламенную ненависть ко всему русскому и постоянно поддерживать эту ненависть всеми средствами школы, печати, литературы, искусства, хотя бы ценой лжи, клеветы, отказа от собственного исторического прошлого и попрания собственных национальных святынь. Ибо если украинцы не будут ненавидеть все русское, то всегда останется возможность оптирования в пользу общерусской культуры. Однако нетрудно понять, что украинская культура, создаваемая в только что описанной обстановке, будет из рук вон плоха. Она окажется не самоцелью, а лишь орудием политики, и притом плохой, злобно-шовинистической и задорно-крикливой политики. И главным двигателем этой культуры будут не настоящие творцы культурных ценностей, а маниакальные фанатики, политиканы, загипнотизированные навязчивыми идеями. Поэтому в этой культуре все — наука, литература, искусство, философия и т. д.— не будет самоценно, а будет тенденциозно. Это откроет широкую дорогу бездарностям, пожинающим дешевые лавры благодаря подчинению тенденциозному трафарету,— он зажмет рот настоящим талантам, не могущим ограничивать себя узкими шорами этих трафаретов. Но, главное, можно очень сомневаться в том, что эта культура будет действительно национальна. Полно воплощать в культурных ценностях дух национальной личности могут только настоящие таланты, работающие вовсе не для каких-то побочных политических целей, а лишь в силу иррационального внутреннего влечения. Таким талантам в описанной выше злобно-шовинистической обстановке не окажется места. Политиканам же нужно будет, главным образом, одно—как можно скорей создать свою украинскую культуру, все равно какую, только, чтобы не была похожа на русскую. Это неминуемо поведет к лихорадочной подражательной работе: чем создавать заново, не проще ли взять готовое из заграницы (только бы не из России), наскоро придумав для импортированных таким образом культурных ценностей украинские названия! И в результате созданная при таких условиях «украинская культура» не будет органическим выражением индивидуальной природы украинской национальной личности и мало чем будет отличаться от тех «культур», которые наспех создаются разными «молодыми народами»,— статистами Лиги Наций. В этой культуре демагогическое подчеркиванье некоторых отдельных, случайно выбранных и, в общем, малосущественных елементов простонародного быта будет сочетаться с практическим отрицанием самых глубинных основ этого быта, а механически перенятые и неуклюже применяемые «последние слова» европейской цивилизации будут жить бок о бок с признаками самой вопиющей провинциальной ветоши и культурной отсталости; и все это — при внутренней духовной пустоте, прикрываемой кичливым самовосхвалением, крикливой рекламой, громкими фразами о национальной культуре, самобытности и проч. ...Словом, это будет жалкий суррогат, не культура, а карикатура...

Таковы те неприглядные перспективы, которые ожидают украинскую культуру в том случае, если она пожелает заменить общерусскую, вытеснить общерусскую, вообще если она вступит на путь конкуренции с общерусской культурой. Положение, при котором каждому культурному украинцу придется решать, желает ли он быть русским или украинцем, это положение неизбежно повлечет за собой крайне невыгодный с точки зрения развития украинской культуры отбор культурных работников. Ставя вопрос об украинской и общерусской культурах в форме дилеммы («или — или»), украинцы обрекают свою будущую культуру на то незавидное состояние, которое мы обрисовали выше. Из этого следует, что такая постановка вопроса для украинцев, по существу, невыгодна. Во избежание выше обрисованного плачевного будущего украинская культура должна быть построена так, чтобы не конкурировать с общерусской, а дополнять собой общерусскую — другими словами, украинская культура должна стать индивидуацией культуры общерусской.

Выше мы уже указали на то, что «нижний», то есть обращенный к народному фундаменту, этаж культурного здания должен быть построен заново и что в этой постройке украинская культура вполне естественно может и должна проявить свою индивидуальность; с другой стороны, мы указали и на то, что в «верхнем» этаже культуры, включающем в себя высшие культурные ценности, украинской культуре невозможно конкурировать с общерусской. Таким образом, здесь намечается некоторое естественное разграничение сферы общерусской и украинской культуры. Разграничение это, конечно, еще не исчерпывается вышеизложенным, так как ведь, кроме упомянутых нами «нижнего» и «верхнего» этажей, культура должна иметь еще и этажи «средние», промежуточные. Но все же самый принцип разграничения этим указан.

4

Те же принципы и соображения должны быть положены в основу разграничения сфер общерусской и белорусской, великорусской и т. д. областных культур. Ведь, как сказано выше, неприлаженность «нижнего» етажа культурного здания к конкретному народному фундаменту была в послепетровской русской культуре явлением повсеместным. В будущем исправить этот недостаток, согласовать с конкретной национальной индивидуальностью русского народа ту сторону русской культуры, которая обращена к народным корням, другими словами — плотнее пригнать культуру к народу и тем обеспечить постоянное участие «людей из народа» в культурном строительстве. При этом естественно, что поскольку культура в упомянутой своей стороне будет приспособляться к конкретным индивидуальным чертам русского народа, вся ета работа должна быть сильно дифференцирована по отдельным краевым и племенным районам: ведь «русский народ вообще» есть абстракция, конкретно же существует великорус (со своими разновидностями — северный великорус, южный великорус, помор, волгарь, сибиряк, казак и т. д.), белорус, малоросс-украинец (тоже со своими разновидностями), и приспособляться «нижний» этаж культуры в каждом данном краю должен именно к данной конкретной индивидуальной разновидности русского народа (к данной краевой индивидуации русской национальной личности). Благодаря етому русская культура в будущем должна внешне сильно дифференцироваться по отдельным краям и областям, и вместо прежней отвлеченной мундирно-безличной однородности должна появиться радуга ярко выраженных местных оттенков.

Однако величайшей ошибкой было бы видеть в развитии этих местных разновидностей единственную или главную цель культурной работы. Не следует забывать, что, кроме стороны, обращенной к народным корням, у всякой культуры должна быть и другая сторона,— обращенная к духовным вершинам. И горе той культуре, в которой эта сторона развита недостаточно, вследствие чего культурные верхи нации вынуждены удовлетворять свои высшие духовные потребности ценностями не своей родной, а иноземной культуры! Поэтому одновременно с разработкой и развитием тех сторон культуры, которые обращены к народным корням, должна идти интенсивная работа в области «верхних» культурных ценностей. И если работа над «нижним» етажом здания русской культуры, как указано выше, по самой природе своей требует дифференциации применительно к отдельным русским племенам и краям, то, наоборот, работа над «верхним» этажом русской культуры — опять-таки по самой своей природе — требует сотрудничества всех русских племен. Насколько в области работы над «нижним» етажом краевые перегородки естественны и необходимы для достижения максимальной пригнанности культуры к конкретному этнографическому фундаменту,— настолько в работе над «верхним» этажом эти перегородки искусственны, излишни и вредны. Самое существо этой стороны культуры требует максимальной широты диапазона, и всякое ограничение етого диапазона рамками краевых перегородок будет ощущаться как ненужная помеха и творцами культурных ценностей, и потребителями етих ценностей. Воздвижения краевых перегородок в этой области культуры могут желать только посредственные, боящиеся конкуренции творцы, да маниакально-фанатичные краевые шовинисты. Но если в угоду таким посредственным творцам и недоразвитым ценителям культурных ценностей краевые перегородки будут утверждены не только в «нижнем», но и в «верхнем» этаже культурного здания, — то в отдельных частях страны создастся такая удушливая атмосфера провинциального застоя и торжествующей второстепенности, что все действительно одаренные и духовно возросшие люди будут бежать из провинции в столицу, а на местах в конце концов не окажется и тех культурных работников, которые необходимы для вышеупомянутой работы в «нижних» этажах культурного здания.

Итак, краевая и племенная дифференциация русской культуры отнюдь не должна доходить до самого верха культурного здания, до ценностей высшего порядка. В «верхнем» этаже будущей русской культуры племенных и краевых перегородок быть не должно; этим он будет отличаться от «нижнего» этажа, в котором племенные и краевые перегородки должны быть сильно развиты и отчетливо выражены. Резкой грани между этими двумя «этажами», конечно, быть не должно, один должен постепенно и незаметно переходить в другой,— иначе культура не будет единой системой, то есть не будет культурой в истинном смысле слова. Поэтому и краевые перегородки, ярко выраженные в нижней части культурного здания, будут постепенно стушевываться, чем выше и чем дальше от народного фундамента, а на самой вершине культурного здания этих перегородок и вовсе заметно не будет. Важно, чтобы между вершиной и низом культурного здания существовало постоянно взаимодействие,— чтобы вновь создаваемые ценности верхнего запаса определяли собой направление дифференцированного и индивидуализованного в краевом отношении творчества ценностей нижнего запаса, и наоборот, чтобы культурные творения краевых индивидуацией России, суммируясь друг с другом, нейтрализуя друг в друге специфически местные, частные черты, но подчеркивая общие, определяли собой дух культурной работы «верхнего» этажа. Этим требованием постоянного взаимодействия между «верхом» и «низом» культурного здания должна определяться роль, форма и размеры краевых перегородок: эти перегородки должны обеспечивать правильную краевую индивидуализацию культуры, но отнюдь не должны мешать взаимодействию верха и низа культурного здания. Ясно, что точно регламентировать все ето невозможно: в каком-нибудь одном частном вопросе данная краевая перегородка будет выше, в другом — ниже; важно только, чтобы смысл

этих перегородок понимался правильно и чтобы их не превращали в самоцель.

Для того чтобы русская культура, несмотря на краевую и племенную дифференциацию в нижней своей части, все же была единой системой, необходимо одно главное условие: в основе как единого «верхнего» этажа, так и всех краевых вариантов «нижнего» этажа здания русской культуры должен быть положен один и тот же организующий принцип. Таким принципом, одинаково родным для каждой племенной индивидуации русского народа, заложенным в глубине народной души и в то же время способным стать основой и для ценностей верхнего запаса, рассчитанных на квалифицированных носителей высшей общерусской культуры,— является Православная Вера. Некогда именно этот принцип был жизненным нервом всей русской культуры, и именно благодаря ему западнорусская и московская индивидуации русской культуры оказались способными вновь воссоединиться. Позднее характерное для послепетровского периода слепое увлечение секуляризованной, обезбоженной и безбожной, антихристианской европейской культурой [6] в значительной мере подорвало и разрушило в культурных верхах русской нации этот завещанный от предков устой русской жизни, не заменив его ничем; поскольку умонастроение этой отвергнувшей православные устои интеллигенции проникло в народные массы, оно породило в этих массах полное духовное опустошение. Но лучшие представители как простого народа, так и интеллигенции болезненно ощущали эту духовную пустоту, и потому религиозные искания, часто принимающие самые парадоксальные формы, являются характерной чертой жизни русского народа и интеллигенции всего послепетровского периода. Эти религиозные искания не могли найти себе удовлетворения, пока русская культура была, по существу, внерелигиозна, а Церковь, поставленная государством в подчиненное положение, стояла вне культуры (во всяком случае, вне основного русла высшей общерусской культуры). Поэтому религиозные искатели шли вразброд, и только случайно некоторые из них в своих исканиях «открывали» Православие. После переживаемой ныне эпохи владычества коммунизма, когда духовная опустошенность безрелигиозной (а потому и антирелигиозной) культуры предстала в своем обнаженном виде и дошла до кульминационной точки, несомненно должна (уповая на помощь Господню) наступить решительная реакция. Будущая русская культура должна стать в идеале оцерковленной сверху донизу. Православие должно проникнуть не только в народный быт, но и во все части здания русской культуры, вплоть до высших вершин этого здания. Только тогда каждый отдельный русский человек будет находить в русской культуре полное успокоение и удовлетворение для всех самых глубинных потребностей своего духа, и только тогда русская культура будет сверху донизу единой системой, несмотря на внешнюю свою краевую и племенную дифференцированность.

5

В настоящее время мы присутствуем при увлечении краевой дифференциацией русской культуры. В частности, на Украине преобладают прямо-таки стремления к полному культурному сепаратизму. В значительной мере объясняется это политикой советской власти, потворствующей культурному сепаратизму для того, чтобы етим обезоружить сепаратизм политический, далее — устранением большинства наиболее квалифицированной интеллигенции Украины от решающей роли в культурной работе и, с другой стороны, наплывом галицийской интеллигенции, национальное самосознание которой совершенно изуродовано как многовековым приобщением к духу католицизма, так и польским рабством и той атмосферой провинциально-сепаратистской национальной (точнее — языковой) борьбы, которая всегда была так характерна для прежней Австро-Венгрии. Что касается населения Украины, то известные слои этого населения сочувствуют не столько тем конкретным формам, которые принимает украинизация, сколько тому, что ето движение с виду направлено к отделению от Москвы — от Москвы коммунистической: таким образом, культурный сепаратизм на Украине питается антикоммунистическими («мелкобуржуазными» по советской терминологии) настроениями известных кругов населения; настроения же эти сами по себе вовсе не связаны логически с культурным сепаратизмом и, например, при старом режиме служили как раз наоборот — опорой централизма. Ко всему этому присоединяется и то обстоятельство, что творчество в «верхнем» этаже культуры, в котором общерусское единство сильнее всего может и должно проявляться, сейчас затруднено и искусственно ограничено благодаря политическому господству коммунизма, который не дает другим создавать культурные ценности, а в то же время сам не способен создать высшие ценности, отвечающие сколько-нибудь развитым духовным потребностям. Но, главным образом, увлечение украинизацией объясняется, конечно, прелестью новизны и тем, что украиноманам, долгое время подавлявшимся и загнанным в подполье, вдруг предоставили полную свободу действия. Как бы то ни было, в этой области в настоящее время несомненно наблюдается много уродливого. Украинизация обращается в какую-то самоцель и порождает неэкономную и нецелесообразную растрату национальных сил. В будущем жизнь внесет, разумеется, свои поправки и очистит украинское движение от того элемента карикатурности, который внесли в это движение маниакальные фанатики культурного сепаратизма. Многое из того, что создано и создается этими ретивыми националистами, обречено на гибель и забвение. Но самая правомерность создания особой украинской культуры, не совпадающей с великорусской, уже не подлежит отрицанию, а правильное развитие национального самосознания укажет будущим творцам етой культуры как ее естественные пределы, так и ее истинную сущность и истинную задачу,— быть особой украинской индивидуацией общерусской культуры. Только тогда культурная работа на Украине приобретет такой характер, при котором в ней получат возможность принять участие (притом не за страх, а за совесть) действительно лучшие элементы украинского народа.

Это случится тогда, когда в основу народной жизни Украины (а также и других областей России-Евразии) будет полагаться не потворство эгоистическим инстинктам и голому самоутверждению биологической особи, а примат культуры и как личное, так и национальное самопознание. К борьбе за эти идеалы евразийство и призывает всех русских, как великорусов, так и белорусов и украинцев.

1927

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Говорим «малорусский», «украинский», хотя во всех этих случаях правильнее было бы говорить «западнорусский»; в названную эпоху в верхних (в культурном отношении) слоях западнорусского общества различия между малороссами и белорусами не делалось.

2. О западнорусской традиции в русском зодчестве, живописи и ваянии послепетровского периода ср. замечания П. Н. Савицкого в статье «Великороссия и Украина в русской культуре» («Родное слово», 1926, № 8).

3. Белорусское русло тоже всегда существовало, но всегда было развито слабее.

4. Для краткости мы всюду говорили только о двух наиболее крупных частях русского племени или территории. Но аналогичные явления возникали (хотя и с меньшей интенсивностью) и в других, более дробных частях — в Белоруссии, а разных казачьих областях, а Сибири и т. д.

5. Во избежание недоразумений спешим оговориться, что в выражения «верхний» и «нижний» этаж мы не вкладываем никакого элемента оценки. Мы не только не хотим решать здесь вопрос о том, который из этих этажей «ценнее», но просто отрицаем даже самую правомерность постановки такого вопроса. Образы «верхнего» и «нижнего» этажей здесь изображают не разные степени совершенства или ценности культуры, а лишь две разные функции культуры, ценность же и совершенство зависит не от этих функций, а от одаренности творца, совершенно независимо от того, работает ли он в «верхнем» или в «нижнем» этаже. Поэзия Кольцова эстетически гораздо ценнее, чем поэзия Бенедиктова: вместе с тем Кольцов был в «нижнем», а Бенедиктов — в «верхнем» этаже культуры...

6. Христианской в своем целом эта европейская культура была (или, по крайней мере, хотела быть) лишь в средние века; со времени так называемого «возрождения» она стала противопоставлять себя христианству, и именно эта ее форма, противопоставленная Церкви, а в конце концов и всякой религии вообще, и усваивалась европеизированной Россией после Петра.

(Статья напечатана в сборнике «Евразийский временник», книга V, Париж, 1927.)

●

ПРИМЕЧАНИЯ СОСТАВИТЕЛЯ

а) КЮСТИН АСТОЛЬФ ДЕ (1790 — 1857) — маркиз, французский литератор, по приглашению императора Николая I посетил Россию, после чего опубликовал книгу «Россия в 1839», содержавшую резкие нападки на самодержавие.

б) БИРГЕР (ум. 1266) — регент Швеции, известный политический деятель и полководец, сражался с Русью и потерпел поражение от Александра Невского.

б) ИЛАРИОН — древнерусский писатель, первый киевский митрополит из русских с 1051 года. Автор «Слова о законе и благодати», ставшего духовным и патриотическим манифестом Руси того времени.

б) НИКОН ВЕЛИКИЙ (ум. 1088) — древнерусский писатель, игумен Киево-Печерского монастыря с 1074 года. Считается автором летописного свода 1073 года, одного из источников «Повести временных лет».

в) ОРХОН — река в Монголии, приток Селенги.

г) ГАЛИЦКИЙ ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ (1201—1264) — южнорусский князь, старший сын Романа Мстиславовича, удельного Волжского и Галицкого князя, правнука Владимира Мономаха. Видный государственный деятель Западной Украины, полководец, основатель Львова, дипломат. В политической деятельности придерживался прозападной ориентации.

д) БЕРКЕ-АГУЛЬ — хан Золотой Орды, сын Джучи хана, первый из монголов принял ислам и провел на Руси поголовную перепись.

д) МЕНКЕ (1251 — 1264) — монгольский хан.

д) КУБИЛАЙ (1264 — 1295) — преемник Мёнке, внук Чингисхана и самый знаменитый после него монгольский император в династии Чингизидов. Завоевал Южный Китай, покровительствовал буддизму.

е) ВЕСПАСИАН (ум. 79) — крупный римский император, гонитель христиан.

е) СТЕПЕННАЯ КНИГА — известный памятник русской литературы, составленный в 1560—1563 году духовником царя Ивана IV Васильевича Андреем. Представляет собой систематическое изложение русской истории от Владимира I Святославовича до Ивана IV включительно, сделанное по материалам хронографов, родословных книг, летописей и разделенное на 17 граней (родословных степеней).

ж) ГУЮК (1246—1248) — внук Чингисхана, сын Огодая, третий монгольский император.

ж) ОГОДАЙ (Угэдэй) (1186 — 1241) — монгольский великий хан, третий сын Чингисхана и его преемник.

з) СТУДИТ ФЕОДОР (759—826) — византийский церковный деятель, настоятель Студийского монастыря в Константинополе, возглавлял борьбу с иконоборчеством. Оставил богословские сочинения.

и) ФРЕН ХРИСТИАН ДАНИЛОВИЧ (1782 — 1851) — востоковед, арабист, монголовед, профессор Казанского университета, кру-

пный деятель Петербургской Академии наук, основатель Азиатского музея в России.

и) ШМИДТ ИСААК ЯКОВ (1779 — 1845) — крупный российский востоковед, исследователь «Гэсэриады».

и) КРУГ ИОГАНН ФИЛИП (1764 — 1844) — историк, востоковед и нумизмат, член Императорской Академии наук.

к) ТРАЯН (52 — 117) — римский император.

к) ВАСИЛИЙ II (976—1025) — византийский император, потомок Василия I, прозванный Болгаробойцем за сокрушение Болгарского царства и превращение его в Византийскую провинцию.

к) КАРЛ ВЕЛИКИЙ (742 — 814) — франкский король с 768 года, с 800 — император из династии Каролингов, завоеватель, основавший обширную империю.

л) БАЛДУИН I (ум. 1205) — граф Фландрский, избранный императором после взятия Константинополя крестоносцами.

м) ТИМУР (Тамерлан) (1336 — 1405) — великий полководец и государственный деятель Средней Азии, эмир с 1370-го Создал государство со столицей в Самарканде.

м) АБУСАИД — персидский царь первой половины XIV века.

м) УЗБЕК (ум. 1342) — хан Золотой Орды с 1313 по 1342 год. Ввел ислам в качестве государственной религии. В 1327 году подавил восстание в Твери.

н) САРАЙ (Сарай-Берке) — название столицы Золотой Орды у бывшего г. Царева на р. Ахтубе (XIV век).

о) ВИТОВТ (1350 — 1430) — великий князь Литвы (с 1392), крупный полководец и политический деятель. Трижды вторгался в Московское княжество. Один из организаторов разгрома немецких рыцарей в Грюнвальдской битве 1410 г.

п) ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ (кон. 70—нач. 80-х гг. XIII века — 1325) — князь Московский (с 1303). Боролся с Тверью за великое княжение, укрепил свою власть благодаря женитьбе на сестре хана Золотой Орды. Убит Дмитрием Тверским в Орде.

р) ПЕТР (ум. 1326) — русский митрополит с 1308 года, перевел свою кафедру из Владимира в Москву.

с) СИМЕОН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ПОЛОЦКИЙ (1629 — 1680) — крупный московский писатель XVII века, автор проекта организации Славяно-греко-латинской академии.

с) МЕДВЕДЕВ СИЛЬВЕСТР (1641—1691) — русский церковный деятель и писатель, основатель школы при Заиконоспасском монастыре.

т) ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (1681 — 1730) — один из ближайших сотрудников Петра I, идеолог Петровских реформ, ректор Киевской духовной академии, архиепископ Псковский и Новгородский, вице-президент Синода. Видный проповедник, стихотворец, автор богословских и политических трактатов.

т) ЯВОРСКИЙ СТЕФАН (1658 — 1722) — церковный деятель времен Петра I, возглавлял Московскую Славяно-греко-латинскую академию, писатель.

у) МАЙКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1728 — 1778) — русский поэт, автор ряда ирои-комических поэм.

у) КОТЛЯРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1769—1838) — украинский писатель, автор сатирической поэмы «Энеида».

Публикация и примечания
Сергея КЛЮЧНИКОВА.

СЕРГЕЙ КЛЮЧНИКОВ

РУССКИЙ УЗЕЛ ЕВРАЗИЙСТВА

К сегодняшнему дню опубликованы (хотя и фрагментарно) произведения большинства литературно-философских школ и направлений русского зарубежья. Между тем наиболее существенная историософская школа эмиграции — евразийство, — за исключением очень немногих разрозненных публикаций, практически выпала из рассмотрения. К тому же некоторые публикации (к ним мы вернемся позднее) по своему уровню способны лишь укреплять старые мифы, сложенные вокруг евразийства еще в тридцатые годы. Однако по серьезности исследования российской истории и государственности, по силе прозрения в грядущие пути отечества евразийская школа заметно выделяется среди других движений эмигрантской мысли. Единственное исключение, пожалуй, могла бы составить лишь группа мыслителей, собравшихся вокруг «Нового Града», но, строго говоря, это несомненно значительное объединение представляет собой не школу с целостной концепцией, а достаточно формальный и мировоззренчески расплывчатый союз ярких одиночек. Высочайший философский и научно-культурный потенциал евразийцев, сосредоточивших в своих рядах значительные интеллектуальные силы зарубежья, признавали даже их непримиримые противники.

К евразийской школе относилась целая плеяда ярких и талантливых литераторов, философов, историков, публицистов, экономистов первой волны эмиграции. Среди наиболее известных — географ П. Н. Савицкий, философ Л. П. Карсавин, лингвист, филолог и культуролог Н. С. Трубецкой, историк Г. В. Вернадский, музыковед и искусствовед П. П. Сувчинский, религиозные философы и публицисты — Г. В. Флоровский, В. Н. Ильин, Б. Н. Ширяев, критики и литературоведы А. В. Кожевников (Кожев), Д. П. Святополк-Мирский, правовед Н. Н. Алексеев, востоковед В. П. Никитин, писатель В. Н. Иванов, экономист Я. Д. Садовский.

Интересно, что евразийство реализовало провозглашенную в своем названии программную установку даже самим характером собственной географии, распространившись в целом ряде стран и Европейского и Азиатского континента. Оно имело несколько крупных центров — в Софии, Праге, Берлине, Белграде, Брюсселе, Харбине и Париже, активно и с успехом занимавшихся издательской и лекционной деятельностью. Глеб Струве свидетельствует, что «публичные лекции и собеседования, обслуживавшиеся целым штатом разъездных лекторов»[1], делали идеи нового направления весьма популярными среди эмигрантов в Чехословакии и на Балканах. В Праге и в Париже действовали «Евразийские семинары», на отдельные заседания которых собиралось до нескольких сот человек. Помимо распространения в славяноязычной и романо-германской среде, евразийские идеи проникали и в англосаксонский мир — в Англию (благодаря деятельности жившего там Святополка-Мирского) и в США (после переезда туда Вернадского).

Разнообразные таланты участников евразийства предопределили многогранную творческую направленность самого движения. Евразийство было не просто историософской школой, академически исследующей прошлое, но и геополитическим движением, претендующим на живое участие в обустройстве будущей России (хотя и отказывающимся считать себя политической партией), а также серьезным культурно-литературным явлением. Оно оказало определенное влияние на литературный процесс русского зарубежья и само в нем активно участвовало. За десять лет, с 1921 по 1931 год, евразийцы выпустили несколько крупных сборников статей из серии «Евразийские временники» и «Евразийские хроники». Они издавали также газету «Евразия» и журнал «Версты», где наряду с произведениями А. Ремизова, М. Цветаевой, Ю. Тынянова, А. Веселого, Б. Пастернака, Б. Пильняка, С. Есенина публиковали собственные литературно-критические статьи.

Но, конечно, главная ценность евразийства состояла не в обширности его географии или сферы интересов у основателей, а в его идеях, одновременно оригинальных и в то же время внутренне родственных глубинным традициям русской истории и государственности. Евразийцам была присуща особая пространственно-временная оптика, большое историческое зрение, позволившее свежим взглядом в привычных до боли чертах России разглядеть целый географический континент — материк с особой исторической судьбой — Евразию. Евразийство рассматривало русскую культуру не просто как часть европейской, но как совершенно самостоятельную культуру, вобравшую в себя опыт не только Запада, но и в равной мере Востока. Русский народ, с этой точки зрения, нельзя относить ни к европейцам, ни к азиатам, ибо он принадлежит к совершенно самобытной этнической общности — Евразия. Подобная оригинальность русской культуры и государственности (одновременное присутствие европейских и азиатских, прежде всего туранских, элементов[2]) определяет и особый исторический путь России, ее национально-государственную программу, не совпадающую с западноевропейской традицией. Причем азийские истоки для России внутренне ближе западных. Восточность ориентации России евразийцы прежде всего связывали с геополитической сферой, не распространяя ее на религиозную область, где они, как писал П. Н. Савицкий, оставались глубоко «православными людьми», для которых «Православная церковь есть тот светильник, который им светит»[3].

Российские поиски особого пути, «третьей правды», к тому же замешанные на антизападничестве и критической оценке демократии, никогда не были поддержаны положительным отношением интеллигенции и прессы. Трудная судьба евразийства и тогда, в эмиграции, и сегодня в сознании современных демократов не является в этом плане исключением, поскольку понятие «демократии» для леворадикально настроенной интеллигенции давно уже стало своего рода священной коровой, спокойный разговор о недостатках которой невозможен и неприличен. В зарубежье, несмотря на привлекающую многих самостоятельную позицию евразийцев в оценке будущего России (за что их называли «славянофилами эпохи футуризма»), негативные оценки движения все же преобладали. Память о свершившейся революционной трагедии была столь остра, что критикам порой было просто невозможно преодолеть доминирующую эмигрантскую тенденцию — подвергать немедленному остракизму любой намек на неоднозначную роль русской революции или противоречивый смысл европейского парламентаризма. Казалось бы, сейчас, когда былые страсти остыли, самое время для собственной пользы непредвзято и объективно рассмотреть все плюсы и минусы эмигрантских движений, где, как в зерне, скрыты многие тенденции сегодняшней эпохи. Наверное, боязнью проявить самостоятельную исследовательскую волю можно объяснить появление ряда скороспелых публикаций, где серьезный и неторопливый разговор о сути евразийства спешно подменяется темой «евразийского соблазна». Ярким примером, полным неточностей, предвзятостей, смысловых несостыковок и жизнерадостной готовности идти за старыми, сложенными вокруг евразийства мифами, является недавняя публикация в одном из самых серьезных и культурных журналов нашего времени — «Новом мире», — носящая название «Полюса евразийства» (1991, № 1).

Авторы публикации (отдадим должное, да и уровень журнала обязывает) показали превосходное знание евразийских архивов, но отобрали из них лишь бьющий по нервам сенсационный материал, проявив редкую непродуманность и небрежность в подборе публикуемых статей. В

КЛЮЧНИКОВ Сергей Юрьевич родился в 1956 г. в Кемеровской области, сотрудник ИМЛИ, участник IX Всесоюзного совещания молодых писателей.

[1] Струве Г. «Русская литература в изгнании». Париж, «Имка-Пресс», 1984, с. 46.

[2] К туранским, или уралоалтайским, народам, проживающим на территории России, Н. Трубецкой относил угро-финнов, тюрков, монголов и маньчжуров.

[3] Однако истовая личная православность евразийцев, созвучная духовному настрою монархической эмиграции, не мешала им искать в национально-государственной области третий путь для России — не красный и не белый, не восточный и не западный, а срединный, евразийский...

самом деле, в качестве работы, излагающей суть евразийства, приведена статья Л. П. Карсавина, написанная в «неевразийский» период, через пять лет после отхода этого мыслителя от движения, и весьма далекая от него по кругу затронутых проблем. В качестве работы, критикующей представленное в первой статье «соблазнительное» евразийское мировоззрение Карсавина, дана статья Г. В. Флоровского, на самом деле написанная на шесть (!) лет раньше карсавинской работы и в действительности полемизирующая с другой блестящей работой Льва Платоновича — «Феноменология революции». Но это лишь мелкие неточности, являющие собой яркий образец «европоцентристского соблазна» предвзятости и небрежного верхоглядства. Ни вводная статья, ни комментарии публикации не содержат ни малейшей попытки разобрать основной круг евразийских идей. Определив главное настроение, пронизывающее евразийство как антизападничество, то есть отрицательно, публикаторы говорят лишь часть правды, умалчивая о положительной сути течения. Впрочем, прозрачная оценка ориентации евразийства в данной публикации присутствует — для нее все это представляется реакцией на «злобу дня», «сочинением идеологических систем, чтобы ими вооружить новых людей, выброшенных на поверхность революционными событиями»[4]. Здесь публикаторы осознанно или неосознанно используют старинный миф, сложенный вокруг евразийства, суть которого в том, чтобы представить это движение скороспелой реакцией интеллигентского сознания на революционные события и смуту беженства. Внимание к Азии предстает, таким образом, как попытка философски обосновать азиатский лик России, якобы проступивший в событиях 1917 года и в последующем тоталитаризме. Между тем рассуждать подобным способом — значит слабо представлять себе прошлое нашей страны.

Хотя сами евразийцы видели своих непосредственных предшественников в лице славянофилов, Данилевского, Леонтьева и Достоевского (как мыслителя-публициста), они опирались на значительно более давнюю традицию. Внимательное ее изучение показывает, что евразийское движение — это не случайный зигзаг российской историософии, якобы рожденный от искр революционного пожара и усиленный эмигрантской неприкаянностью, но закономерный итог многовекового развития русской мысли.

Строго говоря, и собственно евразийство началось не в Софии и не в Берлине, а в России, и еще до революции. Этот «предевразийский» период движения был связан с научными поисками «старшего» поколения евразийцев — Г. Вернадского, Л. Карсавина, Н. Трубецкого. Младшее поколение (хотя разница в годах здесь была минимальная — 5—10 лет) — П. Савицкий, П. Сувчинский, Г. Флоровский — присоединилось уже в эмиграции. Вернадский, с юности тянувшийся к изучению роли степной Азии в судьбе нашего отечества, уже в 1914 году писал статьи, где образно сравнивал движение России к Востоку с движением против Солнца. Карсавин до своей высылки из СССР в 1922 году опубликовал отдельную книгу, само название «которой — «Запад, Восток и русская идея» — говорит о сути его тогдашних интересов. И хотя речь в ней идет в основном о богословско-религиозном аспекте проблемы Запад—Восток в ее отношении к национальной идее, а евразийские восточные приоритеты Карсавина, находящегося тогда под сильным влиянием В. Соловьева, еще не выкристаллизовались в полной мере, антизападничество занимает в настроениях мыслителя существенную роль: «Не в европеизации смысл нашего исторического существования и не европейский идеал преподносится нам как наше будущее»[5]. Уже тогда, не будучи лично знакомым с другими участниками евразийского движения, известный русский медиевист, сетуя на то, что подлинной «истории Востока у нас нет», утверждает, что важнейшая цель русской культуры «настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и решительного отказа от суррогата всеединства, именуемых идеалом прогресса». Серьезно размышлял о роли Востока в исторических судьбах и перспективах России и Трубецкой, внимательно изучавший восточные языки, мифологию и фольклористику и оттачивающий свое будущее евразийское мировоззрение на заседаниях лингвистического кружка при Московском университете, где помимо обсуждения языковых проблем говорилось о кризисе западной духовности и «необходимости сближения европейских и азиатских тенденций мировой истории»[6]. Когда в Софии, ставшей одним из первых центров эмиграции, встретились и «объединились на общем мироощущении» основные участники евразийства, этому объединению предшествовал серьезный путь личных исканий каждого. Революция, в которой молодые мыслители увидели закономерный итог 200-летней европеизации страны, и последующие тяготы беженства сыграли роль катализатора объединения, увидевшего ясные ориентиры спасения в «исходе к Востоку».

В своем идейном развитии евразийство прошло несколько этапов. В начале двадцатых годов это было, по выражению С. Хоружего, не столько «единое учение, сколько набор мыслей, религиозных и историософских у Трубецкого, географических — у Савицкого»[7]. Однако затем, во второй половине двадцатых годов, евразийская идеология усложняется и вбирает в себя достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, ее важной составляющей и философским фундаментом становится высокое метафизическое учение об иерархии «симфонических личностей», к высшим звеньям которой относится «идея Личного Бога» и Россия — Евразия, представляющая собой «соборность» наций. С другой стороны, движение приобретает все более политизированную окраску. Выражая естественную претензию любой серьезной теории увязать себя с практической жизнью, евразийцы попытались дать подробный анализ процессов, происходящих в современной им большевистской России. Разумеется, они не могли обойти тему событий 1917 года, к которым у них было сложное, неоднозначное отношение. Для евразийцев вообще было характерным разделение понятий революции как явления истории, большевизма как плода революции и коммунистической идеи как разрушительной революционной идеологии.

Согласно Карсавину, революция по своему содержанию и сути есть «длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его национально-государственной стихией и создание нового правящего слоя»[8]. Правящий слой не обязательно совпадает с правительством и может быть рассеян в разных государственных структурах, однако, имея власть над общественным мнением и волей различных социальных групп, он во многом задает и поддерживает удобный для себя тип власти. По характеру революция есть медленно назревающий стихийный взрыв, который прерывает плавное течение истории и как всякая стихия проявляется в виде волн. Первая волна несет с собой умирание старого правящего слоя, приведшее к потере жизненного импульса не только у «престижа российской власти», но и у самой власти в плане ее человеческого состава. Властная логика истории требовала обновления этого состава, что было невозможно сделать, не приведя в движение народные массы, т. е. не прибегая к трагическим революционным потрясениям. За первой волной или фазой неизбежно следует вторая — проявляющая себя как анархия. Ей присущи такие черты, как вытеснение сознательной жизни, распадение государственного единства, федерализм во всех сферах жизни, сопровождающийся крайним эгоизмом новых атомических социальных образований, каждое из которых не то чтобы не признает власть, но считает именно себя главным носителем таковой. Однако на фоне анархии, которую Карсавин определял как «панархию» и которая на сегодняшнем языке называется «парадом суверенитетов», идет подспудный поиск сильнодействующих средств самосохранения этнического и государственного целого страны. В России в силу ее исторических особенностей такие средства должны быть неизбежно сильнее, чем, скажем, во Франции конца XVIII века. Революция переходит в свою третью фазу, предполагающую создание жесткой тиранической партии, руководимой революционными идеологами — «насильниками, честолюбцами и фанатиками» (по терминологии Московской Руси XVI—XVII века «ворами»), придание этой партии абсолютистского правящего статуса и сращение ее с воссоздающимся государственным аппаратом. И наконец, после полного устранения остатков сопротивляющегося старого правящего слоя, слой вождей-люмпенов теряет свою роль. Четвертая волна затухающей революции по инерции выносит наверх новый правящий слой: «на место воров-идеологов приходят просто воры» (Карсавин), заботящиеся лишь о себе и в силу необходимости выполняющие государственно-настоятельные задачи. В этот момент возникает главная и завершающая проблема революции — народ должен найти подлинное правительство, которое в тесной связи с правящим слоем (перелившимся к этому времени в армию) взяло бы в свои руки слабеющую власть и, возобновив связь с прошлым, возвратило бы народ на его историческую дорогу. (Евразийцы, уверенные, что эта четвертая фаза революции начнется в России вот-вот, может быть, во второй половине двадцатых годов, здесь — и за это их справедливо критиковал предвидевший реальность и отошедший от движения Флоровский — ошиблись, причем более чем на полвека.)

Почему происходит вырождение правящего слоя? Евразийцы были убеждены, что революция 1917 года — не случайный зигзаг отечественной и мировой истории, но закономерный этап общего нисхождения русской исторической линии, порожденный болезнью западничества. До тех пор, пока Русь была близка к Востоку и воспринимала его благотворное влияние, состояние ее государственности было цветущим. Даже самый болезненный для Руси контакт с Азией — татаро-монгольское нашествие — в конечном счете, по мнению евразийцев, не только обогатило этнический состав народа, но и «вызвало народ из провинциализма исторического бытия мелких разрозненных племенных и городских княжеств... на широкую дорогу государственности» (5. Ширяев). Принцип веротерпимости, воспринятый Русью от татаро-монголов, лояльно относившихся к православию и впоследствии успешно примененный нашей державой к покоренным ею в XVI веке татарским ханом и добровольно присоединившимся народам иной веры, способствовал перерождению России из национального государства в наднациональное.

Напротив, некритическое увлечение Европой, охватившее наше отечество с XVIII века, постепенно превратило могучую державу в антинациональное и антинародное государство. Евразийцы даже выделили этапы последовательного духовного заболевания и разрушения России в результате прямого или косвенного влияния Запада: события Смуты, реформы Никона, самодержавное насилие Петра I и, наконец, революция 1917 года. Болезнь западничества поразила Россию глубже, чем это кажется на первый взгляд. Тлетворным ядом оказались поражены не только радикально-демократическая интеллигенция, почти безраздельно владевшая к началу века прессой и общественным мне-

[4] «Полюса евразийства». — «Новый мир», 1991, № 1, с. 181.

[5] Карсавин Л. П. «Запад, Восток и русская идея». Петроград, 1922, с. 52

[6] К юбилею Н. С. Трубецкого. «Вестник МГУ: филология», 1990, № 43, с. 4.

[7] Хоружий С. «Карсавин и де Местр». — «Вопросы философии», 1989, № 3, с. 82.

[8] Карсавин Л. П. «Феноменология революции». — «Евразийский временник», кн. V, Берлин, 1925, с. 41.

нием, но и реакционеры-охранители, ориентирующиеся, по мнению Трубецкого, на антинародную, по сути, беспочвенную идею и, вопреки провозглашаемой казенной самобытности, нацеленные на превращение России в могучее европейское государство.

Подобная болезнь разрушает не только политический строй и государственность, но и ведет к расслоению культуры. В таких нездоровых нациях, как предреволюционная Россия, считал Трубецкой, «культура верхов отличается от культуры низов не столько количественно (по степеням), сколько качественно: т. е. низы продолжают жить обломками культуры, некогда служившей нижней степенью, фундаментом туземной национальной культуры, а верхи живут верхними степенями другой, иноземной, романо-германской культуры; в промежутке между низами и верхами помещается слой людей без всякой культуры, отставших от низов и не приставших к верхам...» [9]. Естественно, что в государстве с такой расколотой на несколько частей политической волей и культурой в моменты исторических кризисов не может не возникнуть ситуация, когда, согласно известному изречению, верхи больше не могут управлять, а низы не хотят жить по-старому...

Именно потому за стихийным революционным взрывом, разрушавшим эту противоестественную ситуацию и дававшим возможность для широких масс участвовать в институтах новой государственности, евразийцы признавали определенную историческую правду. Но коммунистическую идею, основанную на замысле насильственным путем сделать культуру низов нормой жизни для всех слоев, они считали вредной, оторванной от органических основ народного бытия. Коммунизм, по их мнению, нельзя выводить, как это делали эмигранты левого лагеря, из российской азиатчины; напротив, вся коммунистическая система есть закономерное порождение европейской политической мысли, «реализация предельного социализма» (Сувчинский). В отличие от большинства мыслителей, объединившихся вокруг «Нового Града», евразийцы не считали возможным соединять христианство с социализмом.

В детище, родившемся от скрещения русской революции и коммунистической идеи, — отечественном большевизме евразийство выделяло два течения. Одно, связанное с троцкизмом, они определяли как «конденсированное западничество», самый далекий от народа и «наиболее одиозный вид коммунизма, который носит в себе русский большевизм». Другое течение, оказавшее национальное влияние на интернациональный коммунизм, «впитавший в себя много подлинно русских соков из взрыхленной им в процессе величайшей из революций русской почвы» [10], они связывали с фигурой Ленина. Сувчинский видел в «организованной му́ке» (К. Леонтьев) большевизма особый провиденциальный смысл для отечества: «Революция, изолировав большевистский континент и выведя Россию из всех международных отношений, — как-то приближает, помимо воли ее руководителей, русскую государственность (пока что скрытую под маской коммунистической власти) к отысканию своего самостоятельного историко-эмпирического задания и заставляет вдохновиться им» [11].

Добавим от себя, что евразийцы вплотную подошли к идее, что специфическое русское задание, нахождение которого ускоряет революционное распятие России, способно помочь не только ей, но и всему миру, поскольку жертвенный опыт «осуществления предельного социализма» на шестой части света есть сжатая по времени и жесткая по сути модель тупикового материалистического пути, по которому более медленно и мягко идет весь мир. Здесь, да и в оценке именно февраля (а не октября) 1917 года как решающего события, прервавшего живую нить русской государственности, евразийцы близки нашему современнику Солженицыну, убежденному, что в современной России, благодаря революции прошедшей несоизмеримо более богатый путь по сравнению с Западом, завязаны главные узлы мировой истории. В этих узлах сосредоточен бесценный жертвенный российский опыт, столь необходимый для прозрения всего мира и напоминающий о распятии, как единственном залоге последующего воздаяния и вознесения.

Можно представить себе, как воспринимала евразийские идеи и размышления не остывшая от обид и усталая от чужбины эмиграция. Резкой критике подвергли «чингисханчиков» П. Милюков, П. Струве, И. Ильин, Г. Адамович, Д. Мережковский, И. Бунин. В то же время за полемикой внимательно следила из России новая власть, которую интересовали, разумеется, не оттенки и тонкости в целом критического отношения евразийцев к революции и советскому режиму, а сама возможность разыграть на узком пространстве неоднозначного евразийского подхода свою политическую карту. ГПУ старалось не упускать ни единого шанса, чтобы внедриться в организации русского зарубежья и, контролируя их изнутри, попытаться расколоть эмиграцию. Так в истории движения начался новый сюжет, породивший затем в эмиграции миф о евразийстве как движении, работающем на всемогущее лубянское ведомство. Следуя этому мифу, некоторые эмигранты и западные исследователи видели в евразийстве «соблазн национал-социализма» (В. С. Варшавский. «Незамеченное поколение», Нью-Йорк, 1956), «просоветский уклон» (Г. П. Струве, «Русская литература в изгнании», Париж, 1984) и даже «просоветскую организацию» (Ален Бросса. «Групповой портрет с дамой» — главы из книги «Агенты Москвы», «Иностранная ли-

---

[9] Трубецкой Н. С. «Мы и другие. — «Евразийский временник», кн. IV, Берлин, 1925, с. 77.

[10] Стрельцов Л. «Евразийская хроника», 1927, Париж, выпуск VII, с. 5.

[11] Сувчинский П. П. «К преодолению революции». — «Евразийский временник», кн. III, Берлин, 1923, с. 38.

тература», 1989, № 12). К сожалению, и авторы уже упомянутой публикации в серьезном «Новом мире» пошли по пути наименьшего сопротивления, с удовольствием, в духе сенсационных резоблачений «Огонька» вестернизировав эту трагическую страницу в судьбе евразийстве.

Ни мифотворцев, ни публикаторов, поставивших историю с ГПУ, по существу, на центральное место и с ее помощью пытающихся показать «явную нестойкость в отношении соблазнов утопизма, этатизма и антиперсонализма» [12] карсавинской версии метафизики всеединства (!), не смущает тот бесспорный факт, что в истории с чекистами были замешаны лишь второстепенные и даже третьестепенные, творчески несостоятельные фигуры движения, самой значительной из которых был муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, один из издателей газеты «Евразия» с 1928 по 1929 год. Главные фигуры и основоположники евразийства никакого отношения к этим контактам с ГПУ не имели и не знали о них. Об этом свидетельствует, например, непосредственная участница событий З. Шаховская, лично знакомая с многими из мыслителей. Видимо, чувствуя шаткость своих инвектив, публикаторы пытаются придать значительность собственным сенсационным разоблачениям тем, что цитируют намек-предположение анонимного эмигранта, будто Савицкий, убежденный, что «беспринципная чекистская армия сможет стать проводником евразийства» [13] при крушении в СССР марксизма, знал, но не пресекал тайные контакты своих сотрудников, надеясь переиграть ГПУ. Нелепость подобных анонимных домыслов, как и их цитирование, очевидны — благороднейший человек, Савицкий, дважды в жизни получавший тюремные сроки от советского НКВД и чешского КГБ, всегда относился к большевизму с бескомпромиссной непримиримостью. Об этом вполне определенно свидетельствуют и его статьи, и две вышедшие в 1937 году книги, которые посвящены волнующей мыслителя теме разрушения архитектурно-исторических памятников в СССР. «Во втором десятилетии своего существования, — писал Савицкий, — коммунистическая власть показала себя ожесточенным и не перед чем не останавливающимся разрушителем ценнейших памятников культуры» [14].

Что же в действительности происходило с евразийством в плане его взаимодействия с советскими спецслужбами, имевшими к тому времени огромную международную структуру и проникшими практически во все эмигрантские организации? С самого начала существования в евразийстве было два крыла — правое и левое, постепенно взявшее курс на теоретическое сближение с некоторыми советскими государственно-политическими идеями. Первое было представлено фигурами Трубецкого, Савицкого, Флоровского, Алексеева, в какой-то мере — Сувчинского, ко второму были ближе С. Эфрон, В. Трайл (В. Гучкова), К. Родзевич, П. Арапов, супруги Клепинины, В. Яновский, А. Перфильев, В. Кондратьев. Именно в эту группу, сосредоточенную в Париже, «Трест» внедрил несколько своих агентов. Потому Савицкий, даже совершив в 1927 году свою единственную тайную поездку в СССР на законспирированную подпольную конференцию «советского евразийства» (на самом деле организованную Лубянкой, чтобы продемонстрировать набирающую силу движению наличие в России серьезной евразийской оппозиции власти Кремля), как, впрочем, и другие его сотрудники, возившие на родину свою литературу на морских судах, и не подозревали, что за всем этим наблюдают внимательные глаза. Савицкий в 1967 году, встретившись с приехавшим в Прагу его другом по евразийской молодости Вернадским, поведал ему, что разгадал суть спектакля с конференцией уже после 1945 года в мордовском лагере. Лубянка даже частично закрывала глаза на то, что евразийские идеи получают в СССР некоторое распространение среди советской элиты (так, по свидетельству З. Шаховской, этим движением весьма интересовался Тухачевский). В удобный момент этим можно было воспользоваться для очередного громкого процесса и выявить иностранных шпионов, что и было сделано в 1933 году, причем наряду с «засвеченными» фигурами в сталинские жернова попали советские граждане, увлеченные евразийскими идеями и ранее не известные НКВД.

Почему Лубянке удавались подобные спектакли? Как ни странно, но прежде всего по причине необычайно высокого авторитета СССР среди кругов левой западной интеллигенции, невольно передававшегося и левым русским эмигрантам. Другой причиной успехов «операций по внедрению» была исключительная изощренность чекистов, блестяще спекулировавших на острой ностальгии у житейски наивных и во многом беспомощных русских интеллигентов. Исследовательница жизни и творчества М. Цветаевой И. Кудрова, воссоздавая перипетии жизненного пути Эфрона, получившего в 1931 году первый отказ на свое прошение о советском паспорте и решившего искупить прошлое чисто культурной работой в «Союзе возвращения», считает, что это была первая ступенька будущей западни:

«Вербовщики иностранного отдела НКВД вели свою работу с тонкостью профессиональных психологов. Одно из первых предложений Эфрону было сделано неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже. Он предложил помощь в субсидировании какого-нибудь «евразийского» издания — о, конечно, без всякого вмешательства в дело редакции... Постепенность, неторопливость в плетении и затягивании паутины, продуманный выбор «случайных собеседников» — кто сочинял все эти спектакли-ловушки, кто обучал лицедеев, кто разрабатывал режиссуру? Исторически несправедливо, что до сих пор остаются не-

---

[12] «Полюса евразийства». — «Новый мир», 1991, № 1, с. 182.

[13] Там же.

[14] Вернадский Г. «Савицкий» (некролог). — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1968, № [illegible], с. 275.

известными имена московских виртуозов, сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Эфрона, но и таких маститых волков политики, как Шульгин или Савинков»[15].

Справедливости ради следует отметить, что «одурманенность» все же отнюдь не была безоглядной. «Кламарский» кризис, происшедший в 1929 году, привел к расколу движения, в результате чего группа левых евразийцев, во главе с Эфроном издававшая газету «Евразия» (которая действительно отчасти финансировалась лубянским ведомством), была обвинена в восхвалении большевизма, в слишком больших симпатиях к революции, извращении сущности евразийства и отстранена от всех дел. Отошел от движения и Карсавин, активнее других принимавший участие в газете. Но к тому времени Эфрон по целому ряду прямых и косвенных свидетельств (от поэта А. Эйснера до руководителя оперативной группы НКВД Орлова) еще не встал на путь сознательного сотрудничества с адской машиной, не догадывался о том, куда ведут нити меценатов, и вносил «просоветский уклон» в «Евразию» не по расчету, а в силу своей искренней фанатичной увлеченности новой Россией.

В дальнейшем, после убийства советского невозвращенца Игнатия Рейсса в 1937 году, замешанные в этой истории Эфрон и несколько левых евразийцев вернулись в СССР, где через некоторое время были расстреляны. Та же участь постигпа и еще одного участника движения блестящего литературоведа, князя Святополка-Мирского, который в 1930 году неожиданно для многих стал членом британской коммунистической партии и через два года уехал в СССР. В данном случае виновны не столько советские спецслужбы, сколько полная непрактичность и розовый романтизм сына бывшего царского министра, коему в отличие от Эфрона в зарубежье ничего не грозило. Глеб Струве утверждает, что «для знавших его этот поступок представлялся продиктованным каким-то духовным озорством, желанием идти против эмигрантского течения и ничего хорошего для Мирского не сулившим»[16].

После кламарского раскола основатели евразийства и их честные последователи стремятся продолжить первоначапьную линию движения, выпускают сборник «Тридцатые годы». Влившаяся в движение молодежь попыталась взять курс вправо, пойдя на организационное сближение с младоросами и руководителем «объединения пореволюционных течений» Ю. А. Ширинским-Шихматовым, который и раньше сотрудничал с евразийцами в плане публикаций. В 1932 году учреждается Евразийская организация и публикуется принятая на ее съезде декларация, где утверждается православно-религиозная основа всякой практической деятельности движения, и излагается государственно-политическая программа. Некоторое снижение уровня последних евразийских сборников (за счет резкого обновления состава участников) евразийцы пытаются компенсировать повышением степени их политизированности и в какой-то момент, видимо, чтобы поддержать тонус объединения, были близки к тому, чтобы осознать себя политической партией. Однако здесь вступают в действие внутренние законы, определяющие жизнеспособность любого культурного и геопопитического объединения многими факторами, в том числе и тем, насколько соответствуют его конкретные исторические прогнозы действительности. Евразийцы в 1926—1927-х годах провозгпашали, что линия, выбранная правительством СССР, при всех своих ошибках ценой жертв кризисов и волевого преодоления трудностей выведет страну на путь оздоровления жизни, причем эффективнее и быстрее, нежели программа троцкистско-зиновьевской оппозиции или лелеемые в эмиграции реставрационные планы. Однако нэп, роль которого они оценивали очень высоко, был пресечен сверху, усиливался террор, и стала очевидной иллюзорность надежды на быстрое возрождение отечества. Некоторые мыслители (Г. Флоровский, В. Ильин) отошли от евразийства и сосредоточились на религиозно-богословских проблемах, другие заняпись самостоятельным культурно-философским творчеством. Движение утеряло внешний стимул к развитию и примерно в 1937 году как организация угасло, хотя отдельные его представители (прежде всего Вернадский и Савицкий) до конца своих дней творипи в евразийском кпюче.

Зинаида Шаховская утверждает: «Я считаю, что пришла пора очистить сущность евразийства от тех, кому НКВД поручил его скомпрометировать. Вернадский, Трубецкой, Карсавин, Савицкий были выдающимися учеными с мировым именем. Многие из их трудов могли бы принести пользу Советскому Союзу, который сейчас ищет новые пути. Концепция географического пространства между Европой и Азией с особой исторической судьбой заслуживает внимания современных геополитиков именно сегодня»[17].

---

[15] Кудрова И. «Версты, дали...». М., Изд-во «Советская Россия», 1991, с. 335.

[16] Струве Г. «Русская литература в изгнании», Париж, 1984, с. 75.

[17] Коваленко Ю. «Советские чекисты и русские эмигранты», «Известия», 1991, № 61, 13 марта.

Отечественный архив

«ДЕЛО» ИВАНА ПРИБЛУДНОГО

В первом номере журнала мы начали публикацию материалов уголовных дел 20--30-х годов ЧК—ОГПУ—НКВД, заведенных на людей, так или иначе связанных с именем Сергея Есенина (Ст. Куняев. «Растерзанные тени»).

Сегодня мы предлагаем читателям «дело» поэта Ивана Приблудного, хранившееся в архивах бывшего ОГПУ—НКВД. В документах не только ярко раскрывается характер расстрелянного поэта, но и механика работы этого учреждения в 20—30-е годы.

Иван Приблудный, друг и сподвижник Сергея Есенина, был весьма колоритной фигурой литературной Москвы. Первое стихотворение он напечатал в 1921 году в «Красной ниве». В 1926 году издал книгу стихов «Тополь на камне», а в 1931 году вышла в свет его вторая и последняя прижизненная книга «С добрым утром!»

Имя Ивана Приблудного напоминает нам имя другого поэта — булгаковского героя Ивана Бездомного. Ассоциация не случайная — современники Булгакова, слышавшие в авторском чтении главы из «Мастера и Маргариты», легко узнавали в плечистом, вихрастом молодом человеке известного им поэта — завсегдатая литературных салонов и кабаков. Ивана Приблудного нельзя назвать прямым прототипом Бездомного. Никогда он не писал атеистических поэм, не сидел в сумасшедшем доме. Но бездомность Ивана Приблудного была притчей во языцех в литературной Москве.

Не имея ни своего жилья, ни своего имущества, он скитался по квартирам друзей и знакомых, появлялся в различных богемных компаниях и в то же время был своим человеком в домах знаменитых артистов, запросто заходил в кабинеты членов правительства.

Шатио по миру скитаюсь,
непрописанный ночую,
у друзей млекопитаюсь,
у приятелей нечую,

Признает меня «Прожектор»,
«Новый мир» дает авансы;
но не в силах фининспектор
уяснить себе мой адрес.
. . . .
А — уставшему скитаться,
потерявшему отчизну, —
как же мне не спотыкаться
на пути н социализму.

Это горько-ироническое стихотворение Иван Приблудный написал в 1928 году.

Само собой разумеется, на такого человека не могли в один далеко не прекрасный день не обратить внимание «компетентные органы» ОГПУ.

Как, при каких обстоятельствах стал Приблудный секретным сотрудником ОГПУ, мы не знаем и, возможно, не узнаем. Была ли кампания «поголовного охвата», или уговорил его красноречивый собеседник под пьяную лавочку, или пригрозили страшными карами, что, пожалуй, сомнительно, так как был поэт человек хоть и легкомысленный, но не робкого десятка, — сказать трудно: мы ведь не знаем достоверной атмосферы тех лет. Но натура Ивана Приблудного такова, что он никаким сотрудником быть не мог, и в 1931 году возник конфликт. Пострадавшим, разумеется, оказался поэт...

Тексты всех документов публикуются с сохранением стиля и орфографии подлинника.

ДЕЛО № 110501/3949
по обвинению гр. Приблудного (Овчаренко) Ивана Петровича

Начато 22 мая 1931 года
Окончено 21 августа 1931 года.
Служебная записка. СПО ОГПУ
от 17 мая 1931 года.

4 отд. СПО ОГПУ просит принять временно задержанного Приблудного Ивана Петровича и числить его за 4 отд. СПО ОГПУ.

Нач. 4 отд. СПО ОГПУ Герасимова

ПРОТОКОЛ допроса гражданина Приблудного И. П.
от 17 мая 1931 года.

Я формально принял на себя обязательство быть сотрудником ОГПУ еще несколько лет тому назад, но фактически не работал и не хотел работать, потому что требования, которые я должен был бы выполнять в качестве такового сотрудника, нарушали планы моей личной жизни и литературного творчества. При вызове меня в ОГПУ 15 мая с. г. я попросил у товарища, вызвавшего меня, разрешения отлучиться в уборную. Получив такое разрешение, я зашел туда и на двери уборной написал следующее: «Ребята, позвоните в Замоскворечье 1-76-44 Наташе, скажите, что меня нет». Это должно было означать, что я арестован и чтобы она позаботилась обо мне. Несомненно, что любой из посетителей клуба ФОСП, прочитавший эту надпись, понял бы, что я арестован, или во всяком случае вызван в ОГПУ. Сознаюсь, что этим я нарушил обязательную для меня, как секретного сотрудника ОГПУ, конспирацию. По возвращении из ОГПУ в клуб ФОСП я встретил зав. клубом т. Киреева, который, как оказалось, знал уже о том, что я был вызван в ОГПУ, и спросил меня — почему, на что я ответил ему, что не знаю, почему, но что мне предложено на 17 мая 31 года к 11 ч. утра снова явиться в ОГПУ. Безусловно, я не имел права это говорить, т. к. этим я вторично нарушил конспирацию. О предложении мне явиться в ОГПУ 17 мая и о вызове меня 15 мая я говорил также и жене.

Записано с моих слов и мной прочитано
Приблудный
Допросил Шиваров

Прямо скажем, нечастый для того времени случай: секретный сотрудник ОГПУ «трезвонит» на каждом углу, рассказывая всякому встречному и поперечному о своей «работе». Думается, не только указанные в протоколе допроса лица были осведомлены о вербовке Приблудного. Видимо, Иван Приблудный давал согласие сотрудничать с ОГПУ по принципу «лишь бы отвязались». И уж совершенно из ряда вон выходящий факт — откровенное заявление поэта в ОГПУ, что он «фактически не работал и не хотел работать».

Конечно, подобное не могло сойти ему с рук. Мгновенно была изобретена версия о «члене ликвидированной антисоветской литературной группировки» — не хотелось, очевидно, работникам ОГПУ на первом этапе следствия оставлять в документах следы своего сокрушительного провала.

А далее все пошло по накатанной линии.

СПРАВКА
о Приблудном И. П.

Приблудный, он же Овчаренко Иван Петрович, г. р. 1905, из крестьян, с. Безглово (Безгиново. — С. В.) новоайдарской волости, б. Старобельского уезда, б. Харьковской губернии, литератор, связан с литературно-артистическими кругами, проходит, как член ликвидированной антисоветской литературной группировки. Определенного адреса не имеет. Постоянное место жительства — клуб ФОСП, по ул. Воровского, д. 53.

Уполномоченный 4 отд. СПО Шиваров.

ОРДЕР № 5853

Мая 19 дня 1931 года
выдан сотруднику оперативного отдела ОГПУ
Гущину
производство ареста Приблудный, он же Овчаренко, Иван Петрович
по адресу в камере ОГПУ

Зам. председателя ОГПУ Г. Ягода

ПРОТОКОЛ

На основании ордера № 5В53 от 19 мая месяца 1931 года произведен арест гр. Приблудный И. П. в комендатуре ОГПУ.

Согласно данным задержанный гр. Приблудный (он же Овчаренко) Иван Петрович.

Обыск производил комиссар Оперода Гущин.

АНКЕТА № 5853

для арестованных и задержанных с зачислением за ОГПУ

Фамилия	Приблудный-Овчаренко Иван Петрович
Гражданин какого государства	СССР
Национальность	Украинец
Место прописки	Губернии Б. Харьковской, уезд Старобельский, волость Новоайдарская, село Безгиново
Возраст	Родился в 1905 году декабрь
Отношение к воинской повинности —	Служил в Красной Армии
Воинское звание —	1919—1921 гг. кавалерист
Если освобожден, то на каком основании	По хронической болезни носоглотки
Образование	Неопределенное
Какую школу окончил	Много учился, но урывками. Прошел курс школы
Партийная принадлежность (в какой партии состоит, с какого времени)	б/п
Профессия	Поэт-журналист
Род занятий в момент ареста	Общественная нагрузка при клубе ФОСП
Социальное происхождение	Крестьянин
Бывшее сословие	То же самое
Бывшее имущественное положение	Никогда ничего не имел
Место жительства перед арестом	Москва (где попало)
Когда арестован	17 мая 1931. Сам пришел
19 мая 31 г.	Иван Приблудный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу № 110501/3949 о принятии к делопроизводству
1931 года мая месяца 30 дня

Я, уполномоченный 4 отд. СПО ОГПУ Кравцов А. М., рассмотрев поступившее ко мне 20 мея 1931 года дело о гр. Приблудном-Овчаренко Иване Петровиче, заключающееся в том, что примыкал к нелегальной антисоветской организации литераторов, и усматривая наличие признака преступления, предусмотренных ст. 58-10 УК, что согласно ст. 91 УПК является достаточным основанием к начатию предварительного следствия, постановил:

Приступить к производству предварительного следствия по сему делу, о чем сообщать старшему прокурору по надзору за органами ОГПУ.

Уполномоченный Кравцов
Согласен: нач. 4 отд. СПО Андреев
Утверждаю: зам. нач. СПО ОГПУ Запорожец

Арестованный Приблудный-Овчаренко И. П. содержится в Бутырской тюрьме ОГПУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения
по делу № 110501/3949 1931 года мая месяца дня 30

Я, уполномоченный 4 отд. СПО ОГПУ Кравцов А. М., допросив (рассмотрев) следственный материал на него, по коему Приблудный-Овчаренко И. П. достаточно изобличается в том, что разглашал сведения, не подлежащие оглашению, т. е. преступление, предусмотренное ст. 121 УК, руководствуясь ст. 128 УПК, постановил:

Привлечь гр. Приблудного-Овчаренко И. П. в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в вышеозначенном преступлении.

Уполномоченный Кравцов
Согласен: нач. 4 отд. СПО Андреев
Утверждаю: зам. нач. СПО ОГПУ Запорожец.

Обвинение мне объявлено 4 июня 1931 года

Иван Приблудный

На третьей неделе следствия испарилась версия о «контрреволюционной литературной группировке». Приблудный теперь должен был отвечать за «разглашение сведений, не подлежащих оглашению», то есть за рассказы в дружеских кругах о том, как его вербовали в стукачи.

Он нашел в себе силы проигнорировать свою «должность» и рассказать о ней. Появился, однако, доброхот, который в качестве «свидетеля» дал нужные ОГПУ сведения о провинившемся поэте.

ПРОТОКОЛ допроса Щепотева В. от 9 июля 1931 года.

Впервые мне пришлось услышать об Иване Приблудном в 1928 году. До моего знакомства с ним, т. е. до весны 1931 года, я слышал отзывы о нем, как о представителе богемы. Более близко я стал с ним сталкиваться с весны 1931 года. Слухи о том, что он является представителем богемы, подтвердились. Я лично никогда не наблюдал, чтобы он был чем-либо занят, кроме волейбола, а наоборот, его всегда можно было видеть на спортплощадке, где очень часто он вел игру не в спортивном интересе, а старался свести игру к выпивке. В личной жизни Приблудного я не замечал желания изменить свой образ жизни (пьянки и бродяжничество), как видно, все это его удовлетворяло. Примером может служить его песенка «Прощай, подруженька, ты девочка гулящая...» Встречался я с ним в клубе ФОСПа и при всех встречах можно было услышать от него политические анекдоты, или стихи, где высмеивались мероприятия сов. власти, причем иногда афишируя перед публикой. В круг знакомых Приблудного входили, встречаясь с ним в клубе, Асанов, Шапиро, Кудрявцев П., Васильев П., Елфимов И. Я., а также Забелин.

Записано с моих слов верно и мною прочитано В. Щепотев.

Допросил Кравцов

После получения подобной характеристики на Приблудного следователи вновь приступили к допросу. И получили ответ от поэта, который, думаю, поразил их своей непреклонностью.

ПРОТОКОЛ допроса гр. Приблудного И. П.

от 20 июля 1931 года

Я отказывался и уклонялся от работы в качестве негласного работника ОГПУ, потому что, по моему мнению, ОГПУ преувеличивает политическое значение отдельных поступков или высказываний тех или иных лиц, если эти поступки или высказывания политически нелояльны. Если бы я работал, то я бы чувствовал себя ответственным за то, что какое-либо сообщенное мною в ОГПУ заявление или поступок такого характера кого-либо из моих друзей или знакомых послужил бы причиной ареста или даже приговора над этим лицом. Между тем, как таковую ответственность я не могу взять на себя ни за какие блага, и никакие соображения о государственно-политической сообразности неофициальной работы ОГПУ не могут переубедить меня и заставить работать в ОГПУ.

Записано с моих слов и мною проверено и прочитано

Иван Приблудный.

Допросил Ник. Шиваров

На этом следствие было фактически завершено. Осталось лишь соблюсти последние формальности и вынести постановление о наказании отступника.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по делу № 110501/3949

1931 года июля 22 дня я, уполномоченный 4 отд. ОГПУ Шиваров Н. Х., рассмотрев дело № 110501/3949 в отношении гр. Приблудного-Овчаренко Ивана Петровича 1905 г. р. из крестьян, села Безгиново Новоайдарской волости Старобельского района УССР, по профессии лиератор, привлеченного в качестве обвиняемого по ст. 121 УПК, нашел:

Гр. Приблудный-Овчаренко И. П. состоял секретным сотрудником ВСО ОГПУ с 1925 года, но от работы систематически уклонялся. В мае 1931 года в связи с возникшей агентурной разработкой в отношении группы лиц, с которыми Приблудный-Овчаренко был близко связан, ему было предложено 4 отд. СПО взять на себя освещение упомянутой группы. Руководствуясь своим нежеланием работать, Приблудный-Овчаренко, будучи вызван негласно для инструктирования его, объявил о своем вызове в ОГПУ надписью на одной из дверей клуба Федерации объединенных советских писателей, а после инструктажа его, вернувшись в клуб, заявил расспрашивавшим его об его вызове в ОГПУ, о том, что ему предложено вновь явиться в ОГПУ в указанное ему время. И как этим своим заявлением, так и всем своим поведением расконспирировал себя, как секретного сотрудника ОГПУ. В расконспирации себя обвиняемый Приблудный-Овчаренко признался, и на следствии открыто

заявил, что он сознательно уклонялся от работы в качестве секретного сотрудника ОГПУ, мотивируя это тем, что ОГПУ преувеличивает политическое значение поступающих в его распоряжение агентурных данных о политически нелояльном поведении тех или иных лиц.

На основании изложенного полагал бы:

на основании постановления ВЦИК от 28 марта 1923 г. дело № 110501/3949 в отношении гр. Приблудного-Овчаренко Ивана Петровича поставить на рассмотрение Особого совещания при Коллегии ОГПУ и по вынесении приговора дело сдать в архив.

Уполномоченный 4 отд. СПО ОГПУ Шиваров

Согласен: нач. 4 отд. СПО ОГПУ Герасимова

Утверждаю: нач. СПО ОГПУ Агранов

СПРАВКА

Обвиняемый Приблудный-Овчаренко содержится в Бутырском изоляторе.

Уполномоченный 4 отд. СПО ОГПУ Шиваров

Выписка из протокола заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 23 августа 1931 года.

Слушали: дело № 110501 по обвинению гр. Приблудного-Овчаренко Ивана Петровича по 121 ст. УК.

Постановили: Приблудный-Овчаренко Ивана Петровича выслать в Астрахань сроком на три года, считая срок с 19 мая 1931 года.

Дело сдать в архив.

На второй месяц своего пребывания в Астрахани Иван Приблудный обратился с «прошениями» в адрес трех крупнейших чекистов — Агранова, Акулова и Фельдмана. Письмо, адресованное Агранову, в архиве разыскать не удалось. Причина этого может быть следующая: Агранов, бывший фактически первым лицом в ОГПУ—НКВД, очевидно, хранил свою переписку отдельно от других документов, как наиболее важную документацию. После его ликвидации она могла быть уничтожена.

Письма Акулову и Фельдману сохранились и также подшиты в «дело».

3 октября 1931 года.

Т. Акулов!

Читая мое дело, каждый бы сказал, что оно нуждается в пересмотре, но поскольку оно сдано уже в архив, и поскольку ОГПУ утверждает, что оно ошибаться не может, мне остается только просить пощадить меня. Т. Акулов! Вы некогда работали с В. Я. Гроссманом. Он меня знает в течение 10 лет. Если бы Вы были так добры и поговорили с ним обо мне. Сам я не хочу по той причине, что это будет протекционизмом. Я никогда не был врагом своей страны, но, к сожалению, я не успел еще доказать обратное. За это и за мой неясный для меня поступок, думаю, вполне достаточна та кара, 3,5 месяца Бутырки и 1,5 месяца изгнания. У меня в Москве сейчас жена и годовалый сын — им очень трудно без меня. Т. Акулов! Поговорите с Аграновым и Фельдманом. Они меня тоже знают давно. Умоляю вернуть меня в Москву. Со своей стороны обещаю быть честным гражданином, преданным солдатом и вообще полезным стране в ее подъеме. Я уже, право, достаточно наказан, настолько, что абсолютно не могу пока заниматься литературой. Очень прошу внять мне

Иван Приблудный

P. S. Вы, конечно, мне не напишете, но на всякий случай мой адрес такой: Астрахань, радиоцентр. Ивану Приблудному.

октября 1931 года. Астрахань

Т. Фельдман!

Я никуда не подавал жалобных прошений, не обращался ни в прокуратуру (Вашу же), ни в Красный Крест. Раз приговор надо мной — дело престижа и авторитета ОГПУ, я и обращаюсь непосредственно к ОГПУ и, в частности, к Вам, т. Фельдман, как одному из вождей его. Выручайте меня из Астрахани. Я, честное слово, достаточно уже наказан. Моя жена с годовалым сыном зверски нуждается во мне в Москве. Да я просто работать не могу от беспокойства за нее и сына! Верните меня в Москву. Вместе с этим письмом я посылаю также письма Акулову и Агранову. Быть может, вы трое встретитесь друг с другом в Лубянских катакомбах и поговорите обо мне. Со своей стороны даю слово доказать, что я верный сын своей страны. Всеми возможными для меня средствами докажу это: перестану пить, дурачиться и водиться с кем не следует. Клянусь в этом и умоляю поскорее вернуть меня в Москву. Вы же знаете меня до некоторой степени, и вы не настолько злы, чтобы продолжать мое наказание за проступок. Ответьте мне. Астрахань, радиоцентр. Мне.

Жму руку и надеюсь. Иван Приблудный.

Помощнику начальника СПО ОГПУ т. Андреевой

РАПОРТ
о Приблудном-Овчаренко Иване Петровиче.

Приблудный-Овчаренко И. П. постановлением коллегии от 23 августа 1931 года выслан в Астрахань сроком на 3 года по обвинению его по ст. 121 УК. Сущность дела такова.

Приблудный состоял секретным сотрудником бывшего СО ОГПУ с 1925 года, но от работы систематически уклонялся. В мае 1931 года в связи с возникшей агентурной разработкой в отношении группы лиц, с которыми Приблудный-Овчаренко был близко связан, ему было предожено 4 отд. СПО взять на себя освещение упомянутой группы. Руководствуясь своим нежеланием работать, Приблудный-Овчаренко, будучи вызван негласно для инструктирования его, объявил о своем вызове в ОГПУ надписью на одной из дверей клуба Федерации объединения советских писателей, а после инструктажа его, вернувшись в клуб, заявил расспрашивавшим его об его вызове в ОГПУ о том, что ему предложено вновь явиться в ОГПУ в указанное ему время, и как этим своим заявлением, так и всем своим поведением расконспирировал себя, как секретного сотрудника ОГПУ. В расконспирировании себя обвиняемый Приблудный-Овчаренко признался, и на следствии открыто заявил, что он сознательно уклонялся от работы в качестве секретного сотрудника ОГПУ, мотивируя это тем, что ОГПУ преувеличивает политическое значение поступающих в его распоряжение агентурных данных о политической нелояльности поведения тех или иных лиц.

По прибытии в г. Астрахань Приблудный начал работать в редакции местной газеты. Редакцией Приблудный был послан в двухнедельную командировку на путину, но, не будучи приспособлен к организованному труду, он сбежал на второй же день с путины. По этой причине Приблудный был уволен редакцией и, оказавшись в затруднительном положении, он стал личными письмами к тт. Акулову, Агранову и Фельдману просить о возвращении его в Москву. Полученное им письмо т. Агранов в свое время было направлено в СПО ОГПУ, и по проверке жалоб Приблудного выяснилось:

1. Затруднительное материальное положение Приблудного явилось результатом его недисциплинированности в работе (о чем сказано выше) и 2. Никакой связи Приблудный не поддерживает со своей семьей даже тогда, когда жил в Москве и никакой материальной помощи он никогда ей не оказывал.

Учитывая это, а главное, исходя из того, что, возвратясь в Москву, Приблудный неизбежно возвратится в свою прежнюю среду — анархо-хулиганствующее дно литературной богемы — СПО ОГПУ не поставил дело Приблудного на пересмотр. Вместе с тем, однако, в специальном письме в ПП НВК СПО ОГПУ рекомендовал СПО ПП ОГПУ НВК

1. Оказать содействие Приблудному в подыскании работы.
2. Оказать ему от поры до времени небольшую материальную помощь.
3. Установить с ним взаимоотношения, которые позволили бы СПО ПП влиять на Приблудного в сторону его политического перевоспитания.

Указания СПО ОГПУ были выполнены. СПО ПП ОГПУ в НВК Приблудному была оказана помощь, он был устроен на работу и жалобы его прекратились. Впоследствии с ним были установлены взаимоотношения, как с с/о, и в докладе 4 отд. СПО ПП ОГПУ по НВК он был включен в состав спецосведомления Астраханского оперсектора. Правда, качественная оценка его как с/о невелика, но все же вопрос об его возвращении в Москву больше не ставился.

Оперуполномоченный 4 отд. СПО ОГПУ Шиваров

Неужели было не ясно, что в очередной раз завязывать отношения с Иваном Приблудным как с секретным осведомителем бесполезно? Очевидно, было решено не выпускать из своих сетей пусть и несостоявшегося агента. А может быть, эти деятели рассчитывали на то, что ссылка сломает упрямого поэта. Так или иначе, поэту было разрешено «свободное проживание по СССР». Но не надолго. Заявления Ивана Приблудного об отказе сотрудничать с ОГПУ не сойдут ему с рук. Нужен был только подходящий момент, чтобы ликвидировать несостоявшегося осведомителя. И этот момент очень скоро представился.

1937 год. НКВД «железной метлой» прочищает страну. Аресты идут везде, а также и среди писателей. В самом начале года был арестован близкий друг Ивана Приблудного — Павел Васильев. Сломленный на допросах, он давал показания на своих друзей — Василия Наседкина, Ивана Макарова, Ивана Приблудного.

«Приблудный Иван Петрович. Поэт. Злобный, контрреволюционно настроенный к сов. власти человек. Неоднократно говорил мне, что я в существующих условиях гибну. После освобождения меня из заключения в марте 1936 года, на мое сообщение, что я был освобожден секретарем ЦК ВКП(б), Приблудный ответил мне, что мое освобождение — это только барский жест и что я ЦК ВКП(б) не нужен. Встречался я с Приблудным часто до последнего времени и могу сказать, что он совершенно разложенный и антисоветский человек».

Имя Ивана Приблудного было в списке членов контрреволюционной организации литераторов. На Ивана Приблудного заведено новое «дело» за № 12175.

[redacted]

Приблудный (Овчаренко) Иван Петрович 1905 г. р. б/п в 1931 г. был арестован, как участник к/р организации литераторов «конструмольцы» и осужден к 3 годам высылки в Астрахань. Поэт, не член ССП.

4 отд. ГУГБ НКВД СССР ликвидируется террористическая группа из среды поэтов в составе Есенине Ю., Васильеве П. и др. Вышеуказанные лица ставили перед собой целью совершение террористического акта против т. Сталина. Весьма активную роль в этой группе играл Приблудный, восстанавливавший их против ВКП(б), выдвигая как основную форму борьбы с сов. властью индивидуальный террор против руководителей ВКП(б). Арестованный нами участник этой террористической группы Васильев П. показал, что Приблудный толкал его на путь террора...

О внутрипартийном положении Приблудный высказывался среди окружающих с контрреволюционных троцкистских позиций, заявляя, что в стране царит полицейский террор. «Вождю сначала надо было, чтоб политбюро было чистым. Он убрал лишних и для него вредных. Затем ему понадобилось прочистить весь ЦК. Затем ему надо было, чтобы весь актив был за него. Выслал, вычистил, обвинил. Наконец, он взялся за всю партию. А теперь ему надо прочистить столицу, чтоб остались лишь одни лояльные бухгалтера».

Из высказываний Приблудного

Приблудный ищет оружие. С этой целью он обратился к партизану Гайдару, у которого имеется несколько маузеров, с просьбой продать ему один. Получив отказ, Приблудный направил с той же целью к нему Есенина Ю., имеющего террористические намерения.

Полагаю необходимым обыск и арест Приблудного Ивана.

Нач. 6 отд. 4 отдела ГУГБ
капитан государственной безопасности Журбенко

27 февраля 1937 года

ОРДЕР № 775

Март 31 дня 1937 года

Выдан сержанту Главного управления государственной безопасности НКВД Головчеико на производство ареста и обыска Приблудного-Овчаренко Ивана Петровича.

Малая Дмитровке, д. 16
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР
комиссар государственной безопасности 1 ранга Я. Агранов
Нач. 2 отдела ГУГБ
комиссар государственной безопасности 3 ранга
подпись неразборчива

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 г. апреля месяца 8 дня.
Я, оперуполномоченный Павловский, допросил в качестве обвиняемого.

Фамилия	Приблудный
Имя, отчество	Иван Петрович
Дата рождения	1905 г.
Род занятий	Поэт, не член Союза писателей
Соц. происхождение	Из крестьян-середняков
Состав семьи	Жена Зиновьева Наталья Петровна, ранее работала в «Комсомольской правде» в отделе писем, уволена в сентябре 1936 года.
Образование	Учился в Лит. университете 3 года на I курсе.
Партийность в прошлом и настоящем	Был членом ВЛКСМ с 1920 по 1924 года, исключен за отрыв от комсомола и связь с разложившимися поэтами Есениным и др.
Каким репрессиям подвергался при сов. власти (судимость, арест и др.) после революции	нет В 1924 году был арестован в связи с тем, что случайно оказался в компании контрреволюционеров (Ганин Ал. и др.). В 1926 г. был арестован также ОГПУ, обвинение предъявлено не было. В 1928 году снова был арестован за распространение антисоветских стихов, но был освобожден за недоказанностью, в 1931 году был осужден ОГПУ по ст. 123 и выслан в Астрахань на 3 года.
Какие имеет награды (ордена, грамоты, оружие) при сов. власти	Имел несколько приводов в милицию за хулиганство

Вопрос. Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности. Признаете себя виновным?

Ответ. Нет, не признаю.

Вопрос. В этом уличают вас ваши единомышленники. Следствие предлагает вам дать подробные показания о вашей контрреволюционной деятельности.

Ответ. Я отрицаю показания кого-либо, кто обо мне давал показания, что я антисоветский человек. Прошу допросить моих знакомых Филиппова Бориса Тимофеевича (Черногряжское шоссе, ст. Союзия, д. № 20 или 25), Миниха Александра Викторовича тел. Д-1-42-08, Пермяка Евгения Андреевича, тел. 2-51-01, Долголикова Константина Тимофеевича (тел. 12-00, доб. 10-01). Эти люди, с которыми я был в хороших отношениях, знают меня с положительной стороны и дадут показания обо мне, как о советском человеке.

Вопрос. Приводим вам конкретный факт: находясь в кругу ваших единомышленников, вы пили за Троцкого. Признаете это?

Ответ. Действительно, в 1935 году у меня на квартире имел место подобный факт. Только не предлагал тост, а зашла речь о Есенине Сергее, при этом сын его Георгий заявил, что из всех, кто когда-либо написал о Есенине, лучше всего отзывался о последнем Троцкий.

Вопрос. Вы поддерживали этот разговор.

Ответ. Нет, я Есенина не поддерживал.

Вопрос. Вы даете неверные показания. Вы сами при этом весьма положительно отзывались о Троцком.

Ответ. Нет, я говорил о Троцком только как о знатоке русской литературы, но вовсе не восхвалял его борьбу с партией.

Вопрос. Неверно. Вы говорили о Троцком именно в плоскости восхваления его как контрреволюционера. Признаете это?

Ответ. Это я категорически отрицаю.

Вопрос. Вы неоднократно в своих разговорах резко враждебно отзывались о советской власти. Признаете это?

Ответ. Я это отрицаю. Ничего подобного.

Иван Приблудный

Мужество не изменило Ивану Приблудному. Он категорически отрицал свою вину, не давал ни на кого показаний и отказался подписать акт о предъявлении ему обвинения.

Два месяца Иван Приблудный сидел во внутренней тюрьме. «Дело» стало раскручиваться с бешеной энергией после того, как 27 июня 1937 года сняли показания с арестованного сына Сергея Есенина — Юрия.

О том, как проходил допрос Юрия Есенина, рассказывал в своих воспоминаниях сидевший с ним в одной камере Иосиф Бергер. «На его несчастье Юрий на допросе был подавлен так, что поддался влиянию следователей, но ничего нам не рассказывал. Наконец сообщил нам вкратце сущность возведенных на него обвинений. Следователи ловко «вытрясли» его, уважительно поминая отца и заставляя его поверить, что сыну Есенина не позволят сгнить в тюрьме. Им удалось заверить его, что и в Москву-то перевели в целях его уберечь. Эти беседы сопровождались отличным обедом; его угощали папиросами «Люкс», что его понуждало и побуждало скрывать от нас подробности допросов; следователи внушали ему, что он совсем не то, что мы; еще несколько дней, и он получит свободу. Но при одном условии: все рассказать перед трибуналом и повторить свои показания на очных ставках... Потом ему предложили подписать показании: в числе виновных значился и он. Он вернулся к нам в камеру, обливаясь слезами; когда он напомнил следователям их обещания, те ответили, что их долг — стоять на страже государственной безопасности».

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 года июня месяца 27 дня

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Вопрос. Дайте показания об антисоветской деятельности Приблудного Ивана.

Ответ. Поэта Приблудного Ивана Петровича я знаю лет 9—10. Вначале наши встречи носили случайный характер, но когда Приблудный в 1935 году вернулся из ссылки, отношения у нас стали более близкие. Первое время после возвращения из ссылки Приблудный держался осторожно, избегал разговоров на политические темы, но это продолжалось недолго. Приблудный настроен к сов. власти враждебно. Он неоднократно выражал свои симпатии к Троцкому. В разговоре Приблудный старался подчеркнуть, что Троцкий — замечательный ценитель литературы, и его заботы о литераторах способствовали творчеству, а сталинская линия партии насаждает казенщину, и что при таком положении не видать нам хороших произведений. Чтобы возбудить во мне симпатию к Троцкому и вызвать злобу против руководителей партии и страны, Приблудный цитировал мне слова Троцкого о моем отце, гласящие, что «мы не сумели сберечь Есенина». Указывал при этом, что «я, как сын великого поэта Есенина, должен отомстить руководителям сов. власти за затравленного отца». С целью дискредитации руководства партии и правительства Приблудный издевательски, в явно контрреволюционном духе произносил сталинские слова о зажиточной жизни, о проявлении заботы о человеке, а недостатки и ошибки отдельных организаций (пропуск. — С. В.) представляя их как ошибки руководителей партии и страны. Приблудный общался в кругу подозрительных и спившихся людей: Курочкин, Кудрявцев, Пиверовский и др. Антисоветские разговоры, антисемитские выпады — вот содержание бесед и систематических пьянок этой группы.

Под влиянием всех этих контрреволюционных разговоров я в 1935 году поставил перед Приблудным вопрос о том, что надо перестать ждать и следует перейти к активным к/р действиям, т. е. если говорить прямо, то надо переходить к террору. Приблудный, разжигая во мне контрреволюционные настроения, добивался того, чтобы я деятельно стал террористом и осуществил теракт против руководителей страны.

Вопрос. Следствию известно, что вы намеревались совершить нелегальный переход границы и бежать за границу. С какой целью вы намеревались это сделать?

Ответ. Да, действительно, в 1935 году я вел такой разговор с Приблудным. Для перехода границы мы вместе с Приблудным предполагали использовать легальные возможности. С этой целью я написал проект заявления в ЦК ВКП(б) и тов. Литвинову, в котором просил, чтобы помогли мне выехать в Абиссинию для защиты ее от итальянцев. В 1936 году для перехода границы я считал возможным использовать такую же возможность легальную, как поехать на испанский фронт. Причины моего желания уехать из СССР надо искать в к/р настроениях, которые усиленно прививались мне богемско-контрреволюционной средой, окружавшей меня. Был у нас с Приблудным разговор и относительно источников существования моего за пределами СССР. В разговоре с Приблудным я сказал, что буду жить тем, что займусь продажей известных мне государственных секретов, т. е. заниматься шпионажем. Инициатива в вопросе о переходе границы принадлежала Приблудному.

Записано с моих слов верно и мне зачитано. Г. Есенин.

Допросил сотрудник резерва ГУГБ НКВД В. Колосков.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 года июля месяца 3 дня

Я, сотрудник резерва назначения ГУГБ Колосков, допросил в качестве обвиняемого

Фамилия Приблудный Иван Петрович

Вопрос. Следствию известно, что вы вместе с Есениным Георгием обсуждали вопрос о переходе границ СССР, чтобы остаться за границей. Дайте показания, с какой целью хотели окончательно выехать из СССР.

Ответ. В 1935 году ко мне зашел Есенин Георгий. Он в разговоре сказал, что хочет записаться в Абиссинскую армию добровольцем, но он не знает, кто ведает этим. Я ответил, что, наверно, наркоминдел. Есенин тогда стал писать заявление на имя ЦК ВКП(б) и т. Литвинова, а в разговоре со мной, указывая, что из него в СССР ничего не получится, а там, может быть, будет героем. На вопрос мой, что война, может, скоро закончится и что он будет делать, Есенин ответил, что останется за границей. Я отвечал, что такие, как мы, за границей не нужны, не зная языка и не имея профессии. Но он стал продолжать разговор и допытываться, от кого, главным образом, зависит выезд из СССР. Тогда я ему ответил, что от НКВД. «Нет, — заключил Есенин. — Моя фамилия в НКВД не пройдет». На этом разговор закончился.

Вопрос. Вы даете неправильные показания, скрывая, что вместе с Есениным обсуждали вопрос о средствах существования за границей путем продажи известных вам государственных секретов. Следствие предлагает вам дать откровенные показания.

Ответ. Не было такого разговора.

Вопрос. Неправда. Предъявляю показания Есенина Георгия, где указывается, что вместе с вами вопрос о продаже государственных секретов обсуждался, т. е. предполагали заняться шпионажем.

Ответ. Еще раз говорю: такого разговора не было.

Иван Приблудный

Приблудный продолжал все отрицать. Пришлось обратиться за помощью к свидетелям, имена которых он сам назвал в своих показаниях. Допрошены были двое: Александр Миних (Мвслов) и Константин Долголиков.

Невесть откуда выплыл еще один литератор — некий Евгений Виссов, возможно, заранее заготовленный НКВД, если «операция» с названными Приблудным свидетелями сорвется.

Но не сорвалась...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 г. июля месяца 9 дня

Я, сотрудник резерва, капитан ГУГБ НКВД Колосков, допросил в качестве свидетеля

Фамилия	Долголиков
Имя, отчество	Константин Тимофеевич
Дата рождения	1898
Место рождения	г. Белик Западной области
Место жительства	Москва, ул. Горького, д. 70/2, кв. 44.

Июля 9 дня 1937 г., будучи вызван в качестве свидетеля, об ответственности по ст. 95 УК РСФСР в случае дачи ложных показаний предупрежден.

Вопрос. В каких взаимоотношениях вы находились с Приблудным Иваном?

Ответ. Познакомился я с Приблудным Иваном в декабре 1936 года. Знакомство произошло в пивной по ул. Горького, когда я, будучи в пивной, был приглашен к столику, где сидел Приблудный с неизвестным мне гражданином. Знакомство мое с ним продолжалось по день ареста его (Приблудного).

Вопрос. Что вам известно об антисоветской деятельности Приблудного?

Ответ. Приблудный — человек несоветский. Его антисоветские высказывания выражались в следующем: он читал свои антисоветского, кулацкого содержания стихи, которые в печати не были, восхваляющие индивидуальное крестьянское хозяйство, ярко отражающие тоску по кулацкой части деревни. О колхозах в читаных стихах слов не было. О пролетарской литературе отзывался в дискредитирующем пролетарскую литературу духе. Он говорил, что пролетарская литература — литература мелкого пошиба, что вес пролетарских писателей незначитепен, пересыпая эти высказывания матерщиной. Приблудный не упускал случая, чтобы по малейшему незначительному факту недостатков нашей работы не высказываться двусмысленно или не произнести антисоветской остроты: «Спасибо Сталину за удешевленную жизнь» и т. д. Приблудный систематически хулиганил, отрицательно относился к советской общественности, постоянно пьянствовал, и выпивка сделалась основным занятием. Компанию Приблудного составляли лица богемствующие — П. Васильев, Филиппов, сын поэта Есенина Юрий Есенин и др., фамилии которых не знаю, с ними я не был знаком. Приблудный придерживался такой тактики: делаешь ему замечание — он как будто соглашался, но потом вновь продолжал все по-старому.

Записано с моих слов правильно и мне зачитано
К. Долголиков

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Фамилия Виссов
Имя, отчество Евгений Андреевич

10 июля 1937 г., будучи вызван в качестве свидетеля и предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний ст. 95 УК РСФСР.

Вопрос. Расскажите о своих связях с Приблудным Иваном.

Ответ. Познакомился я с Приблудным через Курочкина в 193(...) году, после чего он (Приблудный) часто бывал у меня на квартире.

Вопрос. Что вам известно о контрреволюционной деятельности Приблудного?

Ответ. Высказывания и поведение Приблудного Ивана ярко свидетельствуют о том, что Приблудный явно антисоветский человек, систематически занимавшийся контрреволюционной агитацией, поддерживавший близкие, дружеские отношения с врагами народа. Приблудный распространял контрреволюционную клевету, извращавшую лозунги партии и высказывания руководителей партии и правительства. Приблудный является автором многих контрреволюционных анекдотов, которые широко распространялись о руководителях партии и страны. Приблудный публично в ресторанах, пивных, кулуарах различных совещаний исполнял кулацкие стихи, в которых воспевал кулацкие хозяйства, шельмуя колхозное строительство. Он читал не только собственные стихи, но и антисоветские тоже кулацкого содержания стихи Клюева, П. Васильева. Кроме того популяризировал уголовную романтику, составляя и редактируя песни уголовного содержания — «Коммунист, взводи курок», «С одесского кичмана» и др. Отзываясь о пролетарской литературе и творчестве пролетарских писателей, Приблудный говорил, что никакой пролетарской литературы нет, а есть казенная писанина, делаемая по заказу генеральной линии партии. Он дискредитировал руководителей Союза писателей (Горький, Ставский, Лахути и др.).

Вопрос. С кем был связан Приблудный?

Ответ. Из контрреволюционных связей Приблудного могу назвать: с террористом П. Васильевым, которого он защищал на суде после первого ареста Васильева. Связь с ним поддерживал до последних дней, всячески выгораживая Васильева и оправдывая к/р деятельность и хулиганство Васильева. Затем с Корниловым Борисом, с которым допускали совместные к/р высказывания в гостиницах Москвы («Метрополь») и в Ленинграде. Связан был также с Есениным Георгием, разжигая его контрреволюционные настроения и в значительной степени определил террористические настроения Есенина. Был завсегдатаем контрреволюционного литературного салона кулацкого писателя Клычкова Сергея. Хулиганство Приблудного носило осмысленный характер и перерастало в контрреволюционные поступки — издевательства над бюстами вождей, осквернил непристойными действиями портрет тов. Ворошилова, выдавал себя за агента НКВД и др.

Записано с моих слов верно и мне зачитано Виссов
Допросил сотрудник управления ГУГБ В. Колосков

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

1937 г. июля месяца 10 дня я, сотрудник резерва назначения ГУГБ Колосков, допросил в качестве свидетеля
Фамилия Маслов (Миних)
имя, отчество Александр Викторович

Вопрос. Расскажите о характере ваших связей с Приблудным Иваном.

Ответ. Познакомился я с Приблудным в 1925 году и после нашего знакомства не встречались с ним до 1929 года. В 1929 г. летом встречался с ним в г. Феодосия месяца 2. Связь с ним возобновилась после его возвращения из ссылки и продолжалась до момента ареста Приблудного.

Вопрос. Что вам известно о контрреволюционной деятельности Приблудного?

Ответ. Наиболее ярко контрреволюционные настроения Приблудного Ивана сказались 19 февраля 1937 года. На другой день после смерти Орджоникидзе ко мне позвонил Приблудный с просьбой зайти к нему, чтобы пойти в Колонный зал Дома Союзов. Когда я к нему зашел, он задал мне вопрос: «Ты знаешь, почему сегодня опоздала «Правда»? И сам ответил: «Правительство долго придумывало версию о смерти Орджоникидзе, т. к. он застрелился, и он был одним из виднейших руководителей троцкистской организации». Далее Приблудный сообщил, что Каганович Л. М. и Ягода — бывшие руководители троцкистской организации, что Каганович Л. М. находится под домашним арестом, его все помощники, заместители арестованы. Далее добавил, что Горький при жизни тоже был одним из главарей троцкистов. Эти свои высказывания он подкрепил тем, что Кагановича Л. М. на страницах печати не видно, о Горьком перестали писать.

После этих разговоров я подал заявление т. Левину — работнику «Литгазеты» — и устно сообщил т. Субоцкому, как об этом факте, так и об известных мне других.

В свете этого контрреволюционного выпада я вспомнил, что со стороны Приблудного это не первый случай антисоветского настроения. В 1936 г. Приблудный по настоятельной просьбе Павла Васильева читал в одном ресторане кулацкие стихи. Приблудный слагал эпиграммы и остроты, направленные на дискредитацию коммунистов — руководителей Союза писателей. Приблудный утверждал, что всякий человек, сочувствующий республиканской Испании, — актер, ибо это всем надоело и неинтересно. Приблудный был связан близкими отношениями с террористом Павлом Васильевым, Борисом Корниловым, Ильей Цетлиным — разложившимися и контрреволюционно настроенными элементами.

Записано с моих слов правильно и мне зачитано Маслов

ПРОТОКОЛ

объявления обвиняемому Приблудному И. П. об окончании следствия
г. Москва, июля 1937 года 16 дня.

Я, сотрудник резерва назначения ГУГБ НКВД В. Колосков, рассмотрев следственное дело № 12175 по обвинению Приблудного Ивана Петровича нашел:

Следствием установлена виновность Приблудного Ивана Петровича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-5В п. В и п. 11 УК РСФСР. Поэтому следствие по данному делу считаю оконченным, о чем обвиняемому Приблудному И. П. объявлено об окончании следствия.

Дополнить следствие ничем не могу. Об окончании следствия мне объявлено.
сотоудник резерва назначения ГУГБ НКВД Колосков

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудник резерва назначения ГУГБ НКВД т. Н. Колосков и отделенный комиссар Бутырской тюрьмы т. Ларин составили настоящий акт в том, что обвиняемый Приблудный И. П. заявил, что дополнить следствие ничем не может, но протокол об окончании следствия по делу № 12175 подписать отказался.

сотрудник резерва назначения ГУГБ Колосков
отделенный командир Бутырской тюрьмы Ларин

ПРОТОКОЛ

закрытого судебного заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда Союза ССР

13 августа 1937 г. г. Москва.

Председательствующий корвоенюрист Л. Я. Плавнек
Члены военные юристы I ранга тт. Кандыбин, Климин
Секретарь военный юрист I ранга А. Ф. Костюшко
Заседание открыто в 10 час. 40 мин.

Председательствующий объявил, что подлежит рассмотрению дело по обвинению Приблудного Ивана Петровича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-5В-В и 58-11 УК РСФСР.

Секретарь доложил, что подсудимый в суд доставлен, и что свидетели го делу не вызывались.

Председательствующий удостоверяется в самоличности подсудимого и спрашивает, вручена ли ему копия обвинительного заключения, на что подсудимый ответил, что получил.

Подсудимому разъяснены его права на суде и объявлен состав суда. Подсудимый никаких ходатайств, а также отвода составу суда не заявил.

По предложению председательствующего секретарем оглашено обвинительное заключение.

Председательствующий разъяснил подсудимому сущность предъявленных ему обвинений и спросил его, признает ли он себя виновным, на что подсудимый ответил, что виновным себя не признает. На вопросы председательствующего ответил, что свои показания он подтверждает.

Председательствующий зачитывает показания Есенина о создании подпольной контрреволюционной организации: в выработке контрреволюционных настроений большую роль играл Приблудный, который восстанавливал его против руководства партии; Маслова о том, что Приблудный допускал контрреволюционные высказывания. Подсудимый Приблудный заявил, что показания Есенина и Маслова ложны. Почему они дали на него такие показания, он не знает и объяснить ничем не может. Есенин действительно говорил ему, что давай поедем в Абиссинию и сделаемся героями, но о шпионаже не было никакого разговора. Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.

Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предоставил подсудимому последнее слово, в котором он сказать больше ничего не пожелал.

Суд удалился на совещание.

По возвращении суда с совещания председательствующий огласил приговор.

В 11 час. 00 мин. заседание закрыто.

ПРИГОВОР

Именем Союза Советских социалистических республик Военная коллегия Верховного суда Союза ССР

в составе председательствующего корвоенюриста Плавнека
членов Кондыбина, Климина
при секретаре Костюшко

в закрытом судебном заседании в г. Москве 13 августа 1937 года рассмотрела дело по обвинению Приблудного Ивана Петровича 1905 г. р., литератора, в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19-58-В и 58-11 УК РСФСР предварительным и судебным следствием установлена виновность Приблудного в том, что он являлся активным участником антисоветской террористической организации на протяжении с 1924 года и по день ареста 1937 г., вел антисоветскую агитацию, распространяя клеветнические измышления против руководства ВКП(б) и советского правительства, пропагандировал среди участников организации о необходимости применения террористических актов в борьбе с советской властью, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-В и 11 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР Военная коллегия Верховного суда Союза ССР приговорила:

Приблудного Ивана Петровича к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и во исполнение постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года в исполнение приводится немедленно.

СПРАВКА

Приговор о расстреле Приблудного Ивана Петровича приведен в исполнение 13 августа 1937 года. Акт о приведении приговора в исполнение хранится в особом архиве I спецотдела НКВД СССР т. № 2, л. № 192.

Нач. 12 отд. I спецотдела НКВД СССР
лейтенант госбезопасности Шевелев

...На стене тюремной камеры остался последний автограф поэта: «Меня приговорили к вышке. Иван Приблудный».

...В 1928 году Иван Приблудный написал стихотворение, в котором напророчил свою судьбу.

Чем я буду, что я есть?
Скоро ль быть беде?
Долго ль голову мне несть
и оставить где?

Мраморный ли пьедестал
или холм да клен
скажут миру, чем я стал
для иных времен.

Публикация, подготовка текста и комментарии С. ВОЛКОВА.